АНАТОЛИЙ
КУРЧАТКИН
МИНУС 273
ГРАДУСА ПО ЦЕЛЬСИЮ
роман
ВРЕМЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Подозреваетесь. Чревато для вас. Докажите, что подозрения беспочвенны». Такую записку, написанную на четвертушке листа, получает герой романа. И что значат эти слова, что обещают, к чему принуждают его? Он вполне законопослушен, не посягает на устои. Правда, живет он в странном городе, где всё подчинено непреложным правилам тайной и грозной службы стерильности. Легкой завесой фэнтези прикрыто повествование, в центре которого личная драма героя. Получение им нелепой записки поначалу выглядит как неприятное недоразумение, но разделяет его жизнь на «до» и «после». Течение романа чем дальше, тем стремительнее – автор, несомненно, владеет приемами детективного повествования. Роман написан со стилистическим изяществом и метафорической изысканностью.

- Анатолий Курчаткин.
  - Информация от издательства
  - 1. Малява
  - 2. Сырнички
  - 3. Рипето
  - 4. Пробит по базе
  - 5. Номер двадцать второй
  - 6. Экзамен
  - 7. Инцидент
  - 8. Фантомас
  - 9. Покатился снежный ком с горки
  - 10. Он катится
  - 11. День стерильного детства
  - 12. Голубчик!
  - 13. В кощеевом царстве
  - 14. Под сосцами Капитолийской волчицы
  - 15. Остров
  - 16. «Мы ошиблись»
  - 17. Свобода
  - 18. Теплоход
  - Над книгой работали

Анатолий Курчаткин.
Минус 273 градуса по Цельсию

Информация от издательства

18+

Художник *Валерий Калныньш*

Курчаткин, А. Н.

Минус 273 градуса по Цельсию: роман / Анатолий Николаевич Курчаткин. – М.: Время, 2018. – (Самое время!).

ISBN 978-5-9691-1720-4

«Подозреваетесь. Чревато для вас. Докажите, что подозрения беспочвенны». Такую записку, написанную на четвертушке листа, получает герой романа. И что значат эти слова, что обещают, к чему принуждают его? Он вполне законопослушен, не посягает на устои. Правда, живет он в странном городе, где всё подчинено непреложным правилам тайной и грозной службы стерильности. Легкой завесой фэнтези прикрыто повествование, в центре которого личная драма героя. Получение им нелепой записки поначалу выглядит как неприятное недоразумение, но разделяет его жизнь на «до» и «после». Течение романа чем дальше, тем стремительнее – автор, несомненно, владеет приемами детективного повествования. Роман написан со стилистическим изяществом и метафорической изысканностью.

© Анатолий Курчаткин, 2018
© «Время», 2018

1. Малява

Зал откатывался от них вниз дрожащей мережной тьмой. Как всегда, они сидели на самом последнем ряду. Она, несмотря на возраст, была дальнозорка, его привереда. Пульсирующий двухмерной жизнью экран, которым сплюснуто завершался овальный зал, дышал последними кадрами разыгранной актерами истории, что была рождена фантазией неведомых ликом сценаристов. И вот наконец добро победило, зло оконфуженно ретировалось, герои, взятые крупным планом, слились в торжествующем поцелуе. На экран выкатились и потекли по нему снизу наверх титры. Мережная тьма сменилась мерклым светом, добравшимся, однако, до всех закоулков зала. Захлопали сиденьями кресла, текущие по экрану титры заслонились фигурами поднявшейся со своих мест и двинувшейся на выход публики. Капельдинерша у двери загремела металлическими кольцами, раздергивая прикрывающую дверь плотную, тяжело обвисающую пышными фалдами черно-вишневую портьеру.

Его привереда тоже поднялась.

– Что ты сидишь? Пошли. Не отрывайся от народа.

«Не отрывайся от народа». Она любила говорить ему эти слова. Почему-то она находила, что он слишком мнит о себе. Впрочем, голос ее, когда произносила это, всегда был шутлив.

– Мне всякий раз неловко, что титры еще идут, а мы уже даем ноги, – сказал К. – Люди участвовали, работали, их имена… а ты и не смотришь.

– Не чудачествуй. Кто там остался… костюмеры, шоферы, подвозчики пиццы… кому это нужно. Пошли, – уже нетерпеливо потеребила она его за рукав. – И все равно не видно же ничего: ты сидишь – а люди встали.

– Нет, уже подразошлись, почти не перекрывают, – отозвался он, тем не менее подчиняясь ей и вставая. – А вот если стоять, так и нормально.

– Оставайся, если хочешь, я пошла, – негодующе вздернула она подбородок, и вот, как вспорхнув, уже летела от него вдоль ряда к проходу, – ему пришлось поспешить за ней.

– Эй, эй, – догнав, поймал он ее за руку, – куда так борзо? Дверь одна, около нее все равно толкаться. Или чтоб быть с народом?

– Как ты догадался?! – обернулась она к нему – словно бы в восторге от его сметливости.

Она была не только привередой, а еще и такой игруньей,

электризуя пространство вокруг себя; острыми мелкими иголками пряного возбуждения общекотывало его это ее электричество.

– Будь лучше со мной. – Рука невольно сжала ее руку… ах, он любил эту руку, что-то ныло и тянуло в груди от покорявшихся его пясти тонких длинных пальцев, просилось то ли еще сильнее стиснуть их, то ли уткнуться в них лицом, прижаться губами… что он и сделал, наклонившись и крепко, протяжно поцеловав ее пальцы в косточки средних фаланг.

– Как же я не с тобой. Я с тобой, с тобой. – Игрунья в ней стремительным пушистым зверьком метнулась в норку, исчезнув там, и привереда тоже исчезла неизвестно куда. – Мне хорошо с тобой… И ты будь со мной.

Толпа у дверей приняла их в себя, пронесла в своем тесном, неуютно сдавливающем потоке через зев двери, словно сквозь горловину песочных часов, а там, за дверью, уже открылась воля: ступай влево, ступай вправо, мчи стрелой, обгоняя тихоходов, ползи черепахой – правда, все равно в том же потоке, стремящем себя в одном направлении – к выходу из развлекательного центра. Но разреженном потоке, разреженном! ни локтя сбоку, ни чьих-то волос перед глазами, прядями лезущими в ноздри, так что если и не свобода с независимостью, то автономия.

– Ой, эта твоя страсть к глубокомыслию на мелком месте! – отозвалась привереда не без презрительности (К. поделился с ней своим мудрствованием). – И охота тратить умственные способности понапрасну? Посмотрели фильм. Идем на улицу. Свобода с автономией тут ни при чем.

Она была самоуверенна и категорична, его привереда, ему нелегко с ней было.

– Свобода нас встретит радостно у входа, – процитировал он классика. – Весь вопрос в том, как она обойдется с нами при встрече? Роман со свободой – неуправляемая химическая реакция, результат которой непредсказуем.

– Почему ты преподаватель философии, а не какого-нибудь иностранного, – среагировала она на его новое мудрствование. – Выучил бы меня неведомому языку.

– Неведомому – кто бы меня самого выучил. – Он вздохнул с притворной сокрушенностью. – Где бы найти какую иностраночку! Ах, какая-нибудь бы иностраночка, ау!

– Вот тебе иностраночка! – выдернув свою руку из его, погрозила она ему кулачком. – Попробуй только, пожалеешь. Разговаривай на иностранном сам с собой. Разрешаю. Только чтобы никто не слышал. А то сообщат куда надо, попадешь, куда не следует.

– Да уж если сам с собой, то чтобы никто, – согласился он. – Блюстители стерильности живо найдутся, доложат. Стерилизуют тебя во мгновение ока.

Разговаривающий сам с собой – это было подозрительно, означало нарушение правил стерильности, которые должны были поддерживаться в обществе неукоснительно, свидетельствовало о психическом заболевании, психически же больной подлежал непременной и немедленной изоляции от общества; психически больным надлежало находиться в соответствующем учреждении.

Улица встретила их рассеянным лиловым светом близкого предночья, за время, что они смотрели фильм, прошел небольшой дождь, и в набухшем влагой воздухе стояла сложная смесь запахов: прибитой пыли, остывающего асфальта, волглой земли, освеженной водой зелени.

– У, какая прелесть, – останавливаясь, задирая вверх подбородок и втягивая в себя ноздрями воздух, протянула привереда. – А нас и не замочило! Какие мы везучие. Везучие мы? – требующе взглянула она на него.

– Везучие, везучие, – подтвердил он. – И все другие, кто находился под крышей. Где бы то ни было. Не обязательно в кинотеатре.

– Ой, какая приземленность, никакой романтичности, подрезаешь крылья на взлете, – с порицанием произнесла привереда, продолжая стоять с задранным подбородком. – Это философу положено таким быть?

– Преподавателю философии, – уточнил он. – В правилах стерильности такой профессии – философ – нет.

– Как это нет? – Она стронула себя с места. – Философия есть, а философов нет?

Ох, что за вопрос она задала! Будто вилка провизжала по тарелке – так его оцарапало ее вопросом. Да разве же он не задавал его себе сам, и тысячу раз? Но так же всякий раз бежал от него, отпихивался от него руками-ногами, засовывал голову в песок – только зад наружу.

– Это, считается, раньше нужны были философы. А теперь необходимости в них больше нет. Отпала потребность. Все уже сказано, все осмыслено.

Произнося это, он невольно покрутил головой по сторонам, проверяя, не слышит ли кто их разговора. Нет, ничего крамольного в его словах не было, самая что ни на есть официальщина, но уже само обсуждение такой темы… что там придет в голову блюстителю стерильности, если его ухо уловит эти слова?

– Странно как, – сказала привереда. – Всегда найдется что

осмыслить, оценить, поверить мыслью. Выработать концепцию, тенденции определить. Разве не так?

А вот это ее рассуждение было уже крамолой. Самой возмутительной. Где был ее чиновничий инстинкт? Конечно, ее положение в пирамиде городской администрации было почти у самого подножия, мелкий клерк, должный правильно отправить-перенаправить-подготовить бумагу, но ведь тем же сильнее полагалось бы быть инстинкту? Везущая ноги по асфальту в двух шагах впереди, – шарк-шарк, наждачно визжали подметки туфель, – квадратнотелая баба в похожем на цветастый мешок просторном платье отпустила руку своего так же квадратного статью спутника и с неумолимой угрюмой суровостью оглянулась на них. Лицо у нее тоже было квадратное, но еще и трехэтажное: собственно лицо занимало верхний этаж, а два нижних были подбородками, с важной значительностью лежавшими на груди, – типичная по виду блюстительница стерильности.

– Потолкуем потом. – К. взял привереду за локоть и сжал его, действием дополняя свои слова. – Твое мнение о фильме слишком просто. По-моему, исполнен по лучшим лекалам стерильности.

Привереда поняла его. Свое значение возымел и поданный им тайный знак.

– Еще по каким лучшим! – со старательным рвением отозвалась она.

Блюстительница стерильности еще потормозила-потормозила своего кавалера, снова ухватилась за его руку и завизжала наждаком по асфальту с прежней силой. Минуту спустя на развилке дальнейшие их пути разошлись.

До дома привереды от развлекательного центра получалась четверть часа ходьбы, двадцать минут – если уж не идти, а совсем ползти. Они и ползли. Что было спешить. Такой чудный был вечер. Предночье, верное своему названию, гоня с востока сизую мглу, силилось насытить воздух пепельным светом, но ему все не удавалось сломить сопротивление запада – воздух по-прежнему был лиловым, словно оставалась открытой в ушедший день просторная дверь. И ни ветерка. Ни малейшего шевеления листвы, заметного глазу. И этот теплый запах смоченной дождем земли, остывающего асфальта, прибитой пыли, освеженной листвы. Невозможно было отказать себе в наслаждении таким вечером.

У дома, не дойдя до подъезда какого-нибудь десятка метров, привереда остановилась.

– Давай попрощаемся здесь. Завтра у меня такой день… проверка, отчет – я тебе говорила. Мне нужно выспаться и быть

свежей.

Неожиданный и увесистый был удар. Так славно сходили в кино, так замечательно прогулялись – такой упоительный получился вечер… К. невольно настроился на такое же славное завершение его, рассчитывал на это, и странно было бы не рассчитывать.

– Ладно, ладно, ладно, – привлек он ее к себе – и о, как все в нем тотчас просквозило нежностью к ней, как полыхнуло, разожглось, воспламенилось. – Что ты, не было у тебя этих проверок? Отчитаешься за милую душу, ты у меня умница, что тебе этот отчет!

– Нет-нет, не уговаривай, оставь, нет. – Ее чудесные серые, с сизой дымкой пылающего жаром летнего дня дальнозоркие глаза смеялись, она знала свою власть над ним, была уверена в своей силе. – Я должна выспаться, и без разговоров. А ведь ты же не дашь.

– Почему же уж. – Нести обманную словесную лузгу не хотелось. Ну в самом деле, не для того же оставаться у нее, чтобы она выспалась. – Я буду милостив.

– Пока, пока, – уперлась она ему руками в грудь. И стала отталкивать от себя изо всех сил. – Завтра, завтра. Давай завтра.

Он уступил. Отпустил ее. Он знал: если она хочет на чем настоять – настоит.

Поцелуй ее был сдержанно-скуп, чуть ли не братский. Не разжигайся, ни к чему, дело решенное, сообщал ему этот ее поцелуй.

Каблучки ее застучали по асфальту – он стоял смотрел ей вслед, ему доставляло наслаждение смотреть на нее, на угадываемый под покровом одежды, так хорошо знакомый абрис ее тела, ах, прожгло в какой-то момент ревностью, а ведь так с утра до вечера смотрят на нее в этой ее мэрии и другие. И что ж, что другие, набрав дверной код и приоткрыв дверь, обернулась она к К., ответила ему оттуда своей улыбкой, ведь никому другому этот абрис без одежды неведом, – подслушала его мысли, как всегда.

Он медленно тащил себя прочь от ее дома, и казалось, что пепел, накатывающий с востока, принялся заливать небо скорее, запад начал уступать. Следовало ускорить шаг и поспешить к своему дому. Но, подумав об этом, К. не изменил темпа. Не тянуло его домой. Это так счастливо сложилось у привереды, что она жила одна, а он обитал с родителями, комната их, комната его, родители, конечно, – родители, связь крови, ощущение вскормившей тебя пуповины, а все же уже не шестнадцать лет, не семнадцать, больше на целый десяток, как отряхнуть с ног прах

истлевшего детства, продолжая жить все так же с отцом и матерью? Однако же карман К., несмотря на то что он ушел от себя семнадцатилетнего на добрый десяток лет, по-прежнему не позволял ему иметь отдельное жилье. Приходилось внушать себе, что не особо его это и тяготит.

Ноги между тем, понял он некоторое время спустя, стремят его на набережную – совсем не туда, куда бы следовало направляться, если все же идти домой. Пожалуй, набережная была его любимейшим местом в городе. Хорошо поставили город тысячу лет назад пращуры. Далеко в обе стороны распахивался водный простор с режущими воздух крикливыми чайками, парадным строем тянулись открытые его свежим ветрам фасады домов, поставленных большей частью еще в позапрошлом веке и оттого особо отрадных глазу, а набережная, простроченная белой стежкой фигурных столбиков балюстрады, в шпалерах вовремя подстриженного кустарника, в свежих липах, посаженных так, чтобы не закрывали вида на реку, струила себя вслед изгибам береговой линии как само воплощение разумной человеческой воли, укорачивающей разнузданную стихию природы.

Пустынна и безмолвна была набережная. Ни машины, ни велосипедиста, ни пешехода. Лишь слабый ропот листьев под веющим с реки слабым ветерком оживлял пустынную ее тишину. Это она днем кипела народом. А сейчас для народа было уже не время. Отходить ко сну готовился народ. Выспаться, подняться с утра – и в новый день, занимайся чем хочешь, блюди лишь правила стерильности.

Чувством неуютности охватило К. Той, дневной, ожидал он увидеть набережную, он ее любил ту, являвшую собой образчик воплощенного замысла о разумной и свободной человеческой воле, – на этой, предночной, ему нечего было делать. Эта, предночная, вместо радости и упоения жизнью, что давала дневная, рождала неуверенность, тревогу, смятение, она не придавала сил, а отнимала их.

Охваченный пламенем электрического огня большой теплоход медленно выбирался из-за речной излучины. И, как всегда в таких случаях бывает, чудилось, что там, на этой неспешно являющей себя взору глыбе света и есть настоящая жизнь, ее полнота, там твой безвозвратно упущенный шанс, возможности, которых у тебя никогда уже больше не будет. А ведь запад сдался, осознал К. то, что было для него не явно до нынешнего мига. Пылающий огнем теплоход означал, что сумерки уже уступают свои права ночи, еще немного – и настоящая темнота; пора, пора было двигаться домой.

Он повернулся в намерении пуститься в обратный путь,

оставив реку с сияющим теплоходом за спиной, но не успел сделать и шага – завибрировал неожиданно в заднем кармане брюк, зазвонил телефон. Это она? Передумала? Все-таки решила позвать его? К. торопливо выхватил телефон из кармана, вдавил кнопку ответа, поднес к уху:

– Да-да?!

Но обратившийся к нему голос был мужским. Незнакомым. И в интонации его, когда называл К. по имени-отчеству, был не вопрос, что было бы естественнее, – мало ли что телефон К., ведь ответить может и кто-то другой, – а утверждение, словно звонивший и не сомневался, что ответит именно К.

– Здравствуйте, – отозвался К. на его обращение. – А с кем я говорю?

– Не имеет значения, – ответствовал голос. Такой уверенный был голос, такой хозяйский, такой неколебимый в своем праве разговаривать с К. в подобной манере. – Вы на набережной? – Вот теперь в голосе звонившего прозвучал вопрос.

– Предположим, – сказал К. – И что, простите, из этого?

– Оставайтесь там, где находитесь, – повелел голос. – К вам сейчас подойдут, передадут кое-что.

– Простите, – снова сказал К. – С какой стати? Я не знаю, с кем говорю, почему я должен стоять и от кого-то брать неизвестно что? Не собираюсь я ни от кого ничего брать.

Он оторвал трубку от уха и нажал кнопку рассоединения. Что за дикий звонок! Чьи-то шуточки? И откуда кому-то, кроме него самого, знать, где он сейчас находится?

Покидая набережную, К. успел лишь пересечь проезжую часть, ленту тщательно подстриженного газона перед тротуаром, бегущим вдоль фронта домов, – на него из переулка, куда направлялся, выскочил шкет лет девяти, классического для летней поры дворового вида: в зеленой болтающейся на плечах майке без рукавов, в черных, обшарканных до лоснистости шортах по колено, в разбитых сандалиях на босу ногу, загорелые до цвета среднекрепкого шоколада голые его руки от усердия, с каким мчался, взлетали локтями чуть не к затылку. К. посторонился, пропуская шкета, но тот, промчавшись по инерции мимо, тут же затормозил, звучно провизжав по асфальту подошвами сандалий, и, бросаясь к К., прокричал:

– Дяденька! Дяденька!

– Что такое? – остановился К. Он решил, у мальчика что-то случилось и ему нужна помощь.

Шкет в майке не ответил. Он подскочил к К., схватил его руку и принялся всовывать в нее какой-то предмет вроде трубки, короткой, упругой на ощупь, никак не из металла или пластика –

она твердо тыкалась в ладонь, и ладони было не больно от ее тычков.

– Вот, вот… вам… для вас… возьмите, – приговаривал шкет при этом, – возьмите… ну чё не берешь?! – взорвался он визгом, готовый, похоже, вступить с К. и в грубую схватку, но только вручить ему эту упруго-твердую трубку. – Тебе же… так бери! Бери же! Бери!

– Почему ты уверен, что мне? – спросил К., по-прежнему не принимая предмета, что шкет пытался всучить ему.

– Кому еще? Тебе! – заверещал шкет. – Кто здесь на набережной, кроме тебя!

Так это, что подойдут и передадут, это вот об этом мальчишке, связались у К. воедино звонок и появление шкета.

– И что же это такое? – поинтересовался он.

– Что дали, то и есть, – ответил шкет.

– Кто дал? – предпринял К. попытку получить от шкета сведения, которые бы могли пролить свет на происходящее, но шкет оказался искуснее в противоборстве.

Рука его неожиданно взлетела вверх и быстрым движением сунула то, что он до того безуспешно вталкивал К. в руку, в карман рубашки. После чего шкет тут же метнулся от К. прочь.

– Малява это тебе, – бросил он вдруг огрубевшим голосом, приостановившись, когда отбежал от К. на несколько шагов.

Следом за чем вновь кинулся бежать – обратно в тот переулок, из которого выскочил на набережную, – дав такого стрекача – только замелькали протертые до дыр подошвы его сандалий.

Туго скрученный подобием маленького свитка клочок бумаги оказался в руках К., когда он извлек из кармана всунутую ему туда шкетом штуковину. «Послание? Письмо? Уведомление?» – синонимическим рядом промелькнуло в мозгу К. переложение с тюремного жаргона на обычный словарный язык. Должно быть, исходно «малява» состояла в родственной связи с «малевать». «Намалюй ему цидулю», – преподавательской привычкой тотчас закрепить оглашенный постулат наглядным примером прозвучало в К. Вновь, как тогда, когда в кармане брюк зазвенел телефон, К. подумалось о привереде: не от нее ли? С нее что-нибудь вроде такого сталось бы – пожелай она сообщить ему что-то, чего не хотела лицом к лицу, к мысли об этом ее сегодняшний отказ ему подняться вместе с ней невольно склонял. Но нет, звонок, предваривший появление шкета, не мог быть связан с нею, откуда ей знать, что он на набережной?

К. принялся разворачивать полученную бумажную трубочку. Крепко она была скатана, виток к витку, как упрессована, в

середине скатки сложена пополам, в итоге же оказалась четвертушкой обычного листа формата А4. Текст внутри был написан от руки крупными печатными буквами. Изломы скатки исковеркали буквы, но писавший потрудился начертать текст достаточно крупно, и чтение его сложности не составило. «Подозреваетесь. Чревато для вас. Докажите, что подозрения беспочвенны», – было написано в записке.

Словно бы кто-то невидимый тронул в К. некую струну, и та, тяжело завибрировав, наполнила его тревожной растерянностью. Кому понадобилось присылать ему эту маляву? В чем он подозревался? Кому он должен был что-то доказывать? Какой бред! Но, задавая себе эти вопросы, он чувствовал в то же время: не бред это, никакой не бред. Не шутка какого-нибудь олуха вроде его студента. Чем-то грозным веяло от слов записки, несмотря на комичную безграмотность оборота «чревато для вас», лишенного полагающегося ему дополнения, – как бы с рельефной отчетливостью докатился до слуха раскат грома, прозвучавший далеко за горизонтом. И что он означал, этот гром?

К. оторвал глаза от записки и огляделся вокруг. Было ощущение, за ним наблюдают через сто тысяч видеокамер. Вокруг, однако, по-прежнему не было ни души. Пустынно и тихо. Шкет исчез в переулке, исчез вместе с ним и дробный стук его сандалий об асфальт. Лишь электрический пламень теплохода оживлял вид окрест. Теплоход полностью выбрался из-за излучины, и вся его сияющая глыба с промелькивающими по палубам тенями людей была доступна взгляду.

К. вдруг нестерпимо захотелось оказаться там, в этом сияющем мире, быть одной из тех промелькивающих теней на его борту, и даже такое почудилось: вот если еще усилиться в своем желании оказаться там – и перенесешься, получится.

Но нет, невозможно это было, как ни усиливайся, и, повернувшись к теплоходу спиной, тем же переулком, из которого появился и исчез шкет, он быстро зашагал с набережной прочь – как и намеревался до таинственного звонка.

2. Сырнички

Какая же вышла у К. скверная ночь! И если бы кошмары снились – понятно; нет, что-то нелепое снилось: серое было вокруг, клубящееся подобно туману, похожее на туннель, он пытался вырваться из него, там был выход, но узкий, как игольное ушко, сжимал себя, истончался, чтобы протиснуться, а истончиться не получалось, и до того тягостно от этого становилось – невероятно, просыпался от мычания, что исторгалось из него. Вскидывал себя в постели, сидел, ложился, с трудом засыпал – и снова просыпался от того же мычания. В очередной раз, когда сидел таким образом, мутно вперясь в бледнеющую предрассветную темь перед глазами, дверь с легким скрипом осторожно приотворилась, заглянул отец. Разглядел, что К. сидит, и разверз дверь в полный раствор, ступил в комнату.

– Что такое, сын? – приглушенным ночным голосом тревожно спросил он. – Почему кричишь? С тобой все нормально?

Из-за плеча его, вытягивая шею, чтобы лучше видеть К., выглядывала мать. Она в отличие от отца, который спал в пижаме, была в длинной просторной рубашке, и вот эта рубашка, подчеркнуто не напоминавшая дневную одежду, заставила К. в довершение ко всему испытать еще и чувство вины. Так громко он блажил, что разбудил их в другой комнате, сквозь две двери.

– Нет-нет, все нормально. Приснилось. – К. поторопился лечь и укрыться одеялом. – Извините, всё. Спите, не обращайте внимания.

– Ты правду говоришь? Просто сон? – не могла успокоиться за спиной отца мать.

– Правда, правда, – раздражился на их тревожную заботу К.

Утром, впрочем, стыдно было встретиться с родителями глазами именно из-за этого чувства недовольства и раздражения. Хотелось поскорее вычеркнуть из памяти воспоминание о ночном инциденте и избавиться от стыда.

– Ах, сырнички! Сырнички! – потер он поэтому с демонстративным удовольствием ладони, входя на кухню и обнаруживая взглядом на столе блюдо с горкой сырников на завтрак. Как будто сырники на завтрак были у них необыкновенной редкостью.

– Извини, но у мамы нет времени состряпать что-то другое, никак не успевает, знаешь ведь… – В оправдывающемся тоне отца, кроме желания заступиться за жену, было и порицание К. за его, как он счел, неоправданную иронию.

– Нет, сырники – это отлично, отлично! Да еще со сметаной! –

горячо подтвердил свою гастрономическую радость К. Словно сырники со сметаной были на их столе ну вообще каким-то роскошеством, несказанным яством.

– Да? В самом деле? – Отцу и не верилось в слова К., но он и готов был поверить.

Сырники, можно сказать, были профессией родителей К. Когда-то отец был инженером-технологом на заводе, а мать работала журналисткой в газете, но уже много лет, – К. еще учился в школе, – как на их должностях стало нужно проходить тест на стерильность, они не состояли нигде на службе, а зарабатывали на жизнь тем, что делали на продажу сырники. Сырники их отличались одной особенностью, из-за которой уходили влет, пользовались той популярностью, что обеспечивала их сбыт без остатка: они были вкусные. Вот просто вкусные, и все, ничего иного. Секрет был прост: родители не жмотились на яйцах, на лимонах, которыми гасили соду, добавляли в заводской творог непременно и домашнего приготовления, который варили самолично, не перекладывали муки. Они могли бы стать состоятельными людьми на этих своих сырниках. Не бог весть, конечно, какими богачами, но уж отделить К., купив ему небольшую квартирку, сумели бы несомненно. Однако весь барыш доставался такому Косихину, ресторатору и члену всяких комиссий по стерильности – районной, окружной, городской, губернской, – влиятельнейшему человеку в городе. Родительские сырники так и назывались: косихинские, и никто не имел понятия, что в косихинские рестарации их доставляют уже готовыми, остается только разогреть в микроволновке. Мать с отцом пробовали выйти из-под опеки Косихина, пытались открыть собственную торговую точку, – в первый же день точка была объявлена нестерильной, сырники реквизированы, им вынесено строгое предупреждение, а к вечеру в их гараж, где они делали сырники, пожаловал сам Косихин, – в разорванных на ляжках голубых джинсах, собравшейся складками, широкой ему розовой майке-кофте, но в лаковых черных ботинках крокодиловой кожи и со стрижкой – так, волосок к волоску, стригли только за месячный оклад, что был положен К. в университете. Выручил дураков, с теплой улыбкой втолковывал Косихин родителям К., сидя перед ними с заброшенной одна на другую ногой. Если бы стало известно, где вы делаете свои сырники, вы представляете, что бы с вами было? В гараже! Это же надо. Нарушение всех правил стерильности. Антисанитария. Ох, что бы с вами было! Вот мы бы открыли свое дело по-настоящему, арендовали бы помещение, там бы и стали готовить, попытался возразить Косихину отец. Косихин посмотрел на него

недоуменно, недоуменно пожал плечами, развел руками: и он думает, что мог бы получить патент стерильности?! Что за наивность! так обольщаться! Мать с отцом, вернувшись в тот день домой, делясь с К. происшедшим, то и дело возвращались к мысли: хорошо, что есть этот гараж, в квартире ведь не развернешься, уж радоваться тому, что есть. Машины они никогда не имели, гараж достался матери в наследство, дед К. был профессором, деканом в университете, автором учебников, лауреатом премий – большим человеком был; но все в прошлом, история, слепящая своим блеском и подлежащая забвению за ненужностью. Хотя лично К. так не считал. Дед своей жизнью подпирал его, подталкивал вверх, раздувал ему крылья, К. чувствовал: он еще взлетит, у него не будет, как у его родителей, последними ничтожествами станут для него такие косихины, не решатся шевельнуть и пальцем против него.

– Знаешь, если бы удалось самоучредиться, – с затаенной мечтательностью, загораясь взглядом, произнес отец, – мы бы с мамой такие виды сырников стали делать! У нас все продумано, вся рецептура. И с маком бы, и с лимонной цедрой, и обваленные в кунжутном семени… да каких бы только не делали! Так бы развернулись!

Он всякий раз, стоило К. выказать расположение к их с матерью занятию сырниками, пытался поделиться с ним своими мечтами по развитию бизнеса, если бы обстоятельства к тому благорасполагали. Но уж на то, чтобы вести подобный разговор, К. никак не был настроен.

– Да, да, конечно понятно, – проговорил он быстро, накладывая себе в тарелку сырников и поливая их сметаной. – Но ведь невозможно же самоучредиться? Не получится?

– Нет, не получится. Кто нам позволит. – Отец сидел, не приступая к еде, опустил голову, потер лоб в провисших струнах морщин, а когда вновь поднял голову, взгляд К. встретился с глазами, в которых не угадывалось не только огня, но и игры догорающих углей не увидеть – одна зола. – Не Косихин, так какой-то другой косихин, с другим именем. Даже и непонятно, как это свидетельство о стерильности получать. С какого боку заходить?

– Что же тогда, – пробормотал К. Он ускользал от разговора, к которому был расположен отец, и хотел, не проявив своего нежелания вести его, дать все же отцу это свое нежелание почувствовать. – О чем тогда и толковать…

Мать возникла на пороге кухни уже одетая выходить из дома, даже с сумкой в руках, и стук каблуков по полу, когда шла к кухне по коридору, свидетельствовал, что уже и туфли у нее на

ногах.

– Ты что рассиживаешься? – оттуда, с порога, требовательно обратилась она к отцу. – Пойдем, пора. Опять не успеем к приезду машины пожарить все полностью.

– Да! И Косихин будет в гневе. – Отец схватил вилкой из блюда сырник, метнул его целиком в рот и принялся торопливо жевать. – Дай же мне хотя бы что-то в желудок положить! И сама вон парочку бы своих изделий съела, – вырвалось из его переполненного рта клокочущим мычанием.

– У меня никакого аппетита от этой жизни нет, – парировала мать. Впрочем, она присела третьей к накрытому ею столу. Боком, поставив на колени свою похожую размерами на кошелку сумку – ну точно картинка ожидания поезда на вокзале. – Схвачу что-нибудь потом по ходу, чтобы с ног не свалиться.

К. старательно пялился в свою тарелку с обрыдшими сырниками. Ему снова было стыдно перед родителями: за то, что присутствует словно бы при их обоюдном обнажении, видит их совершенно без всяких одежд, голыми – чего бы детям, какого возраста они ни будь, не следовало. И еще стучало в висках: не хочу такой жизни, как у них, не хочу, не хочу! И стыдно ему было, и жгло яростью: как вы смеете быть такими, почему?!

В университете сегодня с утра была у него назначена предэкзаменационная консультация, и не на раннее время, можно еще побыть дома и полные полчаса, но К. поднялся из-за стола даже раньше спешащего насытиться отца и постящейся матери в позе пассажирки на вокзальной скамье. И только оказался на улице, тотчас испытал облегчение. Все душившие его чувства словно выпарились в одно мгновение, отлетели невидимым эфиром – радостное ликование наполнило его. И утратил вес оттягивающий плечо широкодонный портфель на ремне, в который напихал книг для демонстрирования их на консультации. И клубящийся туманом серый ночной коридор, из которого тщетно пытался выбраться, и вечернее происшествие на набережной с врученной ему непонятной цидулей-малявой – все, все отлетело от него. Жизнь была ясна, светла, просторна, понятна, и у него все в ней должно было быть хорошо.

Студенты, когда он вошел в аудиторию, были уже все в сборе. К. слыл простым и доступным, но требовательным преподавателем. Откуда взялась такая репутация, он не имел представления, но, узнав о ней, постарался закрепить ее. Например, не пускал на свои лекции тех, кто опоздал. Потом, правда, непременно отлавливал в коридорах того, кого не пустил, и принуждал выслушать что-то вроде конспекта лекции, на которую тот не попал. Жаль ему было их, униженных и

оскорбленных его строгостью ради репутации. И сам ведь он еще недавно был таким же бесправным раздолбаем!

– Что, господа, – вопросил он готовую внимать ему аудиторию, – сразу капитулируем или станем защищаться и умрем красиво?

Как обычно нашелся смельчак, что решился поднять брошенную перчатку.

– Станем защищаться! – ответствовал К. голос со студенческих скамей.

– Вот верно, – признал его правоту К. – От экзамена не убежишь, нужно сдавать. Как говорил Мальбранш, не всегда полезно наслаждаться удовольствием, полезно порою и испытывать страдание.

Он был в ударе, он блистал. Стоял на кафедре – отвечал на вопросы, растолковывал, объяснял, шутил, пересыпал свой рассказ анекдотами, юмористическими историями (загодя заготовленными!), перелетал от Беркли к Ортеге-и-Гассету, от Фихте к Хайдеггеру, от Шопенгауэра к Витгенштейну. Он был недурным преподавателем, К. знал это о себе и, хотя осаживал себя в горделивом чувстве, все же и заносился, чувствовал, что заносится, – и одергивал, а там и снова ловил себя на том, что не чужд горделивого самоуважения. Что же, вопросов больше нет? – обвел он взглядом сомлевшие скамьи перед собой и, не получив на этот раз на свой вопрос ответа, в прежнем, летяще-щегольском стиле распрощался: «До встречи, господа, на крепостных стенах!»

Уныло-казенная, в изношенных стеллажах, беспорядочно уставленных книгами и заваленных разномастными папками с сотнями нужных и давно ненужных бумаг, комната кафедры была слепяще залита полдневным жестоким солнцем. Окно выходило на юго-восток, и от этого беспощадного солнца можно было защититься лишь плотными шторами или жалюзи, но ректорат обещал выделить деньги или на то, или на другое, когда К. заглядывал в эту комнату, еще сам ходя в студентах. Секретарь кафедры, немолодая унылая дама с крашеными в тусклый бледно-йодистый цвет волосами, усердно завитыми в редкие букли, всем своим видом согармоничная общему облику комнаты, что было неудивительно, – она исполняла свои обязанности секретаря если не с допотопных времен, то со времен Древнего Рима точно, на это ярящееся солнце, когда К. вошел, и пожаловалась:

– Ведь что-то невозможное! Я просто умираю. Когда, наконец, у нас будет спасение от этого пекла?!

Словно не от кого другого, как от К., зависело появление шумных рабочих со стремянкой и дрелью, которые взгромоздятся

под потолок, просверлят в стене над оконным проемом дыры, вдолбят в них дюбели, ввинтят шурупы, и вот уже на тех висят карнизы – то ли для штор, то ли для жалюзи.

– Завтра же, – сказал К.

Секретарь кафедры неверяще, но с гримаской радости посмотрела на него:

– Как это? Откуда такие сведения?

– Если скинемся все из своего кармана. И прямо завтра же все можно сделать, – ответствовал К.

– Как это? – повторила секретарь кафедры. – Разве можно? Такая самодеятельность по правилам… Или вы что-то слышали? Разрешили?

– С завтрашнего дня, – отрезал К. – Явочным порядком. На нашей отдельно взятой кафедре.

– Уф! – выдохнула секретарь кафедры и отвалилась на спинку стула, на котором сидела, с тем облегчением, которое свидетельствовало о пережитом ею только что стрессе. Стул при этом проскрипел так громко и натужливо, словно выдохнул вместе с нею. – Вы всё шутите! Разве можно так шутить! Меру надо знать. Дошутитесь, смотрите.

– Нет, а в самом деле, – К. невольно увлекся, – почему нет? Расход, если разложить на всех, не такой уж большой, а как бы сразу стало хорошо…

– Ой, идите вы! – Унылая современница Древнего Рима села на своем стуле прямо (стул снова одышливо проскрипел), поправила букли прически и объявила К.: – Вас завкафедрой просил не уходить. Хотел с вами пообщаться.

– На тему чего?

Странно было бы, если бы К. не сделал стойки. Даже такая мысль промелькнула: не связано ли это желание завкафедрой пообщаться со вчерашним происшествием? Впрочем, он тут же отверг эту мысль. Ароматом паранойи веяло от нее.

– А вот придет, узнаете, – с мстительным удовлетворением отозвалась секретарь кафедры. Может быть, ей было известно, для чего завкафедрой просил К. дождаться его, может быть, нет, но что ей удалось сделать, так вид, будто смысл просьбы завкафедрой ей ведом, но К. в него она не посвятит. – Будете со мной шутки шутить!

Никаких, однако, неприятных сюрпризов появление завкафедрой К. не преподнесло. Завкафедрой, оказывается, хотел всего лишь пообщаться. Вернее, он нуждался в компании К., чтобы по окончании собственной консультации (все остальные преподаватели кафедры сегодня отсутствовали) убить время до совещания у ректора, на которое был вызван в обязательном

порядке и до которого оставалось еще едва не полтора часа. В светлом летнем пиджаке, по-молодежному надетом на темно-серую майку, из выреза которой открыто и сильно тянула себя вверх крепкая мускулистая шея, с разделенными посередине головы на пробор по-артистически длинными волнистыми волосами, начавшими осторожно седеть на висках, по-львиному мягко-кошачий в движениях, со своей обычной благожелательно-улыбчивой складкой губ, он распахнул дверь, входя, – и К., как всегда при встрече с ним, пронизало горячим отчетливым сыновним чувством. Завкафедрой благоволил К., личной инициативой дал ему на кафедре место, отстояв его кандидатуру перед начальством (у которого были на это место свои виды), – истинно сыновней была привязанность К. к завкафедрой. Ему хотелось, чтобы его настоящий отец был похож на завкафедрой, хотя бы какие-то черты – в характере, поведении… Но нет, однако.

– А знаете что, давайте пойдем в столовую нашу, пообедаем? – предложил завкафедрой через некоторое время после своего появления. – Убьем двух зайцев: и наговоримся от души, и сыты станем. Застольная беседа, она вообще… драгоценная вещь!

К. еще не собирался обедать, для него было рано предаваться радости поглощения пищи, но, естественно, он согласился отправиться в столовую, не раздумывая. Выходя из комнаты вслед за завкафедрой, К. обернулся, поймал взгляд современницы Древнего Рима и подмигнул ей. Ничего-ничего, я на вас не держу сердца, да и вы на меня не держите, что-то вроде такого означало его подмигивание.

Широко распластавшийся и вдоль и поперек, предназначенный для приема сразу многих десятков людей, просторный зал столовой был почти пуст – летняя экзаменационная пора, – занять любимый столик завкафедрой под войлочно-лаковой пальмой в схваченной широкими лаково-черными обручами кадке не составило труда. Но без коньячка, без коньячка, приговаривал завкафедрой, отовариваясь едой на раздаче. И когда уже обосновывались за столом, снова, с видимым сожалением, протоколовал:

– Без коньячка, без коньячка, да! Это вы на сегодня свою военную компанию завершили, а мне еще оружие нужно держать наготове. Мне еще, можно сказать, предстоит переход Суворова через Альпы.

– Прямо переход Суворова через Альпы? – усомнился в точности метафоры К.

– Прямо, прямо, – подтвердил завкафедрой, держа перед

собой столовый прибор, как бы собираясь с силами, чтобы управляться с ним. – Всякий поход туда, – последовало легкое движение глаз и подбородка наверх, – как тот переход. Всякий раз как по Чёртову мосту, который простреливается навылет. Цок-цок пули о скалы. Цок-цок. А ты держи гвардейскую осанку, виду не показывай, что страшно, еще и хлыстиком эдак картинно по голенищу…

– Чем выше джомолунгма, тем на ее вершине холоднее и свирепей ветры, – с видом умудренности отозвался К.

– Да уж какая тут джомолунгма. – Завкафедрой звучно поскреб ножом о вилку – словно бы поточил его. – Так, альпийские луга. Не выше. Но ветры, ветры! Как там, на крыше мира. Такие же злые. Придет время – узнаете и вы.

– Я не рвусь на джомолунгмы. Пусть они даже на высоте альпийских лугов, – ответствовал К. Это не было опасливой хитростью подчиненного, стремящегося не дать шефу возможности заподозрить его в том, что разевает рот на каравай начальника. Он и в самом деле не чувствовал в себе карьерных желаний. Карьерные поползновения в человеке казались ему довольно недостойным качеством личности.

– Не зарекайтесь, не зарекайтесь. Кто знает, под какими ветрами вам ходить, – пообещал завкафедрой. – Лучше быть готовым, чем потом в оторопь от неожиданности впадать.

Последние слова он договаривал, приступив наконец к еде, и К. последовал за ним.

– Да, без ветров жизни не бывает, – с прежним видом умудренности резюмировал К., разделывая свой кусок мяса.

Ему была приятна та дружественность, с которой завкафедрой вел себя с ним. То, как открывался ему, можно сказать, обнажался. И даже словно бы просил сочувствия. Безвозвратно стареющим отцом, да-да, стареющим отцом ощущал его К., повзрослевшим сыном – себя, и такая горячая сыновняя благодарность внутри – не передать, не высказать.

Оттого что это чувство было никак не высказать, а оно рвалось наружу, К. неожиданно, ни с того ни с сего начал рассказывать о своем утре, о родителях, их сырниках, о Косихине, на которого родители работают, о том, как они страдают, но сделать ничего не могут, этот Косихин не позволяет им… А, так эти знаменитые косихинские сырнички – это, значит, ваших родителей рук дело, еще он только помянул Косихина, воскликнул завкафедрой. Их, их, благодарно подтвердил К., получив от реплики завкафедрой заряд энтузиазма для продолжения рассказа.

Но с какого-то момента – К. не зафиксировал точно с какого –

завкафедрой перестал интересоваться его рассказом, опустил нож с вилкой на тарелку, возвел очи горе, подергал головой, как избавляясь от некоего морока, перевел взгляд на начавшегося спотыкаться К. и прервал его:

– Простите-простите, но они, я понимаю, в гараже их делают, так? Не где-нибудь, а в гараже: машина рядом, бензин, канистры, инструменты…

– Да нет там никакой машины, пустой гараж, – сбитый с толку поведением завкафедрой, не понимая, с чем связан его вопрос, пустился в торопливое объяснение К. – Просто помещение, где они вынуждены их делать, – это гараж. Больше негде, где им еще. А там можно, вполне, пространства достаточно.

– Гараж! – Весь вид завкафедрой был укор и осуждение. – О чем тогда разговор? Ведь они все правила стерильности нарушают! Разве можно еду – в гараже? Это бог знает что! Страдают, говорите? Радоваться должны, что Косихин берет у них эти сырнички!

– Но так Косихин же… и не дает самостоятельно… взять в аренду, самим… – сбивчиво, не в состоянии выстроить связной фразы, попытался отбиться К.

– А это договариваться надо. Надо уметь быть договорными. Уметь выстраивать отношения. – Куда делась вся дружественность, с которой завкафедрой держал себя с К. до того. Это был холодный, безжалостный работодатель, без всякого снисхождения отчитывающий наемного работника за допущенный промах. – И вообще, простите: зачем вы мне все это вывалили? С какой целью?

– Да ни с какой, – потерянно отозвался К. – Какая тут может быть цель…

Завкафедрой поднял вилку с ножом с тарелки, собираясь продолжить трапезу.

– Будем считать, вы мне этого всего вообще не говорили. Понимаете? Вообще. Ничего. Вы отдаете себе отчет, что с этими вашими откровениями я должен бы сделать?

– Да? Что? – бестолково вопросил К.

Завкафедрой сидел с вознесенными над тарелкой ножом и вилкой и испытующе смотрел на К. Пауза тянулась, как затяжной прыжок с парашютом. К. никогда не прыгал с парашютом, но такое у него было чувство – как с парашютом.

– Сообщить о них куда положено, – ответил наконец завкафедрой. – Нарушение правил стерильности. Сырники в гараже. Подпольное предпринимательство, так это называется. Преступление.

– Да что вы, да уж преступление, нарушение, – с ощущением нераскрывшегося парашюта, земля все ближе, еще несколько мгновений – и хрясь об нее, вдребезги, всмятку, в кровяной мешок, забормотал К. – Какое тут преступление? Косихин у них это скупает, забирает, им самим не дает, а сам везде, во всех советах…

– А вот о Косихине не говорите! – Руки завкафедрой со столовым прибором в них взметнулись вверх запретительным жестом. – Это недостойно – переводить на другого стрелку. Уважаемый человек, кстати. Как о нем пишут? Воплощение самой идеи стерильности. Один из ее столпов. Детским домам помогает, знаете? Награды государственные. И всё, всё, – быстрым движением, решив, видимо, что К. будет ему сейчас отвечать, прочертил он перед собой в воздухе ножом с вилкой кресты. – Ни слова больше. Вы мне ничего не говорили. Я ничего не слышал.

Руки завкафедрой с ножом и вилкой снова опустились к тарелке, и на этот раз он вернулся к еде. Вернулся через некоторую паузу к процессу опустошения своей тарелки и К. Только теперь они ели в молчании. И тягостно же было оно!

Завкафедрой нарушил молчание только уже под самый конец обеда.

– И вот еще что, не хотел с вами об этом, но, вижу, что нужно, – сказал он, перехватив взгляд К., для чего некоторое время сидел и выжидательно смотрел на него. – Что вы там о Беркли, на семинаре по нему… что это за рассуждения о возможности параллельного существования двух миров, материального и духовного? Об их невзаимопроникаемости, субъективной объектности, непознаваемости для наблюдателя из другого мира? Что это за дичайшая отсебятина? В наших методиках такого нет. Это непозволительное утверждение. Совершенно недопустимое.

– Откуда вам известно, что я так говорил? – К. не стал отпираться. Говорил, говорил!

– Да что же удивительного, что стало известно. – Голос завкафедрой был полон сарказма. – Хорошо, что ко мне сведения поступили, не к кому другому. Хорошо? – вопросил он риторически. И ответил: – Еще бы не хорошо! Но должен вас предупредить… хочу предупредить. Я ведь тоже… у меня тоже репутация есть. Понимаете?

– Понимаю, – слабо отозвался К. Скверно же ему было от этого разговора!

– Не сомневаюсь, что понимаете, – с той, прежней благожелательной дружественностью, которой светился в начале их застолья и которая была обычна в его обращении с К.,

улыбнулся завкафедрой. И неожиданно подмигнул К. с такой залихватскостью, так по-свойски – и держи на него сердце тысячу лет, следа не останется от былой обиды. – Сырнички! Знаменитые косихинские. Вот кто их делает! Ваши родители. Надо же!

3. Рипето

Клинг-кланг – звонко говорили ножницы над головой К. Клинг-кланг, клинг-кланг. Так звонко, так напевно, словно это не ножницы были, а звучно подавал голос некий маленький ксилофончик. У его друга всегда был замечательный инструмент. Из закаленной стали, с легким, свободным ходом, с режущей кромкой – истинно бритва.

– И нужно тебе было делать эту твою преподавательскую карьеру, – говорил друг-цирюльник, поигрывая у него над головой на ксилофончике. – Чтобы теперь выслушивать все эти попреки: не то сказал, не так осветил! Нужно тебе было, спрашиваю?

Спросил он только сейчас, до этого он лишь вещал, но К. не стал ловить его на противоречии.

– Я разве ее делал специально, – сказал он. – Просто уж так… естественным ходом. Одно к одному, одно за другое. А если не преподавателем, то кем же еще?

– А вот потому я и положил на все эти карьеры, – сказал друг-цирюльник. – И на диплом. Выучился бы – и что? А разве я темный человек, можно так про меня сказать?

– Что ты, какой темный, перестань. Ты лучше меня образован. Я с тобой только в философии и могу тягаться.

И это было правдой, К. не пришлось лукавить, отвечая другу-цирюльнику. Друг-цирюльник разбирался в какой-нибудь хромосомной теории наследственности не хуже дипломированного биолога, ориентировался в истории, начиная с первых египетских номов, как Тесей с помощью Ариадниной нити в Лабиринте, непонятным образом освоил латынь, читал на ней всякие средневековые трактаты, а сейчас изучал эсперанто, что самому К. представлялось совершенным курьезом вроде третьей лапы у курицы.

– Я просто читаю книги. – Друг-цирюльник над К. приостановился клацать на ксилофончике. – Книги же в открытом доступе. Находи нужные – и читай. Не понял – перечитай. Нужно всего лишь читать и уметь перечитывать. Ничего больше. Знаешь, как будет на эсперанто «ко мне пришел мой товарищ освежить свою прическу»?

– Да, как? – без особого энтузиазма поинтересовался К.

– Миа амико венис пор реновиджи лиан фризаджеон. – В голосе друга-цирюльника прозвучало наслаждение. – А? Красиво? Музыка! Эсперанто еще станет языком мира, уверен! Все будем говорить на нем и понимать друг друга. Все! Где бы ни жили. Без

различия цвета кожи и разреза глаз.

– Несомненно, несомненно, – подхватил К., отвечая его отражению перед собой. – Каждый владей эсперанто – и на земле сей же миг мир и благоволение во человецех.

– Оставь эту пошлую иронию для студенческой аудитории, – возвращаясь из того далека, куда увело его звучание эсперанто, ответил друг-цирюльник. Взялся за макушку К. пястью, повернул его голову, как то делают все парикмахеры, чтобы им было удобней стричь, и возобновил свои упражнения на ксилофоне. – Счастья, может быть, и не прибавится, а взаимного понимания – да, непременно.

– Подстриги меня короче, чем обычно, – попросил К., глядя, как летает над его макушкой звонкий ксилофончик друга-цирюльника. – Чтобы чувство обновления какое-то.

– Вот как! Вот как! – не прерывая своей звонкой игры, ответствовал друг-цирюльник. – Крепко, вижу, достал тебя твой благодетель. Благодетель-благодетель, а шеф.

– Да шеф, конечно. Кто ж еще, – пробормотал К.

Шеф-благодетель сидел сейчас на совещании у ректора, совершая переход Суворова через Альпы, а он вот здесь, в парикмахерском кресле под руками дворового друга детских лет, с которым оставались дружны и по сию пору. К. отправился к нему в салон тотчас, как расстались с завкафедрой. Невозможно было заниматься ничем после их разговора, требовалось что-то сделать с собой – распороть, вывернуть наизнанку, перелицевать.

– Я, только ты появился, сразу увидел: ты не стричься пришел, а кожу с себя снимать. – Друг-цирюльник продолжал трудиться над головой К. – Не срок еще тебе стричься. Мне с твоей головой нечего делать. Я тебя не стригу, я тебя, можно сказать, полирую. Какое уж тут короче.

– Ну пополируй, – сказал К.

– И это тебя все из-за вашего разговора так перекорежило?

– Ничего меня не перекорежило. – Проницательность друга-цирюльника была и нужна К. и неприятна одновременно.

Друг-цирюльник не счел нужным выяснять, кто из них двоих прав.

– А как у тебя с твоей… – произнес друг-цирюльник имя привереды. – Все нормально?

К. в тот же миг вспомнилось, как привереда вчера отослала его от себя. С такой твердостью, с такой непреклонностью. Жало, жало его происшедшее вчера. А потом эта трапеза с завкафедрой… Но что за причина, почему друг-цирюльник решил заговорить о привереде? С чего вдруг?

– Все нормально, – ответил К. – Почему ты спросил?

– А потому что выражение твоего лица мне не нравится. – Друг-цирюльник снова прекратил игру на ксилофоне, устремил в зеркале взгляд на К. и просканировал его отражение в покрытом отражающей амальгамой стекле. – Может, она тебя динамит, а? Она динамит, ты чувствуешь, а признаться в том себе не решаешься.

– Перестань, что ты. – Ничего, ни слова, заявившись к другу-цирюльнику, не говорил К. о том, как привереда отослала его вчера от себя, – только об их трапезе с завкафедрой. – Как она меня динамит? Что ты имеешь в виду?

Друг-цирюльник в зеркале поиграл над ним мимическими мышцами, выразив что-то похожее то ли на конфузливость, то ли на глубочайшую досаду – а скорее на все вместе. У него было необычайно выразительное, по-актерски подвижное, углоскулое, длинногубое лицо, оно у него могло, кажется, сыграть не гамму чувств, а целую симфонию.

– Нет, не в смысле, что не позволяет тебе… – Лицо у него снова сыграло небольшую музыкальную пьеску. – Ты ведь с ней хочешь серьезно? Жениться хотел бы?

– Почему нет, – уклонился К. от прямого ответа.

– Вот видишь! – воскликнул друг-цирюльник, словно К. с жадностью признался ему в своем желании повести привереду под венец. – А она…

– Что она? – не выдержал его паузы К.

– Динамит тебя! – вновь восклицанием отозвался друг-цирюльник. – Ждет достойную, по ее мнению, партию. Стерильнейшего из стерильных. Она же во власти работает. Все они там, во власти, такие. А с тобой время пока проволочить…

– Стриги! – взмолился К. Посещало, не без того, давило его временами таким чувством. Но гнал его от себя, задавливал, не давая разгореться – мало ли почему привереда не отвечала пока согласием на его предложение соединить их жизни. – Полируй. Что ты замер?

– Я не замер. – Друг-цирюльник вернулся к своей игре. Ксилофончик над головой К. подал голос. – Я приостановился. Ми хальтис. И без перевода понятно. Скажешь, что нет?

– Не скажу, не скажу, – успокоил его К.

– Мир еще будет говорить на эсперанто – голову на отсечение! – возгласил друг-цирюльник. – И благодаря ему станет единым, да!

Он больше не останавливался и не заводил разговоров до конца стрижки. Полировал, полировал, меняя одни ножницы на другие, то обращаясь к машинке, то к бритве – но не касаясь кожи, лишь мягко шурша лезвием по концам волос, – и наконец

дополировал. Прошумел феном, обдавая К. голову жаром упругой горячей струи, высвободил К. из брадобрейского облачения: взвил в воздух туго обернутую вокруг шеи белоснежную косынку, обмахнул мягкой метелочкой, сметя на пол отстриженные волосы, снял серебристую шуршащую накидку и взвил в воздух ее. После чего объявил – тоном, не желающим знать никаких возражений:

– Поедем сейчас с тобой в бассейн. Поплавать, понырять… в сауне посидим. Но уж поплавать – непременно, это тебе самое то сейчас, и не протестуй!

К. как раз собирался воспротестовать, но, вняв прозвучавшему запрету друга-цирюльника, решил подчиниться его приглашению-приказу. Что в самом деле было не поплавать. Он только испытывал неловкость, что друг-цирюльник оставляет из-за него свое заведение посреди рабочего дня.

– А твои клиенты?

– Не переживай, – отмахнулся от его вопроса друг-цирюльник. – Кто мой клиент – тот у другого стричься не будет. Запишется по новой ко мне. Только выше ценить станет. Чем сложнее путь к цели, тем желаннее ее достижение.

Между тем он уже готовился к выходу. Распахнул скрытый в стене шкаф, где хранился его гардероб, совлек с себя стремительными движениями одежду, в которой работал, так же стремительно принялся облачаться в то, в чем полагал необходимым быть вне работы. Он стриг К. не в общем зале, где все сверкало и умножалось, дробясь, как в калейдоскопе, от бесчисленных зеркал на стенах, а у себя в кабинете, как он называл это дальнее помещение в салоне, – тут было оборудовано только одно место для стрижки, в этом приватном уединении друг-цирюльник приводил в порядок прически лишь избранным.

– В бассейн, в бассейн! – забрасывая на плечо сумку с купальными принадлежностями, возгласил друг-цирюльник.

Попытки заплатить ему за стрижку К. не предпринимал. Друг-цирюльник не взял бы с него платы. Когда-то К. пытался разделить дружбу и службу, доставая из кармана кошелек, но друг-цирюльник безоговорочно отказал ему в этом. И не вздумай ходить к кому-то другому, возложил он на К. повинность стричься лишь у него.

У стойки ресепции, на выходе из салона, друг-цирюльник задержал шаг.

– Такое вот поручение, – сказал друг-цирюльник старательного вида мордашке за стойкой, преданно подскочившей со своего высокого табурета, еще лишь они с К. появились из зала, – обзвони моих клиентов, кто там сейчас

должен прийти, извинись, перенеси на другое время, как им удобно.

Он был не просто хозяин, он был мастер, дело его было востребовано, он знал цену своим рукам – и мог позволить себе понебрежничать в обращении с жаждущими сесть к нему в кресло, как ни значительно будь их положение на социальной лестнице. Чем сложнее путь к цели, тем желаннее ее достижение, – как это будет на эсперанто?

– У тебя всегда будет на кусок хлеба с маслом, да? – сказал К., когда они вышли на улицу. Вкладывая, впрочем, в свои слова не вопросительный, а более утвердительный смысл.

– Не только, не только, – отозвался друг-цирюльник. Его подвижное углоскулое лицо выразило веселое удовольствие. – Но и вот, – указал он на яростно-красный спортивный кабриолет, к которому они подходили.

Это был его кабриолет. Друг-цирюльник покупал себе лишь такие машины, от которых при одном взгляде на них било током, и не боялся зависти и недоброжелательства. Да, кладу себе масла на кусок сколько хочу, сообщал он всем этими своими машинами. Мое масло. Мой хлеб. Не хотите смотреть, как ем, – не смотрите. Смотрите – терпите.

В машине, включив мотор, он первым делом отправил за спину кожаный тент крыши. Тот уезжал, поскрипывая, назад, и уличный воздух, заполняя открывающуюся кабину, овевал лицо с особой остротой прикосновения, как если бы был не тем же самым, от которого себя только что отделил, захлопнув дверцу, а воздухом иного мира, иной жизни.

– Кто бы что бы ни говорил, а кабриолет дает совершенно неповторимое чувство движения, – пристегиваясь, сказал друг-цирюльник. – Такое чувство возникает, когда режешь на кабриолете! До кишок пронимает. Уж ездить на машине – так на кабриолете.

Они катили по городу – и К., поглядывая по сторонам, видел, как все вокруг провожают их кабриолет взглядом. Обращали, еще как обращали на такой кусок масла внимание. Должно быть, оттуда, с тротуаров, мнилось, что у этих двух кусков сыра, восседающих в масле, – не жизнь, а земной Эдем.

Однако чувствовать себя сыром, катающимся в масле, пришлось недолго. Путь до бассейна оказался коротким. Несколько кварталов, пара светофоров, пара поворотов.

Но и нырнуть в воду, отдавшись ее стихии – ах, прав был друг-цирюльник, спасибо ему! – тоже в этом было изрядное удовольствие. Вода плотно обнимала тело, радостно было покоряться ей, признавать над собой ее власть. Народу в бассейне

– кроме них, только еще три человека, и плавали по соседним дорожкам. Друг-цирюльник время от времени, когда проходили навстречу друг другу, спрашивал залихватски, словно все еще продолжая клацать над ним своими ножницами: «А?! Как?» – и К. с непритворным наслаждением выставлял в ответ из воды большой палец. Что говорить, река не дала бы того наслаждения, которое давал бассейн, на реке бы так не поплавал, не так было бы на реке: катера, лодки, теплоходы, баржи вокруг да муть, запахи, разводы бензина. Не получить на реке такого кайфа.

Но на сауну К. уже не хватило. Часа, проведенного в бассейне, с непривычки достало, чтобы ноги отказывались держать, – ни о какой сауне не хотелось и думать. Друг-цирюльник отказ К. от сауны принял, но сам отказываться от запланированного удовольствия не стал. Ну ты посиди отдохни, бодро поклацал он ножницами в голосе, а я ненадолго все ж загляну, расслаблю кости.

Четверть часа, не больше – столько ушло у К. на то, чтобы сполоснуться под душем, вытереться, одеться и сесть в ожидании друга-цирюльника в кресло в предбаннике раздевалки. И только сел – друг-цирюльник тоже объявился в предбаннике. Обмотанный наспех вкривь-вкось белой банной простыней, он напоминал своим видом древнеримского патриция. Но выражение его углоскулого длинногубого лица было никак не патрицианским. Это было лицо не владельца красного кабриолета, а лицо затрапезного пешехода, буквально мгновение назад при переходе улицы по всем правилам, лишь благодаря необыкновенной милости судьбы избегнувшего кровавой участи жертвы этого кабриолета, промчавшегося на запретительный красный свет со скоростью двести километров в час.

Однако К. не тотчас поверил своему впечатлению от лица друга-цирюльника и вопросил, не поднимаясь с кресла:

– Всё? В душ сейчас?

– В душ? – переспросил друг-цирюльник. Веселого клацанья ножниц в голосе его не звучало. Это было пшиканье воды из надетого на горлышко пластмассовой бутылки распылителя. – Нет, не в душ. Или уже в душ… Мне тебе передать нужно, – заспешил он, будто отвечая так на недоуменно-растерянное подымание К. с кресла, но не ступил к нему, а, напротив, попятился. – Вот, – раскрыл он, вытянув перед собой, руку.

На ладони у него лежала твердая бумажная скатка, точь-в-точь такая, как вчера на набережной всучил К. шкет в болтающейся на плечах зеленой майке без рукавов и обшарканных черных шортах по колено.

– Пацан такой, лет десяти, да? – вскричал К., не беря скатки.

– Какой пацан? Что пацан? – все тем же шипением распылителя ответил друг-цирюльник. – Мужики. Двое. Очень серьезные мужики. Ко мне в салон такие только из одного места приходят. Без записи придут – и не заверну, обязательно посажу в кресло. Даже и к себе.

– Из какого одного места? – вспоминая вчерашний голос в телефоне, что предварил появление шкета, понимая из какого и не желая верить себе, спросил К.

– Из службы стерильности, откуда еще, – ответил друг-цирюльник. Он все так же стоял с вытянутой перед собой рукой, на которой складчато-корявой трубочкой покоилась бумажная скатка, а придававшая ему патрицианский вид махровая банная простыня все сползала, сползала вниз, и второй рукой он нервно стискивал ее концы в комок, чтобы она все же не свалилась с него.

– Так думаешь? Или они представились? – снова спросил К.

– Не представились, – пшикнувшим распылителем отреагировал друг-цирюльник. – Но само же собой понятно.

– Из чего понятно? – Не хотелось, ох не хотелось К. брать бумажную скатку с ладони друга-цирюльника, и он тянул время, оттягивал миг, когда это придется сделать.

– Бери, – кивнул друг-цирюльник на свою ладонь. И повторил, уже с досадливым раздражением, что все явственнее проступало на его лице: – Бери же! Что я буду… тебе это.

Лицо у друга-цирюльника, только доставленная им посылка оказалась у К. (малява, вспомнилось К. вчерашнее слово), тотчас выразило облегчение. Он взялся за простыню обеими руками, подоткнул, где нужно, и нужда поддерживать ее, сжимая концы в комок, отпала.

– Что это такое? – поинтересовался он, снова кивая на скатку, только теперь та была в руках у К.

К. принялся разворачивать скатку.

– Узнаем сейчас, – пробормотал он.

Скатка оказалась такой же четвертушкой обычного бумажного листа, как и вчера. И так же, большими печатными буквами, внутри было написано всего несколько слов. Но это были не вчерашние слова. «Нежелание доказать беспочвенность подозрений расценивается как отягчающее обстоятельство. Выглядит как признание», – вот что было написано там.

– Что, что там? – пытаясь заглянуть в расправленный листок в руках К., нетерпеливо вопросил друг-цирюльник.

К. молча передал ему записку (малява, опять прозвучало в нем).

Друг-цирюльник жадно пробежал глазами начертанные

большими печатными буквами слова и поднял недоуменный взгляд на К.

– Что это значит?

– Вот и я бы хотел знать, – сказал К.

И тут, в предбаннике раздевалки, нелепейшее же место – коридор не коридор, проходная кишка с рядком потрепанных жизнью кресел под сенью худосочных карликовых пальм в бомбовидных кадках, К., уже весь в защитной броне одежды, друг-цирюльник, прикрывающий свою наготу простыней на манер древнеримского патриция, – у них произошел разговор, которому должно было бы случиться у друга-цирюльника в салоне и которого не могло быть: без нынешней записки вчерашняя звучала анекдотом.

– Понятно теперь, что ты ко мне такой перевернутый заявился, – сказал друг-цирюльник, когда К. открылся ему, какую цидулю получил вчера на набережной от шкета в майке.

– Да я, вот честно, и не помнил о ней, – ответил К.

– Не помнил – да помнил, – не согласился с ним друг-цирюльник. – Как это бывает: не осознаёшь, а подсознание все знает.

– Что они тебе, эти серьезные мужики, сказали? – задал К. вопрос другу-цирюльнику («из службы стерильности» язык произнести отказался).

– Ничего, – ответствовал друг-цирюльник. – Зажали просто, знаешь, как это делается, – мимо не пройдешь, всучили – и: «Передай!» Ни слова больше.

К. сунул руки в карманы брюк. Прошелся, непонятно для чего выгибая гоголем грудь, в одну сторону, в другую, остановился и извлек руки из карманов.

– Ты умный, – сказал он другу-цирюльнику. – Ты проницательный. У тебя ум острый. Можешь мне объяснить, в чем я подозреваюсь? Как я должен доказать беспочвенность подозрений? Но главное, каких подозрений? В чем?

– В недостаточной стерильности, – без мгновения заминки ответил друг-цирюльник. – В чем же еще?

– И что это значит? В чем выражается? Можешь мне объяснить?

На этот раз друг-цирюльник, прежде чем ответить, выдержал паузу.

– Я полагаю, – сказал он потом, – ты должен пойти к ним.

– Да? – Совершенно искренним было изумление К. – Вроде как «сдаюсь! вяжите меня»?

– При чем здесь «сдаюсь», почему «вяжите»! – Похоже, возмущение друга-цирюльника тоже было предельно

непритворным. – С открытым забралом, с честным сердцем, навстречу с распахнутой душой – показывая: тебе нечего бояться, ты не таишься…

– И докажу тем самым беспочвенность их подозрений! – с иронией оценил его предложение К.

– Да! Именно! – воскликнул друг-цирюльник.

– Да почему я должен что-то доказывать?! – воскликнул теперь К. – С какой стати?

Та ошпаренность, с которой друг-цирюльник появился в предбаннике раздевалки, принеся бумажную скрутку, снова разлилась по его лицу – словно никуда и не исчезала, а лишь пряталась – и вот выплеснула наружу.

– Ты забываешь, с кем дело имеешь. С какой стати, не с какой… а что тебе еще остается?

Что еще остается? К. задохнулся от негодования. Все противилось внутри, отталкивало от себя этот совет, вопило о его дикости, немыслимости, абсурдности.

– Как будет на эсперанто «повторение»? – спросил он.

– «Повторение»? На эсперанто? – друг-цирюльник не мог связать свое предложение с вопросом К. – Рипето. Зачем тебе?

– А подсластить пилюлю, – сказал К. – Вчера – мальчишка, сегодня – сами серьезные мужики. Разница? Вроде как. Но по сути – повторение. Того, что было вчера. Рипето. Как звучит! Красивый язык эсперанто.

– А я тебе о чем все время? – Друг-цирюльник при поминании языка, должного связать человечество в единую общность, завелся, как автомобильный мотор от поворота ключа. – Красивейший!

– Вот я пилюлю красотой и подслащиваю. – К. поглядел на смятый, во множестве заломов листок у себя в руках, сложил пополам и сунул в нагрудный карман рубашки. – Так ты в душ? Давай. Жду тебя. Не терпится снова отдать дань твоему кабриолету.

На самом деле не было у него никакого желания вновь садиться в красную машину друга-цирюльника, так раздражающую народ на улице своим видом. Теперь, после «рипето», ему уже не хотелось распороть себя, вывернуть наизнанку, перелицевать, как то было после трапезы с завкафедрой. Теперь все, что ему хотелось, – остаться наедине с самим собой. Такая опустошенность была внутри – в этом космическом вакууме не могло сохраниться никаких желаний. Какие желания могут остаться в космическом вакууме при температуре минус 273 градуса по Цельсию.

И только друг-цирюльник скрылся за дверью душа,

выскользнул в другую дверь и К. С чувством вины перед другом-цирюльником, представляя его обескураженность и обиду, когда не застанет К. здесь, будет искать – и не найдет. Но минус 273 градуса гнали К. вон из тепла, засасывали в свой мертвый холод, вбирали, втягивали, – и невозможно было противиться их безжалостной лютой воле.

4. Пробит по базе

– Знаешь, они спрашивали меня о тебе, – сказала привереда.

– Да? И что они тебя спрашивали обо мне? – осведомился он, сама незаинтересованность в ответе, так уж – не оставить без отклика ее слова.

– Что, – в голосе ее прозвучало недоумение. – Есть ли у меня молодой человек.

– А почему они обо мне спрашивали?

Недоумение, прозвучавшее в ее голосе, выразилось теперь в ее глазах.

– Как почему? Обычная практика. Они должны были спросить.

Глупость, глупость. Какая глупость. К. мысленно взвился от собственной тупости. Конечно, комиссия, проверявшая привереду, должна была спросить о нем. Если у нее нет друга, значит, она не в полной мере соответствует нормам стерильности, можно и потерять свое место в мэрии. В мэрии, какого уровня должность ни занимай, должны быть сотрудники, чья стерильность не вызывает и тени сомнения.

И все же невозможно было удержать себя от вопросов. Так неудержимо хочется почесать зудящее место, и поди стерпи, не почеши.

– А все-таки скажи, что именно они спрашивали? – К. расчесывал, расчесывал зудящее место, и просилось еще, еще. – Тебе ничего необычного в их вопросах не показалось?

– Необычного? – переспросила привереда. – Интересовались, кто ты, где работаешь, возраст… давно ли мы с тобой. Ничего такого необычного.

– А тебе не показалось, что они как-то по-особому интересовались? Как-то особо въедливо. Нет?

Привереда, наклонив голову, исподлобья глядела на него, словно бодалась с К. своим дымчато-серым, напоминающим о жарком солнечном дне взглядом, честно вспоминала все частности разговора с комиссией о его персоне.

– Да, в общем, нет, – сказала она затем, вскидывая голову. – Но почему ты вдруг так встревожился? В чем дело? Ты что, не хотел бы, чтобы я тебя называла?

К. и не заметил, как от той незаинтересованности, которую таким незримым камуфляжем старательно натягивал на голос, не осталось и тени, звенящая неприкрытая страсть звучит в его голосе и выдает его с головой.

– Встревожился? – переспросил теперь, в свою очередь, он.

Пора, пора, удобный был момент, открыться ей, рассказать о полученных им посланиях. – Видишь ли…

Они сидели в небольшом, уютной полукруглой формы кондитерско-кофейном заведении с аквариумными окнами, привереда пила кофе, заедая каждый глоток ложечкой зеленого фисташкового мороженого из креманницы матового, словно бы запотевшего от холода опалового стекла, К. взял себе лишь кофе, но и кофе у него не пился: подносил чашку к губам, и только тяжелый фаянс, разогретый дымящимся черным напитком, касался губ – тут же и отрывал чашку от них. Недавно температура этого дымящегося напитка была все 100 градусов по Цельсию, и его нынешним минус 273 было, казалось, просто не по силам соединиться с градусами, столь далеко отстоящими от них на температурной шкале. До того он два часа являл себя улицам родного города в качестве бесцельно шатающейся по ним личности – с того самого мига, как покинул бассейн, оставив искать себя там друга-цирюльника. Отключенный эти два часа телефон зазвонил едва не сразу, как вернул его к жизни. «Звоню-звоню тебе, почему не отзываешься?!» – негодующе воскликнула привереда. Впрочем, она не была настроена выяснять, почему он не отвечал. «Шик-блеск!» – отозвалась она на его вопрос о своем отчете. И была уже свободна, могла встретиться с ним, и не просто встретиться – неудержимо хотелось, невозможно ждать, где ты, скорее!

– Что «видишь ли»? – понукнула привереда К. – Что ты смолк? Продолжай.

О, какое усилие пришлось совершить над собой К., чтобы продолжить! Рычаг, при помощи которого он это сделал, достал, пожалуй что, до луны. Однако же, как то ни тяжело было, он сдвинул себя с места. Доживи Архимед до нынешних дней, он бы гордился своим учеником. О шкете на набережной рассказал К., о друге-цирюльнике сегодня в бассейне, о содержании этих, как в нем звучало, маляв.

Но только он стал описывать полученные послания – четвертушечные листы, туго свернутые в упругие скрутки, – привереда вскинулась, несла ложечку с мороженым ко рту – и отправила обратно в креманницу, поспешно взяла со стула у себя за спиной сумку, раздернула молнию, принялась копаться в ней.

– Забыла! Совсем забыла!.. Из головы вон! – приговаривала она при этом. – Мне же для тебя… сейчас… мне ведь тоже передали… Вот! – победно воскликнула она, рука ее вынырнула наружу и понесла через стол к К. что-то, скрытое в щепоти, чтобы через мгновение это «что-то» обернулось у нее на ладони точно такой же бумажной скруткой, как те, что он получил от шкета на

набережной и от друга-цирюльника в бассейне.

К. смотрел на скрутку у нее на ладони и не мог заставить себя взять ее.

– Кто? – оглушенно вопросил он. – Кто тебе это дал? Когда?

– Вот когда я на комиссии, прямо в самый такой момент… в самый острый! Мне, знаешь, не до него было, я взяла, сунула – и забыла, видишь. Напрочь забыла. Если бы ты не заговорил, я и не вспомнила бы.

– До кого тебе «не до него было»? До того, кто это тебе дал?

– До кого же еще, – досадливо отозвалась привереда. – Это какой-то у нас в мэрии есть, ходит такой… и важный, и все с усмешечкой, будто ты что-то скверное сделала, а он знает. Дверь у него, у его кабинета, еще железная… бронированная прямо. – Она пока не схватила, о чем послания, полученные К. раньше, – К. предстояло открыть ей глаза.

Он наконец освободил ее ладонь от скрутки.

– Железная у него дверь, да? – риторически вопросил К.

Железная дверь – это было подходяще для человека из службы стерильности. Если где-то в университете у К. тоже сидел такой человек, несомненно и у него была дверь килограммов на сто.

– Железная, да, а что? – Привереда по-прежнему не понимала, что и от кого принесла.

К. не ответил ей. Он принялся разворачивать скрутку.

– И что он сказал? Этот, что принес?

– Ой, я не помню, – протянула привереда. – Что-то сказал. Но мне было не до него. У меня комиссия… а тут он. Я, видишь, даже забыла. Хорошо, ты напомнил!

К. развернул скатку и с внезапно напавшей на него медлительностью, словно с трудом владел искусством складывания букв в слова, начал читать крупные высокие рукописные строки. «Вечности в запасе у вас нет, – было начертано в полученном послании. – Воспользуйтесь возможностью доказать беспочвенность подозрений, пока такая возможность вам дается». Интонация и общий стиль объединяли записки. Похоже, всё одна рука изготовляла их. Только у этой руки как бы стало истощаться терпение.

– Что там? – нетерпеливо спросила привереда.

К. передал ей листок, бывший минуту назад тугой скруткой.

– Прочти.

Привереда схватила листок с поспешностью, словно скорость, с какой он окажется у нее, была сейчас важнее всего на свете. Когда она подняла на К. свои исходящие жаром летнего дня серые дымчатые глаза, они были полны смятенной тревоги. В ней

наконец все соединилось – рассказ К., содержание доставленного ею послания, – и она все осознала.

– И что это значит?

– Я знаю? – вопросом ответил ей К.

– Нет, я имею в виду, надо же что-то делать! – Ответ его не заставил привереду смешаться.

– Доказывать беспочвенность подозрений? – с иронией отозвался К.

– Почему нет? – осуждающее возмущение было в голосе привереды. – У нас в мэрии была одна – ей что-то вроде того и пришлось делать. Пошла к ним, объяснилась – и все, никаких к ней претензий, работает себе, премии получает…

– Прямо вот так пошла, сама, и ей там: ах, простите, ошиблись?

– Представления не имею, как там у нее все было. – Осуждение в голосе привереды свидетельствовало, что К. иронизирует совершенно напрасно. – Я с ней, в общем, и не знакома толком. Но вот так про нее рассказывают.

К. вспомнил разговор с другом-цирюльником.

– Тут сегодня один брадобрей меня тоже к ним направлял: пойти – и объясниться.

Привереда поняла, о ком речь.

– И правильно он тебя направлял! – оценила она совет друга-цирюльника. – Я же говорю: пошла объяснилась – и все!

– Но она, может быть, знала, в чем ее обвиняют? – продолжил упорствовать в своих сомнениях К.

– А ты не знаешь?

– Понятия не имею! Бред какой-то!

Стоявшая в глазах привереды жаркая решимость длить этот их разговор дальше и дальше начала гаснуть, мгновение – и от пылавшего жара не осталось и горстки пепла.

– Да, какой-то бред, – проговорила она. Быстрым движением взяла из креманницы ложечку мороженого, отправила в рот и тут же, тем же торопливым движением, словно кто-то мог отобрать у нее чашку, запила глотком кофе. – Бред, бред! – повторила она и, отвернувшись к окну, воззрилась в него.

Обратил свой взгляд в окно вслед за ней и К. Окно кондитерско-кофейного заведения выходило на площадь с вавилонским зданием мэрии в дальнем ее конце, просторная сковорода площади была обычно пустынна, три-четыре человеческие фигуры, пересекающие ее простор, три-четыре машины, с почтительной степенностью огибающие ее по периметру, – и это все. Но сейчас площадь была вся залита народом, шкворчала им, как натуральная сковорода на огне

яичницей – ходила волнами, пузырилась, вызмеивалась разломами, – и все эти изменения произошли за ту четверть часа, что они с привередой, промахнув площадь, имевшую свой обычный вид, находились здесь.

Однако же не просто народом была та яичница, что жарилась на площади. Дети, класса второго-третьего, и отроки, и подростки на вымахе в юность – но все равно же дети, кто еще, – составляли основной массив готовившегося блюда. Взрослые наличествовали в нем вкраплениями специй – горошек перца, крестик гвоздики, фонарик бадьяна, – руководили построением детей в ряды, их перемещением, разделением, слиянием, отчего и возникало это впечатление жарившейся яичницы. Дети, что маленькие, что большие, были, как один, в белых рубашках и блузках, с короткими, клиновидной формы черными галстуками на груди, в черных же брюках и юбках, взрослые отличались от них лишь тем, что их черные клиновидные галстуки спускались к пупку. Дверь заведения, открываясь, звонко пропела колокольцем, – внутрь на мгновение ворвалась улица: смятый в единый звуковой ком гомон голосов, как окружающая его ореолом далекая барабанная дробь, долгозвучные удары медных тарелок друг о друга, прокалывающие этот гомон насквозь, словно рапирой.

– Что за метаморфоза? – удивленно вопросил К. – Что произошло?

У привереды, оказывается, был ответ на его вопрос.

– День стерильного детства через неделю, – сказала она, продолжая смотреть в окно на площадь. – На работе у нас говорили, я сейчас вспомнила: репетиция торжества.

– Репетиция? – переспросил К. Словно не понял. Или не поверил. Хотя и понял, и поверил. Что тут было не поверить.

– Репетиция, репетиция, – подтвердила привереда. Голосом – как если б они не говорили до того ни о чем сущностном, болтали неизвестно о чем, о чем – и не вспомнишь, такой безоблачный, такой беззаботный был у нее голос. Она отвернулась от окна, рука ее потянулась к ложечке в креманнице, ложечка снова вынырнула из той в мохнатой пористой шубе мороженого, влажно мелькнул между зубами быстрый язык, подставляя себя под выпуклый металлический холод, и привереда, окунувшись опустевшей ложечкой в мороженое еще раз, протянула ее К. – Попробуй. Пожалуйста. Я тебя прошу. Умоляю!

Раздваивавшийся взглядом между окном с клокочущей детьми площадью и привередой, К. оставил площадь вниманием. Устремленные на него дымчато-серые, полные жаркого летнего дня дальнозоркие глаза привереды смеялись, упорство и

требовательность были в ее бодающемся взгляде исподлобья, какие там «умоляю» и «прошу», она настаивала на том, чтобы К. взял мороженое, повелевала. И что же, как было противиться ей? Какую власть она имела над ним, какую власть! К. наклонился над столом, потянулся к привереде, раскрыв рот, и укутанная шубой мороженого ледяная ложечка обожгла язык и ему. Привереда дождалась, когда он сомкнет губы, и медленным движением, поднимая вверх, вытянула опустевшую ложечку у него изо рта.

– Теперь ты будешь знать мои тайны, – сказала она со значением. – Раз ты ел из моей ложки.

– У тебя есть тайны? – промычал К. – Рот был полон тающего холода.

– Полно! – отозвалась привереда.

Что у тебя за намерения касательно нас с тобой – вот ее тайна, которую хотелось знать К., однако озарение, должное сойти на него согласно поверью, не спешило наполнить его сокровенным знанием.

– Видимо, это не тотчас произойдет? – спросил он, проглатывая растаявший холод, и обретая внятность речи.

– Возможно, придется потратить всю жизнь, – парировала она, все тот же исполненный смеха взгляд исподлобья, еле сдерживающийся от смеха голос – ну будто играла в прятки: вот она я, вот, но поди найди! – Ты согласен?

И что она имела в виду, спрашивая, согласен ли он? То ли, о чем он думал?

– Я согласен, – сказал он. Сделав нажим на «я».

– Жалеть потом не будешь? Во многия знания многия печали.

Ох, какой игруньей она была, как электризовала пространство вокруг себя! Пряное, острое возбуждение, общекотывая с пят до головы частыми мелкими уколами, охватило К.

– Дай, дай еще твоего мороженого, – попросил он. – Покажи, что не жадина. Хочу скорее потратить свою жизнь.

– Не шантажируй, – было ему ответом. – А то вот не поделюсь..

К. приготовился получить от привереды уже четвертую или пятую порцию ее тайн, когда колоколец над дверью заведения снова пропел и снова внутрь ворвалась площадь. Как-то необыкновенно долго на этот раз стояла внутри заведения площадь; К. с привередой один за другим посмотрели в сторону двери – порог переступала целая команда одинаково крепкосбитых, некоторые косая сажень в плечах, коротко, но аккуратно стриженых молодцев, с такой же аккуратной, как их

стрижка, твердостью в движениях, приправленной, однако, сдержанной развязностью. Пятеро, шестеро, семеро их было – не меньше семи, – передние, ступив внутрь, теснились у порога, мешая войти тем, что следовали за ними, а задние напирали, такая как бы даже давка образовалась у входа. Но наконец дверь закрылась, снова прозвенев сигнальной медью колокольцев, толчея стала рассасываться: одни из молодцев направились к барной стойке, другие, не принявшие для себя еще никакого решения, рассредоточились между столами, оглядываясь, двое же, словно совершая променад, пустились в обход заведения, разглядывая немногочисленных посетителей за столиками с тем пренебрежительным скучающим интересом, с каким приведенные насильно в музей выросшие из своей школьной формы старшеклассники осматривают музейные экспонаты. Было во всем их облике нечто такое, что К. с привередой, не сговариваясь, одновременно отвернулись от них, старательно делая вид, что тех тут и нет. Не смотри в глаза зверю, и зверь не обратит на тебя внимания.

Однако же бессмысленна оказалась предпринятая ими предупредительная мера. Один из тех, что осматривались, схватил К. периферическим зрением, вдруг радостно вскинул руки, выразив эту радость и на лице, вслед за чем незамедлительно направился по проходу прямиком к их столу у окна.

– Кого вижу! – воскликнул он, подходя и нависая над столом. Он был из тех, что косая сажень в плечах, а нос густо усыпан веснушками – сплошная конопень. Восклицание его было адресовано привереде. – Как же так? Ай-я-яй, нехорошо! Службе еще… – он посмотрел на часы у себя на руке, – еще двадцать с лишним минут, а мы уже сидим наслаждаемся видом репетиции?

Привереда, подняв к нему лицо, слушала конопеня с угодливо-умильной натянутой улыбкой. Такой улыбки у нее К. прежде не знал.

– Все законно, – с этой незнакомой прежде К. угодливо-умильной улыбкой сказала она. – У меня сегодня была комиссия, отчет – и девушка свободна.

«Девушка свободна» – подобной вульгарности К. от нее раньше тоже не слышал.

– И как комиссия? – вопросил конопень, продолжая нависать над ними. На К. он не обращал внимания, словно того тут и не было, словно привереда сидела за столом одна.

– Шик-блеск, – ответила ему привереда теми же словами, что и К. по телефону.

– Нечего было и сомневаться, – как одобрил ее ответ

конопень. – Еще бы у вас не шик-блеск. У кого бы нет, а у вас по-другому не могло и быть!

Кто это был? Почему так разговаривал с нею? Почему так разговаривала с ним она? К. не понимал, как вести себя, что делать. Попросить этого субъекта оставить их, не мешать? – но они с привередой, следовало из их разговора, были знакомы!

Между тем конопень решил подсесть к ним. Он отступил от стола, потянул к себе обретавшийся на отшибе стул, провез по полу на двух ножках и, развернув, утвердил на всех четырех. При этом, когда рука его еще только тянулась взять стул, он глянул мельком на К. и, хотя глянул, опять словно бы не увидел. Словно К. был прозрачен. Не тень, не дым, – пустой воздух.

– Простите, но вы бы представились, – сказал К., когда конопень сел.

Конопень медленно повернулся к нему. Недоуменное выражение возникло на его лице. Как если бы то прозрачное место, каким был К., неожиданно обрело материальную сущность, и невозможно же было не удивиться тому.

– Хм! – вырвалось из него с этим же недоумением в голосе. – Мы знакомы, – повел он рукой, указывая на привереду. Сделанного объяснения конопень счел достаточным, чтобы вновь полагать К. нематериальной субстанцией. – И как впечатления от нашей комиссии? – спросил он привереду. – Не зверствовали? – Навалившись плечом на ребро столешницы, он полулег на нее и весь подался к привереде, казалось, так и потек к ней играющим кольцами мышц удавом, а на К. глядела топорщившаяся стерня его затылка.

– Нет, что вы, какое зверствовали! Всё по делу, корректно, строго, но доброжелательно… – словно о какой-то другой комиссии, не о той, о которой рассказывала К., лучась радостью общения с конопенем, все с тою же угодливо-умильной улыбкой отозвалась привереда. Однако же торопливость, с какой исторгла из себя эти слова, выдавала: далека от искренности была ее радость. – А вы здесь по каким делам? – сочла она необходимым отозваться на вопрос конопеня ответным вниманием.

– Мы? – Конопень перестал ползти к ней, выпрямился, оглянулся на барную стойку, у которой в итоге собралась вся вошедшая вместе с ним компания. Видимо, он отнес вопрос привереды не только к себе. – Обеспечиваем! Мало ли что. Всё чтобы стерильно.

– А! – поняла привереда. (Понял и К.: оперативники службы стерильности это были! Откуда только конопень знал привереду?) – Почему же вы тогда здесь? Вам, наверное, – привереда указала кивком головы на площадь за окном, – на

месте события положено быть?

– Где нам положено, мы там и есть, – пресекающее ответствовал конопень. Следом за чем снова обернулся к барной стойке. Помахал рукой, привлекая к себе внимание: – И на меня кружечку! И на меня! Любимого моего! – Похожее формой на расширяющуюся книзу трапецию жесткокожее лицо его, когда он вернулся взглядом к привереде, выражало сытое удовлетворение – видимо, у стойки его услышали и приняли его просьбу к исполнению. – Мы там, где нас нет, и где нас нет – мы там, – продолжил он свою отповедь привереде – как отчеканил девиз. А может быть, это и был девиз. – Впрочем, – стол, принимая на себя вес его тела, дрогнул, и конопень вновь потек к привереде переливающимися кольцами удава, – впрочем, кому не надо, тот нас не заметит.

– А кто все же заметит? – с живостью осведомилась привереда. Так интересно ей было узнать это!

– Кто заметил, тому, значит, следовало узнать, – с прежней чеканностью незамедлительно выдал ответ конопень. Закончившийся быстрым и хлестким, словно удар бича, взглядом на К.

И – хотел того конопень или не хотел? – К. тотчас почувствовал – вспыхнувшей от бича кожей, – что вот ему-то точно не следовало узнавать.

С увесистым стуком перед конопенем возникла кружка. Конопень поймал руку, доставившую ему ко столу пиво.

– Садись с нами, поглядев вверх на обладателя руки, сказал он. – Возьми вон, кивнул он на стул около соседнего стола.

Простите, но если вы хотите сидеть вместе, садитесь за другой стол, их здесь достаточно, хотел сказать конопеню К. – и не успел. Конопень развернулся в сторону бара, от стойки которого, с кружками в руках, отваливали его сослуживцы, замахал рукой:

– Сюда, к нам! Все сюда!

Похоже, он был у них старшим. Мгновенно хаотическое движение сослуживцев конопеня от бара сделалось упорядоченным; загремели вокруг отнимаемые от других столов стулья, парочка наиболее резвых на раз-два подняли соседний стол, промахнули по воздуху, принялись пристраивать к столу К. с привередой. Скорым галчонком – черные брюки, черная рубашка, белый долгий передник – подскочил официант, помог подставить стол наилучшим образом. Так вам будет удобнее, всей компанией, конечно же, с угодливой услужливостью приговаривал он. И еще не было поздно, никто не мешал К. высказаться против этого балагана, но онемение теперь нашло на

него. Смотрел ошеломленно, как берется в окружение их стол – и ни единого слова не мог извлечь из себя. А познакомь с друзьями, представь, обращались к конопеню его сослуживцы, девушка, как вас зовут, молодой человек, вас как по имени? – это уже напрямую к привереде и К. До чего шумно стало, тесно, неуютно!

«Косихинские сырнички» прозвучало в общем гаме, показалось, ошибкой слуха. Но прозвучало еще раз, еще. И сделалось ясно, что не ошибка, а несколько человек из компании хотят родительских сырников К. Что ж, что не соленые, это же косихинские сырнички, делалось все более бурным обсуждение, косихинские сырнички – с чем угодно, душу за косихинские сырнички!

– Официант! – позвал один из компании стоявшего неподалеку в готовности услужить галчонка.

Галчонок подлетел, и хором в три или четыре голоса от него потребовали: косихинских сырничков! для всех! и поскорее! можно не разогревать! они и холодные – ух!

Голос прорезался у К. подобно тому, как прорывает вулкану запаянное горло всклокотавшая в его глубине раскаленная лава. Мало того что кондитерско-кофейное заведение принадлежало к сети ресторанов Косихина, так теперь еще на столе под его именем должны были появиться сырники, которые не далее как сегодня утром стряпали, обсыпанные мукой, у себя в гараже отец с матерью!

– Пойдем! – резким движением отодвигая от себя чашку так почти и с неначатым кофе, бросил К. привереде. Поднялся, завел руку назад – взять стул за спинку, выдвинуть наружу из возникшего плотного ряда других стульев, – однако же рука его там за спиной неожиданно оказалась перехвачена.

– Что за неуважение? – проговорил сосед, удержавший руку К.

Привереда, начавшая было подниматься, осела обратно на свое место.

– Да, что за неуважение? – вопросил, устремляя взгляд на К., до нынешнего мига так все и продолжавший игнорировать его конопень.

– По-моему, мы здесь лишние, – сказал К.

Привереда, видел он, глядела на него молящими, требующими молчания глазами. Не надо, не надо, не надо! – кричали ее глаза. Что же надо было: стерпеть это унижение?

– Я разве говорил, что вы здесь лишние? – посмотрел конопень на привереду. – Кто-нибудь говорил, что лишние? – обвел он неторопливым взором компанию сослуживцев. Ропот голосов, волной пробежавший вокруг смолкшего было стола,

принес поддержку его риторическому вопрошению: никто такого не говорил. – Вот! – обратил конопень свои вежды снова на К. – Никто не говорил. Оговариваете!

– Нам нужно идти, – сказал К. Жерло вулкана было распечатано, клокочущая лава изливалась наружу, не выбирая пути потоку. – В любом случае мы должны идти.

– Идти! – эхом ответствовал конопень. – Оговорил людей – и идти!

– Отпустите руку! – потребовал К. у того, что держал его сзади. Тот не отпускал, и К. предпринял попытку в развороте выдернуть руку из его захвата. Но мертвой хваткой держал его сосед и был несоизмеримо сильнее К.

– Перестаньте, вы что! – услышал К. голос привереды. – Скажите же, чтоб отпустил! – Это, несомненно, она обращалась к конопеню.

Но теперь конопень не обратил внимания на нее. Теперь ему интересен был К.

– О, какие мы! Вот мы как! – с порицанием протянул конопень. (К. поймал его в фокус взгляда – тонкая усмешка играла на губах конопеня.) – Ой-ё-ёй! Ну-ка живо предъявляем документы! Живо-живо!

– Вы что! – снова подала голос привереда. – Вы же знаете меня! Мы вместе.

На этот раз конопень удостоил ее вниманием.

– Вас знаю. А его нет.

– Это мой друг! – Привереда как бросилась с кручи.

Конопень, однако, вновь был уже весь сосредоточен на К.

– Так, документы, документы! Мы два раза не просим.

К. сгорал от стыда перед приведедой. В каком жалком виде он предстал перед ней!

– Что вдруг я должен вам предъявлять документы, – сказал он. – Не имеете права ни с того ни с сего требовать этого.

– Имеем. – Игравшая на губах конопеня усмешка сделалась саркастичной. – Мы здесь именно для того. Чтобы никаких провокаций. Превентивная мера. Документы!

– Предъявите мне разрешение, что имеете право на подобный досмотр, – потребовал К.

Взрывом громогласного негодования ответил К. стол. «Предъявить! Разрешение! В письменном виде с гербовой печатью!» Кто-то в негодовании (К. не увидел, а только услышал) с громким стуком хватил о стол кружкой.

Грохот разлетающихся во все стороны стульев обрушился на его барабанные перепонки в следующий миг. И в этот же миг К. оказался словно спеленут: не одно, а уже оба запястья в жестком,

обездвиживающем захвате и чужие руки пропущены под мышками, пригибая его долу. Следом за чем еще одни руки, неприятно прошоркивая по ляжкам, всунулись в карманы брюк, ощупали их содержимое и извлекли наружу.

Что, собственно, было содержимым? Носовой платок, расческа, портмоне, блистер гастрофарма (случалось, у К. схватывало гастритной резью желудок и он принимал таблетку). Платок, расческа, вздребезжавший блистер с таблетками были брошены на стол, портмоне раскрыли и принялись шарить по отделениям.

– Вот! – появился на белый свет пластик удостоверения личности.

– Ну-ка, ну-ка! – удовлетворенно пошевелил пальцами конопень, прося пластик. Получил его, прочел имя, изучил фото, сверив изображенную на карточке личность со спеленутым оригиналом (с бессильным бешенством встретил его взгляд К.), после чего перебросил пластик через стол одному из своей компании, готовно поймавшему тот на лету (все же конопень был, видимо, старшим у них). – Пробей по базе.

Привереда сидела напротив К. вся обмершая, с застекленевшим лицом, руки на столе, словно на клавиатуре фортепьяно, перед тем как вознести их в воздух и опустить на клавиши, – только вот никакой клавиатуры под ними не было и звукам было не суждено родиться.

Подчиненный конопеня, получивший удостоверение личности К., выхватил из внутреннего кармана надетой на нем черной курточки крупноформатный смартфон, включил, произвел необходимые манипуляции, входя в сеть, и резво заработал большими пальцами, вбивая в поисковик этой базы данные К.

– И долго собираетесь так держать: всемером одного? – глядя на конопеня исподлобья – из-за того, что державшие пригибали его лицом к столу, – спросил К. – Всемером одного!

Держали его, конечно, не семеро, но так уж сказалось.

– А только без резких движений! – парировал выпад К. конопень. Кружка его вознеслась к губам, овал пены, отзываясь на движение губ, втягивавших пиво, проколыхался мелкой волной. – И тогда что же, можно и не держать.

– Вот не держите, – дал таким образом К. ему обещание обойтись без резких движений.

Кружка с заметно опустившимся уровнем пива стукнула о стол, пальцы конопеня, сжимавшие ее, разжались и переборчато проиграв в воздухе, как бы безгласно произнесли державшим К.: ну отпустите, посмотрим.

Облегчение, которое испытал К., оказавшись свободен, можно

было бы сравнить с тем, что дает чувство опорожненного мочевого пузыря, измучившего долгим воздержанием. Ноги, однако, подводили: дрожали и не держали. Он опустился на стул, едва тенёта чужих рук были отняты от него. Все вокруг словно плыло в расфокусе, размыто, нерезко – туман и тени без четких контуров.

Звук, исшедший из горла агента со смартфоном, свидетельствовал, что он нашел, что искал, и найденное ввергло его в состояние потрясенного изумления.

– Ну-ка, ну-ка, – протянул руку за смартфоном конопень. Получил, вперился в экран, изучая *материал*, а когда изучил, насытившимся движением отвалившись на спинку стула, взгляд его противу ожидания К. обратился не на него, а на привереду. – О-опа-ля! – воскликнул он, адресуясь к ней. – С кем водитесь, представление имеете?

Казалось, стеклянная замороженность, сковавшая привереду, не даст ей произнести ни звука. Разверзшаяся пауза обещала быть бесконечной. Однако же статуя ожила.

– Не понимаю вас, – едва прошевелив губами, ответила статуя осыпающимся стеклянным голосом.

– Под подозрением ваш друг! – воскликнул конопень. – А? Неплохо? – Тут наконец взгляд его переместился на К. – Поделился своим статусом с подругой-то, нет? Или утаил?

Язык конопеня соскочил на уничижительно-высокомерное «ты» с естественностью, с какой губы раскрываются навстречу поднесенной к ним ложке.

Готовому изойти из К. ответа конопеню не суждено было прозвучать, – привереда опередила К.

– «Под подозрением». Что это значит? – спросила ее статуя. Но уже и не статуя это была, уже стеклянный лед шел трещинами, скалывался с нее, облетал, – та, обычная его привереда, которую любил, к которой исходил нежностью, обожал, проступала из-под оков статуи. – Можете объяснить?

– Вот пусть он сам объяснит! – указал конопень на К. – Он знает!

– А если нет? – спеша опередить К., быстро спросила привереда – уже совсем привереда, не статуя.

Конопень смотрел на нее с сожалением питона, лишившегося долгожданного, уже почти заглоченного обеда.

– Ну не знает, так узнает. – Сунул, не глядя, смартфон в готовно подставленные руки хозяина гаджета и, обведя взглядом команду своих подчиненных, возгласил: – Недаром он мне показался! Под подозрением, а?!

Гулом возмущенно-согласных голосов отозвался стол.

Конопень поднялся. С грохотом оттолкнув ногой от себя назад стул.

– Валим отсюда! Других, что ли, столов нет?

Дружный грохот разлетающихся в разные стороны стульев был ему ответом. Стаей всполошенных птиц поднялось в воздух кружево пивных кружек, висевшее над столом желто-пенными салфетками. К. с привередой молча смотрели друг на друга. Их связь взглядами была сейчас сродни позвоночному столбу, что принимает на себя груз скелета и плоти, держит те и придает им форму.

Взлетевшая стая кружек приземлилась, обретя место в противоположном конце зала. Снова были сдвинуты столы, в достатке окружены стульями – повторилось действо, совершенное пять минут назад вокруг К. с привередой. Галчонок с блюдом сырников на подносе, горкой позвякивающих вилок, двумя пузатыми молочниками, доверху наполненными сметаной, вымахнул в зал из недр кухни, стремительно понес себя по направлению к К. с привередой – и замер на полпути, обнаружив: стол, собиравшийся пировать, разорен. Но уже оттуда, где заново обосновалась компания конопеня, махали руками, звали его, и галчонок с прежней резвостью, ловко лавируя между столами, понесся к новому месту гнездования компании.

– Ты что поперед батьки в пекло? – нарушил К. их с привередой молчание.

Следовало перебросить мост над случившимся, соединить расступившиеся берега, и слегка потрепанное жизнью заслуженное присловье с его испытанной временем философией готовно скакнуло на язык.

– Кто это мне тут батька? – отозвалась привереда, без промедления ступая на мост и бросаясь навстречу К. – Вот уж оставь!

Длить свое пребывание в этом кондитерско-кофейном заведении Косихина дальше было невозможно – пусть компания конопеня и убралась в другой конец зала.

– Пойдем? – предложил К., ничего не объясняя.

– Пойдем! – тотчас ответила привереда вставая.

Недопитый кофе, недоеденное мороженое. К. достал из кошелька купюру, достаточную, чтобы покрыть стоимость заказа, подсунул под креманницу привереды, чтобы не снесло движением воздуха от распахнувшейся двери…

В спину им, когда дверь забубенчила колокольцами, распечатав улицу, полную звуками проходящей там репетиции торжества, ударил, догнав, голос конопеня: «Бежать от него! Опрометью! Мой совет!»

Дверь закрылась, отрезав продолжавшие звучать колокольцы и голос конопеня. К. с привередой оказались отданы улице без остатка. Медноголосых тарелок, пронизывающих воздух уколами тонкожалящей рапиры, слышно не было, зато барабанная дробь лилась нескончаемой камнепадной волной: тра-та-та-та, тра-та-та-та, гудел воздух. Колонны мальчиков и девочек – черный низ, белый верх, классический торжественный вид – маршировали по площади с притиснутой к груди, к тому месту, где сердце, сжатой в кулак рукой. Достигали условной точки – руки взметывались вверх, словно в некой клятве, и колонны шли дальше, минуя место, где, надо полагать, через неделю должно будет возвышаться трибуне с главой города, со вскинутым кулаком. Стоявший там, где в будущем полагалось находиться трибуне, человек с мегафоном вещал, перекрывая несмолкаемую барабанную волну: «Стерильности – да! – пауза – и следующий слоган: – Стерильность – это круто! – Новая пауза – и, прорывая луженой металлической глоткой барабанную дробь, мегафон объявлял: – Враг стерильности – мой враг! – И еще, немного погодя: – Стерильность – смысл и цель жизни! – И еще: – Стерильность – будущее планеты!»

– Каникулы ведь в школе уже, – пробормотал К. – Умудриться нагнать такую тьму…

Он не обращался к привереде, он сказал это самому себе, но она сочла необходимым ответить.

– Не нагнать, а собрать, – поправила его привереда. – Так положено говорить. Не отрывайся от народа.

Любимое ее нравоучительное замечание, когда она полагала, что его уж слишком заносит. Чаще всего произносимое тоном шутки. Но не сейчас. Сейчас это было произнесено всерьез. Пожалуй, даже более чем всерьез.

Ноги той порой снесли их со ступеней крыльца на тротуар.

– Ты слышала, что тебе этот тип посоветовал? – останавливаясь, спросил К.

– Это конопатый-то? В спину нам? Бежать опрометью? – уточнила привереда. – Не слышала, – сказала она в противоречие с собственным утверждением. – Мало ли что мне какой-то тип посоветует. Которого я и знать не знаю.

– Как не знаешь? – удивился К. – Я понял, вы как раз знакомы.

– Знакомы, но не знаю, – с невозмутимостью законченной софистки отозвалась привереда. – Это он у нас в мэрии к тому, за железной дверью, заходит. Видела его.

– Вот как! – К. почувствовал облегчение. Все же эта недоуменная мысль, откуда привереда знает конопеня, не

оставляла его, тяготила, мешала – как камешек, попавший в ботинок; можно поджать пальцы, приноровиться к нему, но все равно ступню натирает, неприятно, болезненно, и не вынуть в конце концов – раздерет кожу до мяса. – Что ж, раз не слышала… – Вынутый камешек был осмотрен, отброшен в сторону. – У нас вроде кое-какие планы были?

– А почему ты спрашиваешь? – Та, электризующая все вокруг себя игрунья стремительным пушистым зверьком выпрыгнула из своей норки наружу и, сыпля фейерверком жарких огненных брызг, закружила вокруг К. – Ты что, не уверен в наших планах? Хотел бы отменить? Это еще почему?

– Я? Отменить? – К. было повелся на ее уловку.

– Тогда в чем дело? Почему мы еще здесь? Ничто не должно помешать нашим планам.

Конопень с его известием из смартфона, новая скрутка-малява, доставленная приведедой, скрутка-малява, поступившая через друга-цирюльника, – все сбежалось в точку, уменьшилось до величины игольного жала, сделалось незначительным, не стоящим внимания, призрачным.

– Ничто не должно помешать нашим планам, – подтвердил К., слово в слово повторив пожелание привереды. – Ни звука больше об этих гадостях. Нет этого ничего. Фантомы. Галлюцинации. Только мы с тобой двое – и больше никого. Никого и ничего. – Он достал из кармана свой телефон и отключил его. – Все. Мира нет. Только ты и я.

Барабаны все так же обрушивали небо, черно-белые колонны школьников, вновь и вновь вскидывая руки со сжатым кулаком, проходили мимо человека с гремящим мегафоном, – и ничего этого не было. Слух отключился, глаза перестали видеть. Тишина трепетала легким колыханием воздуха над площадью. И пустынна была площадь – ни единого человека на ее просторной сковороде, ни единой обегающей ее по кругу машины.

Правда, выключая телефон, К. подумал, что следовало бы позвонить все же родителям, сказать, что не придет… Но мелькнув, мысль тут же отлетела от него. Следовало еще позвонить другу-цирюльнику, извиниться за свое исчезновение, но мысль об этом была уж совсем мимолетна, чиркнула никудышной спичкой и, не разгоревшись, погасла.

5. Номер двадцать второй

Счастье, с которым он проснулся, было похоже на облако, что окружало его совершенно вещественной, плотной субстанцией, как вещественно охватывает тело при погружении в нее вода. К. лежал в постели, ощущая с сожалением свое одиночество в ней, но это сожаление ничуть не умаляло его счастья. Сожаление было связано с чисто телесным, счастье при всей его вещественности имело истоком эфирную сущность.

Звуки, доносившиеся из-за притворенной двери – нечаянный звяк тарелок, звон чайной ложечки в чашке, стук сорвавшегося ножа о доску, удар вырвавшейся из крана воды о дно загудевшей раковины, тут же притушенный поворотом вентиля, – свидетельствовали, что он не слишком уж залежался, привереда еще дома, еще завтракает, успев лишь принять душ, еще не ушла. Счастье, одевавшее К. воздушным коконом, с легкостью, словно он был невесом, подняло его с постели, хотя глаза еще слепливало сном, и понесло из комнаты – застать привереду, не дать ей уйти без прощания, как же, как же расстаться с ней, не увидеть перед уходом?

Привереда, уже вся в броне служивой одежды – ландскнехт, изготовившийся к броску в бой, длиною в день, – как раз вылетала из кухни, в руке на отлете косметическая сумочка с распахнутым зевом, вторая рука перебирает содержимое – выудить необходимый инструмент для макияжа и сотворить на лице до вечера защитную маску.

– А-ай! – воскликнула она, оказавшись схваченной К. И сей же миг принялась выкручиваться из его рук. – Нет-нет, все… не трогай! Я уже все… я тебе там оставила посуду, не успеваю… помоешь?

– Помою, помою, – пообещал К., отпуская ее (о, как не хотелось!). – Какие еще поручения?

– Любить меня, – ответствовала привереда. Она уже стояла перед зеркалом в прихожей и, вся подавшись к нему, вперясь в свое отражение, омахивала веки кисточкой-бархоткой, придавая лицу дневной боевой раскрас. – Захлопнешь потом, уходя, дверь.

Но сначала он захлопнул дверь за ней. После чего, торопясь, хотя в том и не было надобности, сто раз мог успеть, перекинулся через всю квартиру к комнатному окну и, привставая на цыпочки, принялся пялиться в него, ожидая ее появления на улице. И она знала, что он смотрит, протрепетала, вскинув над головой, на ходу рукой, а прежде чем скрыться за углом, все же обернулась и – скорее всего, даже не увидев его в окне, – снова воздев руку над

головой, прощально помахала К. А ему сегодня некуда было спешить. Он сегодня был свободен навылет – с утра до ночи. Экзамены у группы, перед которой вчера метал бисер на консультации, предстояло принимать лишь завтра. Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят. Сегодня он мог позволить себе быть ленивцем.

Счастье, несшее его на своих крыльях, повлекло К. естественным образом в туалетную камору, в ванную комнату, шумной музыкой струй ударил душ… и везде, куда ступал, чего касался, он въяве осязал предшествовавшее ему пребывание привереды – оставленные ею невидимые следы: на полу, на стенах, на вентилях кранов; от них, невидимых, словно исходило некое излучение, и его рецепторам было подвластно их восприятие.

Но когда он, завершив все дела, уже выходил из квартиры привереды, уже переступил через порог, неожиданно в нем прозвучало брошенное ему привередой у зеркала напоминание захлопнуть за собой дверь. И что было в нем такого двусмысленного, какая лукавость? – но оживший в нем ее голос вдруг прозвучал прямым и несомненным свидетельством ее неискренности и пренебрежительного отношения к нему. Захлопнуть дверь! Просто захлопнуть, а не закрыть, как бы следовало, ключом на щеколду. Безопасности она предпочитала… что предпочитала безопасности? Независимость! Независимость от него, К. Путами долга и обязательств – пусть хлипкими, едва ощутимыми, но все же! – неизбежно связал бы их врученный ему запасной ключ, и она не хотела даже таких пут. Нуждалась в нем лишь затем, чтобы соответствовать своей жизнью вмененным правилам стерильности? Держала при себе, не имея ему пока замены, которая могла удовлетворить ее?

Овивавший его своими пеленами кокон счастья развился – он не успел отойти от щелкнувшей язычком замка ее двери. И тотчас все вчерашнее – друг-цирюльник в простыне на манер древнеримского патриция с ошпаренным лицом, кондитерско-кофейное заведение Косихина, конопень со своей командой, – намертво запертое где-то, неизвестно где, словно прорвалась некая запруда, хлынуло в него, круша на своем пути остатки кокона, клокочущим беспощадным потоком.

Вышагнув из полумрака подъезда на ослепившую бесстыдно нагим, ни клочка облачной одежды, блистающе-жарким солнцем, словно обесцвеченную улицу, К. достал из кармана телефон, пролежавший там бессмысленной тяжестью с лишним полсуток, и включил его. Пора было возвращаться в мир. Сколько бы градусов там тебя ни ждало. Куда деться от мира. Что ты без мира. Без

мира ты лист, сорвавшийся с дерева, ни земных соков тебе от корней, ни хлорофилла из воздушного океана, ложись на землю, желтей и сгнивай.

И только оживший брусок телефона завершил внутри своего электронного чрева все необходимые операции и подключился к миру, тотчас на экран с писком полезли одна за другой эсэмэски: от родителей, от друга-цирюльника, от оператора, сообщавшей об их звонках – вчера, ночью, сегодня, – и бессчетно, бессчетно.

Засаженный шпалерами нестриженного кустарника и редкими деревьями между ними зеленолиственный бульвар рассекал улицу, на которой стоял дом привереды. К. перебежал перед машинами проезжую часть и, дошагав до первой же скамьи на бульваре, опустился на нее. Требовалось сесть, чтобы говорить по телефону.

Первому он позвонил другу-цирюльнику. С друга-цирюльника, казалось ему, начать будет проще.

– Ты где? Откуда ты? – завопил друг-цирюльник, едва заслышав голос К. – Жив-здоров, цел? Что с тобой случилось? Почему ты пропал?

Похоже, если друг-цирюльник и был обижен на К., – не мог не быть! – тревога за К. была для него важнее обиды.

– Я жив-здоров и цел, – сказал К. – И вообще все нормально…

– Нормально? – голосом, полным подозрения, вопросил друг-цирюльник. – А с отцом-матерью ты говорил? Они тебя обыскались!

Конечно, обыскались. Чувство покаянного стыда залило К. удушающей волной.

– Позвоню, – сказал он. – Вот сейчас с тобой… и наберу им. Извини, что я вчера ушел. Мне так было… ты понимаешь?

– Понимаю, понимаю, – ответствовал друг-цирюльник. И через кратчайшую, но отчетливо обозначившую себя паузу спросил: – Так ты что? Ты можешь говорить? – И, снова через запинку, видимо, решив, что К. мог не понять его, уточнил: – Тебе ничто не мешает? Никто?

– Не мешает. Ничто и никто, – отозвался К. – Сижу на бульваре, один, жив-здоров. Вот звоню тебе.

– И ты… с тобой… как ты вчера ушел… С тобой… ничего? – с откровенной опаской назвать вещи своими именами осторожно поинтересовался друг-цирюльник.

– Без событий и новостей, – коротко ответил К.

Событий, можно считать, и вправду не было, а знать другу-цирюльнику о цидуле, переданной через привереду, и о том, что включен в некую базу, – зачем ему это?

– А туда… – друг-цирюльник снова споткнулся. – Туда ты

ходил? Или нет?

– Не ходил, – с прежней короткостью сказал К. – А ты что считаешь?

– Ну-у… – Осторожность в голосе друга-цирюльника была похоже на то, как если бы он шел в темноте и, прежде чем ступить вперед, ощупывал носком пространство перед собой. – Тебе мое мнение известно. Я его не изменил.

– В смысле, рекомендуешь пойти?

– Пойти, пойти, – уже смело ступил вперед друг-цирюльник. – А какой у тебя другой вариант?

– Ладно, пока, – принялся прощаться К. – Еще раз: извини… Звони мне, прошу тебя.

– О чем разговор! – поторопился с ответом друг-цирюльник. – Но и ты мне, ты мне! Звони, пожалуйста. Да хоть среди ночи!

Позвонить родителям и после звонка другу-цирюльнику казалось все так же невозможным. Но и нельзя же было не позвонить. К. разбежался, оттолкнулся ногами от тверди, взметнул в полете руки над головой, сложил лодочкой и ухнул во вскипевшую вокруг пенными брызгами неизвестность.

– Наконец-то! – услышал он в трубке голос отца.

Странно, однако: в голосе отца не было того негодования и возмущения, которых он ожидал. Одно растерянное волнение было в его голосе, смятенная тревога – без всякого следа порицания, – словно К. и не помучил их неведением о себе, не заставил их «обыскаться». Даже что-то сочувственное, виноватое, пришибленное было в этой отцовской неосуждающей тревоге-волнении.

И вот же что было тому причиной. Вот что перевесило их справедливый гнев: еще бо́льшая тревога! Ночью им, оказывается, звонили. В час между собакой и волком, подняв с постели, и без всяких извинений, с повелительностью: что ваш отпрыск?! знаете, что под подозрением? ах, не говорил? думает, все рассосется?! не рассосется! рассосется, когда вдоволь насосется! а он насосется, к тому идет! дерьма он насосется, и вдоволь, вдоволь!

Представились? – спросил К. Нет, сказал отец. Но по всему же ясно откуда.

Ясно, ясно, конечно, ясно. Разве что в своей последней цидуле-маляве – что была передана через привереду – как бы свидетельствовали всем тоном, что терпению их приходит конец, а тут этому терпению конец уже был положен. В эпистолярном жанре им стало тесно, перешли на вербальную форму. И специально родителям звонили, именно им?

Следовало, какое бы объяснение тому ни было, успокоить родителей.

Нет, это не оттуда, откуда вы думаете, сказал он отцу, это просто какое-то хулиганье, развлекаются так. Не оттуда?! Кому нужно так развлекаться? – отец не поверил. Просто кто-то подшучивает, кто-нибудь из моих студентов, возможно, придумал на ходу К. Дурак, что ли, какой-то полный? – повелся на его обман отец. Дурак, дурак, ухватившись за прозвучавшее слово, подтвердил К. Он чувствовал что-то похожее на радость. Своим звонком его неизвестные преследователи, не желая того, сыграли роль щита, избавив его от тягостных объяснений с родителями по поводу вчерашнего исчезновения.

Заканчивая разговор с отцом, К. встал со скамейки. Словно сжавшаяся пружина, не желая больше удерживать себя, толкалась теперь в нем, распирала накопленной кинетической энергией, просилась наружу. Что же, как советовали друг-цирюльник и привереда, пойти к его преследователям с распахнутой на груди рубахой: вот он я, что вам нужно?! Бульвар был пустынен в оба конца, лишь на одной из дальних скамеек рисовались фигуры то ли двух, то ли трех человек – мало кто пользовался в эту раннюю пору дня зеленолиственным покоем бульвара, сжатым двумя асфальтовыми полотнищами с режущими по ним с ревом автомобилями. Неожиданно для себя К. сорвался с места и решительно зашагал в направлении, в котором следовало, если исполнять совет друга-цирюльника и привереды. Он еще не был уверен, что исполнит его, а ноги уже несли куда повелела пружина. Не был уверен – и шел. Бесстыдно-нагое солнце понуждало в промежутки между оазисами тени от редких деревьев ускорять шаг, чтобы побыстрее достигнуть следующего оазиса, – получалось, еще и поторапливался как можно скорее достичь нежеланной цели.

Цель, к которой вела К. хозяйствовавшая в нем пружина, скромно таилась в густо обсаженном деревьями и кустарником неприметном особнячке в полутора кварталах от площади с вавилонской громадой мэрии. У деревьев были вовремя и тщательно сформированы кроны, кустарник ровно, с изыском подстрижен – не то что на бульваре, где только что сидел на скамейке К. Слухи, впрочем, гласили, что скромность ведомства, явленного миру лишь этим особняком, чисто внешняя, его лицо, открытое всеобщему обозрению, – на деле же и все здания вокруг принадлежат ему, связанные паутиной подземных переходов…

«Приемная» было написано на скромной, неброской доске рядом со скромным, вполне затрапезного вида входом, который язык никак не повернулся бы назвать парадным.

Те несколько секунд, что К. стоял на крыльце перед дверью, он боролся с повелевающей пружиной внутри себя. Было

мгновение, когда ему показалось, что вот, уже переборол ее, ринется сейчас вниз, сбежит обратно на землю… но, вместо того чтобы сделать это, потянул отчаянно взвизгнувшую дверь на себя, толкнул открывшуюся за ней вторую, оказавшуюся безмолвной, и ступил внутрь.

Тьма ослепила его. Прозрение приходило, словно проявлялось изображение на фотографии. Возникли сначала непонятные тени, явили границы, начали обретать глубину. Помещение, в котором оказался К., представляло собой большую комнату без окон, отделанную с пола до потолка темными деревянными панелями, ими же был забран и потолок, – К. словно попал вовнутрь некой шкатулки, и освещала ее пространство лишь единственная жидкая лампочка под похожим на кулек колпаком. Обретшие трехмерность тени оказались людьми. Сидели на стульях, расставленных в связках рядами посередине, стояли у стен, клубились толпой около полукруглого окошечка в одной из стен – вроде того, что бывают в кассах, торгующих билетами на людные мероприятия. Странным образом шкатулка оказалась полна. А ему-то представлялось, что не будет никого, кроме него.

Высокий, узкий, с нераздавшейся костью, щедро усеянный угрями и с трогательно-нежными юношескими усиками над верхней губой, молодой человек с неснятой холщовой кепкой-восьмиклинкой, увенчанной в том месте, где клинья сходились, пуговкой, пытался пробиться сквозь толпу вокруг окошечка к его амбразуре и с гневной требовательностью повторял как заклинание: «Я агент! Мне срочно! У меня утрачена связь!» Никто ему не отвечал, но и не сдвигался с места, чтоб пропустить, в голосе юного агента зазвучали истерическо-угрожающие нотки, и стоявший рядом выразительный бородач – такой тип охотника на женщин – взял юного агента за козырек кепки и натянул ту ему на глаза: «А остальные здесь кто?» Юный агент, смолкнув, тотчас ушмыгнул в сторону, воздевая на ходу кепку обратно на темя, а теснившаяся вокруг окошечка толпа, в беспорядочно перепутавшемся клубке которой угадывалась очередь, ненадолго вышла из царившего до того молчания: «Агент он! Связь утратил. Срочно ему! Сосунок!» Голос с отчетливым стариковским дребезжанием подытожил с удовольствием: «А гляди, пошевелил мозгой!»

Вновь установившееся молчание было нарушено женским голосом из глубины толпы: «Так мне с заявлением, я правильно встала, сюда мне?» Толпа не ответила ей, сразу будто ощерившись недоброжелательством. «Так с заявлением мне сюда?» – оробев, решилась все же повторить вопрос

заявительница. На этот раз ее попытка разжиться информацией увенчалась успехом: общее глухое безмолвие разодралось прежним стариковским дребезжанием: «Куда еще? Окно одно».

К. понял, что и ему нужно в это окно. Куда же еще?

– Кто последний? – обратился он к очереди.

И тотчас толпа, до того не замечавшая его, воззрилась на К. Он физически ощутил ее взгляды. Они ощупывали его, обвивали – изучали, запоминали, опознавали. Неприятное было чувство. Словно саму изначальную силу жизни высасывали эти взгляды-щупальцы, оставляли от тебя, как паук от попавшейся в его сети неудачливой мухи, одну пустую хитиновую шкурку. К. внутренне передернуло. Надо же, чтобы здесь оказалось так многолюдно!

«Последний? Кто последний?» – напитавшись наконец им до сытости, в несколько голосов заспрашивала между тем у самой себя очередь.

Последним определился тот юный агент. Он мигом вынырнул из тени, в которую было ускользнул, и с вызовом известил К.:

– Ну я, значит, последний. И что?

– Ничего, – ответил К. – Значит, за вами буду.

– Но я, может, раньше пройду! – с тем же вызовом провещал юный агент.

– Раньше он! – голосом, обещающим, что раньше юному агенту пройти не светит, уронил, как бы обращаясь к самому себе, бородатый охотник на женщин.

Желания топтаться перед окошечком, игравшим, как видно, роль игольного ушка, у К. не имелось. Он попросил юного агента указать на него, если кто появится занимать очередь, и направился к рядам стульев посередине шкатулки. И только направился, тотчас его как опалило.

На стульях сидело не больше пяти человек, и выловить опаливший его своим сокрушительным жаром взгляд труда не составило. Секретарь кафедры это была, кто едва не обратил его в пепел, вот кто! Сюда, сюда, ко мне, призывно позвала рукой секретарь кафедры. И до чего же экспрессивен был этот ее жест, какое возбуждение выразил! Она была тут совсем иная, чем К. знал ее все годы по кафедре. Ничуть не похожа на унылую, обшарпанную годами даму, ведущую отсчет своим годам со времен Древнего Рима, силой и энергией жизни веяло от нее, решительной уверенностью в себе.

Проманкировать ее предложением, не подойти к ней – было исключено. Изображая на лице приветливую улыбку, К. протиснулся по проходу между связками стульев к секретарю кафедры, и она, протягивая снизу руку, с радостным видом

соучастницы поприветствовала его:

– Так вы, значит, тоже?!

Радость ее была искренна и неподдельна. Пожалуй что и исполнена восторга.

Ряд не связанных между собой частиц, междометий, союзов – невразумительную мешанину – пробормотал К. в ответ на ее вопрос-приветствие. Секретарь кафедры, однако, истолковала эту словесную кашу в пользу К.

– Ой, вы не смущайтесь! Я так рада вас видеть здесь, так рада! Вы здесь впервые?

Вот на этот вопрос К. мог ответить вполне вразумительно.

– Впервые, – подтвердил он.

– Я так и поняла, – покровительственно отозвалась секретарь кафедры. – Смутило вас, вижу, количество народа? Пусть вас это не смущает. Просто задержались с открытием. Быстро сейчас рассосется. Они четко работают. Размечут туда-сюда, кого куда во мгновение ока.

Похоже, ей и в голову не приходило, что К. здесь совсем по другой причине, чем она сама и все остальные. Хотя по какой причине были здесь все остальные? Наверняка К. было известно лишь о том нервном зеленом фрукте в восьмиклинке. Да еще о робеющей особе, желающей подать заявление. Однако, судя по тому, как все другие, заполнявшие шкатулку, держали себя, их привели сюда совсем не те обстоятельства, что у К. Они очевидно были своими здесь, им было привычно находиться в этой шкатулке, а глядя на секретаря кафедры, понятно: еще и желанно. Но что несомненно – не секретарь кафедры была причиной полученных им цидуль-маляв, иначе бы, увидев его, не подумала, что он «тоже».

– Присаживайтесь, посидите. – Секретарь кафедры сделала движение, словно подвинулась, освобождая место. Ей хотелось проявить свое расположение к К.

К. поколебался и сел. Не посылать же было ее куда подальше. Секретарь кафедры смотрела на него с возбужденно-счастливой улыбкой – как если б на сына, оправдавшего самые тайные надежды матери. Следовало что-то наконец сказать ей, поддержать беседу.

– А вы… – начал он. Нет, не хватало только спросить «а вы что тут делаете?» – Почему здесь так темно, только одна лампочка? – вырвалось у него.

Секретарь кафедры посмотрела под потолок.

– Наглядная агитация, – сказала она, опуская взгляд. – Кому, как не службе стерильности, подавать пример. Не следует транжирить народные деньги.

– Но это, пожалуй, уж слишком, – не смог удержать себя К. – Я зашел с улицы – ничего не мог разглядеть.

– Но сейчас видите же? – с подсказывающей правильный ответ порицающей материнской улыбкой ответствовала секретарь кафедры.

– Сейчас вижу, – вынужден был согласиться К.

– Что и следовало доказать. – Секретарь кафедры с торжествующим видом развела руками. – Нужно было просто привыкнуть. Кому, как не службе стерильности, учить аскетизму. Аскетизм – основа народного благополучия и процветания.

Она шпарила прямо цитатами из правил стерильности.

Щелкнул, включаясь, электрическим разрядом невидимый динамик, и отрывистый, словно бы с жестяными прожилками, мужской голос произнес:

– Посетитель номер три, пройдите на контроль.

Секретарь кафедры, только динамик включился, замерла, вытянулась вверх, вся обратилась в слух. И едва голос назвал номер, вскочила с резвой поспешностью.

– Это я, – бросила она К. Она враз перестала быть матерью, а превратилась в ту унылую крашеную грымзу, какой ее знал К. по университету, только необычайно оживленную и всю будто летящую грымзу. – Покидаю вас. Счастливо вам.

– И вам, – вынужден был ответить К., чтобы не оказаться невежей.

Но маловероятно, что она услышала его. Она уже летела вдоль ряда стульев, стремила себя легкой божией птичкой к заветной радостной цели, букли ее трепались в полете вокруг головы подобием перышек, взъерошенных током обтекающего воздуха. Не замеченная прежде К. дверь явила себя взгляду на линии ее полета в дальней стене шкатулки. Секретарь кафедры, не замедляя полета, распахнула филенчатое полотно, выплеснуло изнутри радостным полным светом (там агитации уже не требовалось?), и секретарь кафедры влетела в него, а свет, двинувшись перед тронувшейся назад дверью, стал быстро худеть, превратился на миг в струнку, и полупотемки шкатулки прищемили его окончательно.

Спустя недолгое время резкий голос из выстрелившего грозовыми разрядами динамика повелел пройти на контроль номерам четвертому и пятому. Толпа около игольного ушка окошечка, как и обещала секретарь кафедры, споро рассасывалась, перемещалась на стулья, динамик снова и снова выстреливал грозовыми разрядами, приглашая на контроль… Ничто не мешало К. подняться и тоже покинуть сумеречную шкатулку, только через ту дверь, через которую попал сюда, но,

вместо того чтобы сделать это, он все продолжал сидеть и ждать, когда подойдет его очередь к игольному ушку.

К. поднялся, когда перед юным агентом в восьмиклинке никого не осталось. Юный агент стоял у игольного ушка, влезши в него по самые плечи. И когда он наконец, со счастливо-распаренным лицом, выбрался из него наружу, направился к стульям дожидаться вызова своего номера и настал черед К. припасть к открывшемуся ему таинственному жерлу, К. обнаружил в себе желание поступить, как этот желторотый фрукт: втиснуться в жерло игольного ушка как можно глубже, до самых пят – впрямь уподобясь тому библейскому верблюду из каравана, навьюченному товарами дальних стран, которому нужно, чтобы попасть в город, опуститься на колени и так, на коленях, проползти в городские ворота, – словно от того, насколько глубоко сможешь проникнуть в зияющее жерло, зависел успех твоих усилий опровергнуть павшие на тебя непонятные подозрения.

Размер окошечка, однако, не позволял всунуться внутрь никакой иной частью тела, кроме головы. И от того, впрочем, К. удержал себя.

– Доставляют вам, и что? Я ничего понять не могу, – брезгливо кривя вишнево накрашенные губы, произнесла в ответ на его лепетание о полученных записках представшая взгляду К. полногрудая матрона в лихо заломленном на ухо форменном красном берете.

К. подумал, что его объяснение, как ни изощряйся, в любом виде будет звучать полной дичью.

– В общем, мне нужно к кому-то… ответственный за прием населения кто у вас?

Матрона смотрела на него изнутри питоньим взглядом, как если б решала, удавить К. прямо сейчас или чуть погодя.

– Номер двадцать второй, – изошло наконец из ее вишневых уст. – Стойте, ждите. – Пальцы ее, с коротко, по-мужски подстриженными ногтями, уже выколачивали на клавиатуре стоявшего перед нею компьютера некий текст, имевший, вероятней всего, отношение к К.

Зачем, зачем, зачем, тупым метрономом стучало в К., когда он снова сидел на стульях в ожидании своего номера из динамиков. И не поздно же было подняться и покинуть шкатулку еще и сейчас, – но нет, оставался сидеть.

Номер его прозвучал много раньше, чем он ожидал, – шкатулка еще была полна, не вызвали и половины тех, кто был перед ним.

К. ступил в свет, оказавшийся стерильно белым, отделанным

пластиком коридором под слепящими ртутными лампами, и тут же был остановлен запретительными решетчатыми воротцами. Сбоку от воротец за такой же стерильно-белой, как остальной коридор, выгородкой, восседал на высоком, как у барной стойки, стуле похожий статью на того конопеня, с которым К. познакомился вчера вечером в кондитерско-кофейном заведении Косихина, твердоскулый молодец, только, в отличие от конопеня, бывшего вместе со всеми своими подчиненными без всяких примет ведомственной формы, у молодца, как у матроны в игольном ушке, на голове сидел такой же красный берет, разве что у него он был уж совсем сдвинут на ухо, и залом его – хоть брейся. Молодец в загоне выгородки с выжидательной суровостью молча смотрел на К., словно недоумевая, зачем он возник здесь, и К. смешался под его взглядом.

– Что, документы? – спросил он.

– А что же еще? – не переменяя выражения выжидательной суровости на лице, процедил молодец.

К. достал удостоверение личности и подал ему. Молодец принял пластик, поизучал, вложил в считывающую выемку на электронном девайсе перед собой, уставился в экран, сверяя данные удостоверения с теми, что, вероятно, передала ему сюда из своего игольного ушка матрона. Все сошлось, и пластик удостоверения был протянут К. через перила выгородки обратно. Вслед за чем решетчатые воротца, повинуясь движению руки молодца у себя под столешницей, пропищали и клацнули, открываясь, замком.

– И? – вопросил К. – Что дальше?

– Идите, – не тратясь на объяснения, скупо промолвил молодец.

К. нерешительно толкнул воротца и шагнул за них. Воротца за спиной, закрываясь, хрустко чмокнули магнитами. И тотчас в дальнем конце ослепительно белого коридора явила себя из стены (но, должно быть, там была дверь) черная фигура. Явила и замерла, – выказывая всем своим очерком нетерпеливое ожидание. Несомненно, К. следовало двигаться к ней.

По мере того как К. приближался к фигуре, абрис ее наполнялся деталями, ясно обозначило себя всеми чертами лицо. Это был непомерно худой мужчина тех средних лет, когда возраст зрелости уже на исходе, а подступающая пора старости еще не успела наложить на черты явственной меты, поверх плечей у него, несмотря на лето, было наброшено пальто, которое он придерживал на груди за полы, и запавшие его глаза не смотрели из глубины глазниц на приближающегося К., а истинно вперивались.

– Следуйте за мной, – повелел человек, когда К. приблизился к нему. Вблизи он оказался не просто худ, но настоящий кощей, торчали наружу все лицевые кости, – хоть изучай анатомию. Зачесанные назад жидкие волосы над землистым, в многочисленных пигментных пятнах лбом прилегали к темени так плотно, что казались то ли приклеенными, то ли нарисованными на нем.

В стене рядом с ним и в самом деле оказалась дверь – такая же ослепляюще-белая, как остальной коридор, отчего и была незаметна издалека. К. вслед за кощеем вошел в нее – в новый коридор, – кощей с твердой неспешностью, отметывая вбок полы наброшенного на плечи пальто, не оглядываясь, шел и шел вперед, как бы неколебимая уверенность исходила от его похожей на портновский метр узкой спины, что К. никуда не денется, не повернет обратно, и что же, К. шел за ним, не отставая. Этот коридор уже не слепил белизной, лампы под потолком не сияли малыми солнцами – нормальный был свет, в меру яркий и нережущий, комфортный для глаза. Нечто похожее на благодарность обнаружил в себе К. от комфортности этого света, которая непостижимым образом распространялась и на кощея, подарившему ему это чувство.

Сюда, не оборачиваясь к К., молча кивнул на ходу его вожатый, сворачивая к очередной двери в коридорной стене. Помещение, открывшее себя после щелчка выключателя взгляду К., представляло собой типичную учебную аудиторию – два рядка легконогих столов с приставленными к ним стульями, преподавательский стол в их главе, ничем не отличающийся от других, и даже антрацитово бликующая доска в мутноватых меловых разводах висела на стене. К. так сразу и почувствовал себя в своем университете, хоть проходи привычно к преподавательскому столу и располагайся за ним.

За преподавательский стол сел, однако, его вожатый. Указав жестом К. – все так же молча, без единого звука, – устраиваться напротив себя. Занять позицию студента, что-то вроде того. Что К. и сделал. Окна «аудитории», обратил он внимание, едва его вожатый зажег свет, были наглухо закрыты тяжелыми плотными шторами – не увидеть ничего с улицы, изнутри не увидеть, что там за окном. Освещение в «аудитории» было, кстати, той же комфортности, что в коридоре, из которого они попали сюда.

– Ну? Что вас привело к нам? – разомкнул скупые уста его вожатый – кощей! – когда они сели и оказались напротив друг друга. Лицо его не оживилось ни единой эмоцией, казалось, у него не осталось мышц для их выражения: кости и покрытая пигментными пятнами кожа – наглядное анатомическое пособие

для студентов медицинского института. Пальто по-прежнему оставалось у него на плечах, он сел, ловко подметнув его под себя, словно ему было привычно садиться так, и не отнял перекрещенных рук от вздыбленных лацканов, продолжая придерживать пальто на груди, чтобы полы не расходились в стороны.

К. чувствовал себя оглушенным. После объяснения с матроной в игольном ушке ему казалось, что за крепостной стеной его встретит кто-то, кто в курсе всего происходящего с ним, кто объяснит, в чем дело, разрешит все недоуменные вопросы, и не придется вновь становиться в согбенную позу просителя.

– Ну, я… – преодолевая свою оглушенность, начал он. – Эти письма… Что все это значит… Да вы разве не знаете? – вырвалось у него.

– Я много чего знаю, – скупо уронил кощей. – Что именно вы имеете в виду?

– Вот эти записки… Почему их мне? И звонки. В чем я подозреваюсь? Угрозы… Что я должен доказывать? Как? – спотыкаясь на каждом слове, словно утратил все навыки связной речи, вынужден был К., как ему того ни хотелось, принять навязываемый кощеем способ беседы.

– Вразумительней можно? – снова уронил кощей.

К. жгло ненавистью к себе за свое косноязычие. Он слазил в карман и извлек на белый свет полученные цидули, называвшиеся у него про себя малявами.

– Вот, – положил он мятые листки, хранившие на себе следы всех заломов, перед собой на стол. Подумал и, потянувшись, переложил на стол, за которым сидел кощей. – Пожалуйста, – указал он на них, предлагая кощею взять листки и прочесть.

Кощей не шелохнулся.

– И что там? – вопросил он.

– Вы посмотрите, – сказал К.

– Объясните мне сначала, что там. А я уж решу, смотреть ли. – Безоговорочность была в голосе кощея. И брезгливость – да, да, хотя лицо его все так же не выражало ничего: словно он имел дело с неким необычайно противным насекомым, и рад был бы не иметь, но приходится.

К. не оставалось ничего другого, как окончательно подчиниться правилам, диктуемым ему кощеем. Борясь с косноязычием, словно вскатывая в гору Сизифов камень, он принялся рассказывать: как шкет на набережной… как друг-цирюльник… как привереда… и в какой-то базе… и звонок родителям… И странно: кощей слушал, не выказывая нетерпения

или раздражения от долготы и скачкообразности рассказа. Наслаждение, даже упоение рассказом К. испытывал кощей – вот что угадывалось по его глазам, пусть лицо у него и оставалось все тем же обтянутым кожей бесстрастным анатомическим пособием.

– И что вы хотите? – спросил он, когда К. наконец смолк.

– Хочу понять, что это все значит, – сказал К. Теперь, после того как вскатил на гору Сизифов камень, он чувствовал в себе способность быть с кощеем и дерзким. Он сделал, что от него было прошено, и что же, как у Сизифа мифического, – камень вниз, и закатывай сначала? Нет, он не был согласен на роль Сизифа. – На каком я таком подозрении у вас? Какие к тому основания?

– А вы их не видите? – уронил кощей.

– Нет, – коротко ответствовал К.

– Напрасно, – с такой же короткостью отозвался кощей.

К. ждал, что он продолжит, раскинет наконец теперь перед ним весь пасьянс, в котором К. и предстоит обнаружить ошибки раскладки, указать на них, отвести обвинения… но кощей молчал, смотрел на К. с бездушной безучастностью, и сжавшиеся накрепко его губы отчетливо свидетельствовали, что размыкать он их не намерен.

Получалось, что К. должен раскладывать пасьянс сам, должен додумываться, что ему вменяется в вину, догадываться – смекнуть, скумекать.

– Я не понимаю, что вы от меня хотите, – сказал он. – Я знаю, у других были подобные ситуации, они объяснились с вами – и все, больше никаких претензий к ним.

– Откуда вы знаете, как было у других?

– Рассказывали, – не стал открываться, кто рассказывал, К. Да он бы не открылся, даже начни кощей выпытывать у него, кто это.

Но кощея не интересовало, кто просвещал К.

– Не то рассказывали, – пренебрежение слегка оживило мертвый голос кощея.

– А что бы должны? – полюбопытствовал К.

Кощей не отозвался на его вопрос. Он смотрел на К. с такой холодной изучающей пристальностью – можно подумать, К. перед ним, как на рентгене.

– Вы не готовы, – проговорил он потом.

– Что значит, не готов? – спросил К.

– Были бы готовы, понимали бы. – Кощей говорил как с самим собой. Но глаза его были при этом все так же устремлены на К. С тою же изучающей, рентгеновской пристальностью. – Не готовы, нет. Все, до свидания!

Неожиданность, с какой он свернул разговор и поднялся,

оглушила К. Точно так, как вначале, когда сели напротив друг друга и кощей вопросил, что же К. привело к ним. Он знал, прекрасно знал, что привело, да никто другой, кто не был в курсе цидуль и звонка, не мог выйти к К., но выстроил весь разговор так, будто не имел ни о чем понятия. И вот сейчас отправлял К. отсюда, еще и напустив нового тумана: не готов! К чему не готов?

– К чему не готов? – спросил К. вслух.

Однако теперь кощей вообще не отозвался на его вопрос. Он стоял, держа встопорщенные лацканы пальто на груди перекрещенными руками, молча вперивался в К. своими запавшими глазами; за бесстрастные глаза и молчащий язык все говорил его вид: встреча закончена, пора вышвыриваться, вон отсюда.

И что же было делать, пытаться пустить разговор по третьему кругу? К. поднялся, выбрался из-за стола и, не оглядываясь на кощея, пошел к выходу из «аудитории». Что за бессмысленная лекция была ему прочитана в этом университете. Коридор с удобным для глаза светом показался втрое короче, чем когда проходил им, следуя за портновским метром спины кощея. Коридор с дежурным молодцем в красном форменном берете ожидаемо ударил по глазам слепящей белизной своих пластиковых стен. Оглянулся К., только когда был у решетчатых воротец дежурного. Кощей стоял в дальнем конце коридора, там же, где ждал К., чтобы повести за собой, – черный силуэт в сиянии света, с разлетающимися внизу в стороны полами пальто, как со сложенными за спиной крыльями.

Воротца по дистанционному приказу дежурного чмокнули магнитным замком. К. отворил их, перешагнул невидимую черту, разделяющую мироздание, и под новый металлический чмок снова оглянулся. Не собирался, даже и не хотел, а неожиданно для себя сделал это. Черного силуэта уже не было, одно сияние слепящей белизны, и лишь медленно закрывающаяся створка двери в глубине этого сияния свидетельствовала, что кощей только что стоял там, мгновение лишь минуло, как исчез.

6. Экзамен

Неутомимо сменяющий на экране одну яркую цветную картинку другой, телевизор на стене трещал новостями. Парламент принял закон о защите должностных лиц от облыжных обвинений в нарушении стерильности. Представитель высшей комиссии по стерильности на традиционной пресс-конференции, посвященной началу летних отпусков, выступил с заявлением о назревшей необходимости изменить уголовный кодекс, дабы за нарушение правил стерильности полагались более суровые тюремные сроки. Группой оперативников центрального аппарата службы стерильности была проведена операция по задержанию руководителя крупного предприятия, постоянно допускавшего нестерильные методы руководства…

– Держу пари, что его место понадобилась кому-то более могущественному. Сына трудоустроить или зятя. Племянника в крайнем случае, – прокомментировала последнюю новость мать.

– Наверно, – вяло согласился с нею отец. Ему не хотелось вступать с ней в обсуждение.

– Нет, ну чтобы кого-то из них просто так за нестерильные методы… Смешно! – мать не могла успокоиться. – Одной рукой принимать закон о защите от обвинений, а другой за эти обвинения карать?

– Вообще-то этот закон не так уж и бессовестен. – Отец, как всегда, стремился быть беспристрастным. – Чем выше человек на социальной лестнице, тем больше у него врагов. Главное, чтобы закон применяли правильно.

– Когда и где они применяли их правильно? – Мать оставила ложку, дотянулась до пульта, общественным достоянием лежавшего посередине стола и резким щелчком большого пальца по кнопке умертвила телевизор. Прелестная говорящая головка молодой дикторши в умных очках пресеклась на полузвуке, экран потух, мгновенно сравнявшись цветом с окаймляющей его пластмассовой серой рамкой. – Тебе не дали свое дело открыть – какой закон они правильно применили?

К. почувствовал потребность заступиться за отца. Мать все же бывала с ним порой – и без всякого повода – непонятно жестока.

– По-моему, вам обоим не дали открыть, – опережая возможный ответ отца, сказал он.

Матери было досадно его вмешательство.

– Я женщина, чтоб ты знал, сын, – получил он от нее. – Муж – глава семьи. Глава, он за все и несет ответственность.

– Правилами стерильности понятия «глава семьи», не

предусмотрено. – В университете по правилам стерильности был отдельный экзамен, и К. помнил их почти наизусть.

– Пошли они куда подальше, эти правила, – не приняла его иронии мать. – Нужны мне кандалы на руки, на ноги. Я без них ходить умею. И руками все что угодно.

– Ладно, ладно, ладно, – примирительной скороговоркой вмешался в их неожиданную пикировку отец. – Ладно, сын, ладно. Мы с мамой сами… это наши дела. Ты не мешайся. У тебя свое… у тебя экзамен сегодня, готовься к нему… студенты твои, они… те еще субчики, чего от них можно ждать?

При чем здесь экзамен, его студенты, почему субчики? К. ничего не мог понять.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он отца.

– Что я могу иметь в виду, – во взгляде отца была укоризна. – Тот звонок, когда ты не ночевал. Звонить так среди ночи, нести такое… как язык позволил!

К. вспомнил: он же сказал родителям вчера, что это, вероятней всего, звонили, хулиганили его студенты. О своем посещении укромного особнячка под сенью свеже и чисто подстриженных деревьев он не рассказывал родителям ничего.

– Да что ж, экзамен и экзамен, – с небрежностью произнес он, показывая всем своим видом: такая чепуха, этот экзамен, неудивительно, что не понял отца – уже и забыл о том звонке. – У студентов мандраж, стараются его унять изо всех сил, такими звонками в том числе, а мне-то что мандражировать?

Было утро, они сидели втроем на кухне за завтраком – точно, как два дня назад, – только нынче спешил К. Он вообще не любил опаздывать, а уж экзамен, полагал он, – это день, который принадлежит не ему, как бы то ни казалось иначе со стороны, этим раздолбаем он принадлежит, и следует прийти раньше всех и томиться ожиданием решившихся на роль первопроходцев самому, но не позволить томиться им. И сейчас, когда зашел разговор об экзаменах, левая рука с надетыми уже на запястье часами автоматически вскинулась к глазам, следом за чем К., делая в движении из чашки глоток горячего чая, вскочил.

– Допей, не надо на ходу, обольешься, – крикнула мать.

К одевался на экзамены как на праздник, строго и торжественно. Чтобы и раздолбаи ощущали значительность события. И сейчас он был в лучшем своем костюме, при галстуке был и даже с цветным платком в тон галстуку, выглядывающим шелковым цветком из нагрудного кармана.

К., стоя, обжигаясь, отпил еще пару глотков и опустил чашку на звякнувшее блюдце.

– Пора, – сказал он. – Не буду допивать, извини.

Сырников сегодня на завтрак не было, была нормальная гречневая каша с бутербродами, после бутербродов хотелось пить, но и ждать, когда чай остынет, если следовать своим принципам, времени не оставалось.

Мать принесла его чашку в прихожую. Дождалась, когда он обуется.

– Я тебе остудила. Переливала туда-сюда. – И когда К. взял у нее из рук чашку и принялся, глоток за глотком, торопливо опорожнять ее, тоже торопливо спросила: – Ты правду о том звонке папе сказал? Правда это не оттуда? – «Оттуда» она произнесла с такой усиленностью в голосе, что и без всяких уточнений было ясно, о чем она. – Это, по всему, непохоже на студентов.

Отец, тот поверил, ее интуиция подсказывала ей, что К. лукавит.

К. всунул опустевшую чашку матери в руки, открыл дверь и, становясь на пороге, с интонацией героя анекдотов развел руками:

– Вот такой, мам, студент пошел.

И что ей оставалось делать, как не принять его объяснение?

– Хорошего тебе дня, – сказала она. – Мы сейчас с папой тоже выходим. Хочешь узнать у меня куда?

– Да, куда? – удивившись про себя ее вопросу и настораживаясь, эхом отозвался К.

– В гараж, куда еще, – ответила мать. – Косихинские сырнички делать. Косихинские они называются.

Мать у К. была большой мастерицей на такие безобидные провокационные шуточки. Она ими приперчивала себе жизнь.

– И вам хорошего дня, – пожелал К. вполоборота, уже на пути к лестнице, слепо вытягивая руку, чтобы ухватиться за перила.

– Какого уж там хорошего. Все одно изо дня в день, – донеслись до слуха К. – сквозь дробь его бега вниз – слова матери, обращенные ею к самой себе.

Хорошего, хорошего, хорошего, подобием заклинания звучало в К., когда, вылетев на улицу, он быстрым шагом направлялся к автобусной остановке. О, как ему хотелось хорошего дня! Дня без маляв, без звонков, без угроз. Со вчерашнего похода в особняк, прячущийся в зелени деревьев и кустарника, он и без того все время повторял про себя заклинанием что-то подобное. Что значили те слова кощея: «Не готов»? К чему он должен был подготовиться? Как были связаны эти слова и цидули, что получал?

* * *

К. принимал экзамены уже полных два часа, разогрелся, вошел в азарт – он напоминал сам себе сидящего на прокаленном солнцем зеленом берегу всемогущего рыбака с хорошо оснащенной удочкой, таскающего из водной стихии одну рыбку за другой и безжалостно выбрасывающего их на берег. Попадались экземпляры крупные и сильные, которые приходилось, прежде чем подсечь и выметнуть в воздух, как следует поводить на глубине, утомить, и по контрасту с ними – настолько вялые и беспомощные, что повисали на леске, едва насадив себя на крючок, покорно отдавались судьбе, надеясь лишь на ее благоволение. Впрочем, К. всех оставлял жить, вытаскивал милосердно из их плоти заглоченные крючки и пускал обратно в воду. И щуки и плотва, сметя со стола зачетки с радостным баллом, с распаренно-ошалелыми лицами летели из аудитории, чтобы исчезнуть за дверью и больше не объявляться. Дальше, дальше от этого милосердного, но страшного рыбаря – в темный омут, под корягу, на дно. И когда только что отпущенный на волю очередной студиозус, спустя какие-нибудь полторы минуты, появился в аудитории снова, К. удивился его возвращению.

Студент шел от двери странно косолапя, боком и будто делая петли, шел – и его кидало галсами, словно ему и нужно было подойти к К. и он не смел.

– Что такое? – спросил К., прерывая разговор с его собратом за столом напротив себя.

Вернувшийся студент не ответил. Метнулся вбок, как если бы хотел броситься прочь от К., но выправился и очередным галсом приблизил себя к экзаменационному столу.

– Да что такое? – недоуменно повторил К. – Что-то в зачетке не так?

Протянул руку в готовности взять зачетку, однако никакой зачетки в руке у возвращенца, увидел К. в этот миг, не было. Но что-то возвращенец в ней держал. И только К. протянул руку, студиозус тотчас же быстро ступил вперед и сунул К. в руку то, что держал.

– Вот… просили передать…

К. ошпарило. Свернутую упругой скруткой бумажную трубочку сунул студент ему в руку. Только в сравнении с прежними непомерно большая была скрутка, прямо бревно.

К. вскочил и, не давая возвращенцу уйти, схватил его за запястье.

– Кто вам дал? Где? Когда?

– Сейчас вот, – не делая попыток – не смея! – отнять руки, выдавил из себя возвращенец. – За углом в коридоре. Двое.

Зажали, корочки в зубы… вы ждете будто…

Не выпуская его руки из своей, К. бросился к двери, выломился из аудитории («Ай!», «Твою мать!» – плеснуло вскриками студиозусов, в ожидании своей очереди зайти внутрь толпившихся под самой дверью), пролетел до угла коридора, завернул – открывшаяся даль зияла пронизанным солнцем, падавшим из цепочки окон, безлюдьем. Тут наконец он выпустил запястье возвращенца, вынужденного все это время поспешать за ним.

– Где?! Где они? Здесь это было? Куда подевались?! – вырвалось из К. Словно те с корочками обязаны были стоять и ждать, когда К. примчится сюда.

– Я не знаю. Откуда мне знать. – Возвращенец выглядел так, будто эти двое, обязавшие его исполнить роль почтальона, были не людьми, а самим воплощением Минотавра. – Они мне ничего больше не говорили. Передать вам – и всё. – Он взял запястье, которое только что сжимал К., другой рукой и принялся массировать его. Мертвой, должно быть, хваткой, как какой-нибудь бультерьер, схватил его К. – Я передал.

Чувством стыда окатило К. Студиозус честно выполнил роль почтальона, и что от него можно было требовать еще.

– Да, спасибо вам, – поблагодарил К. студиозуса. И похлопал его в подтверждение благодарности по плечу. – Спасибо, спасибо. Всё, можете быть свободны.

Возвращаться в аудиторию, продолжать принимать экзамен – что, казалось, за бессмыслица, абсурд, дичь! Зачем? Для чего? Земля сотрясается, лава, раздвигая базальты, гудит под ногами, готовая выхлестнуть наружу… и чистить под этот гул зубы, утолять голод, бриться, принимать душ – все как всегда? Но что, если не это? К. затолкал полученную бумажную скрутку в карман, решив отодвинуть удовольствие ознакомления с ее содержимым до окончания экзамена, и стронул себя с места возвращаться в аудиторию.

Толкущиеся около дверей в ожидании своей очереди студенты смотрели на него с жадным любопытством. К. произвел на них впечатление своим внезапным появлением из камеры пыток. Да еще волоча за собой, как какой-нибудь паук муху, их товарища. Они не могли дать происшедшему на их глазах разумного толкования.

– Все! – сказал К., распахивая дверь аудитории. – Все до одного! Берем билеты, рассаживаемся, готовимся!

Ему хотелось прочесть полученную цидулю как можно скорее. Жгло нетерпением, сжигало, испепеляло, невозможно ни о чем думать – только о том, что там внутри. Он уже даже знал, что

всем этим студиозусам, которых запускает сейчас брать билеты, волшебно повезло: он не будет гонять их ни по одному вопросу, какой бы ахинеи они ни несли.

Что они отвечали ему, – мало что доходило до сознания К. Минус 273 градуса по Цельсию, что однажды – при получении цидули через друга-цирюльника – уже сковывали его суровыми космическими объятиями, вновь завивали К. в свои ледяные пелены, мыслительный процесс – то же движение и колебание атомов, что любое действие, но какое может быть колебание атомов при минус 273 по Цельсию? И когда наконец К. остался один, он еще несколько минут сидел, не находя в себе сил пошевелиться, дотянуться до кармана, в котором лежала полученная бумажная скрутка. Разворачивал он скрутку, извлекши ее в конце концов на белый свет, в несколько приемов: два-три расправленных витка – и перерыв, еще два-три – и перерыв.

Что сразу бросалось в глаза – компьютерное исполнение послания. Отпечатанный на принтере текст имел форму песочных часов: начинаясь с полной строки, все более и более сужался к середине, а потом снова расползался вширь, и две последние строки идеально равнялись по длине начальным. Изрядно пришлось потрудиться изготовителю. Особенно учитывая то, что не в пример прошлым посланиям это короткостью не отличалось.

«Милостивый государь!» – начиналось письмо. Вот так, в отличие от предыдущих цидуль, с такой расшаркивающейся любезностью. Милостивый государь! Что бы могла значить подобная куртуазность?

«Безмерно польщены вашим посещением нашего скромного обиталища, – продолжалось письмо. – Посетив его, вы, конечно же, не могли не заметить той интенсивности интереса к нам, которая столь ярко проявляется в многочисленности наших визитеров. Мы их называем гостями. Что совершенно справедливо и точно, потому что «визитер» – слово холодное, равнодушное, не располагающее к близким, дружественным отношениям, «гость» же – теплое, благожелательное, выражающее отношения сердечности и приязни между хозяином и человеком, заглянувшим на его огонек. Люди, приходящие к нам, хотят с нами дружить, участвовать в наших делах, воспринимая их как свои собственные, быть нашими помощниками. Гость – не кость, в бабки не поиграешь, так мы еще говорим. Мы всех любим, ко всем благосклонны, открыты к каждому. Заблудшим мы помогаем выйти на истинный путь, неокрепшей молодой поросли открываем глаза на подлинные ценности, наших верных помощников поддерживаем в их сложных, если они возникают,

жизненных обстоятельствах. Очень, очень жаль, но мы не увидели того интереса к нам, что есть у других, в вас. Почему? В чем дело? Мы чрезвычайно огорчены. Вы даже не можете себе представить, до чего мы огорчены! Зачем вы ведете себя таким образом? Это абсолютно неправильное поведение. О чем вас хотелось бы и предупредить. А то, знаете, на улице с крыш на прохожих иногда падают кирпичи. Откуда они там берутся, никто не знает. Может быть, их оставляют случайно рабочие, когда ремонтируют кровлю (хотя непонятно, зачем для ремонта кровли кирпичи), а может быть, они там самозарождаются, зреют, спеют и, когда созреют-поспеют, осыпаются, как колосья какой-нибудь перезревшей пшеницы. Причем осыпаются они по неясной причине непременно кому-нибудь на голову. Что, безусловно, казалось бы странным, если бы не убедительная статистика».

Однако же удержаться в русле галантности, пусть и зазвучавшей внезапно с нотками гнусного похихикивания, словесному потоку, изливающемуся из недвусмысленно напоминающих о конечности всякого терпения песочных часов, неожиданным образом не удалось. Без всякого перехода, продолжая ту же строку, где сообщалось о статистике падения кирпичей на головы прохожих, словесный поток вдруг перескочил на язык набитой шпаной подворотни: «Ты, хрен моржовый, до тебя не дойдет никак, ***что*** ты должен?! Дело серьезное, хрен моржовый, тебя предупредили!» «Что» в предпоследней фразе было выделено курсивом и жирным шрифтом – чтобы смысл ее не был истолкован превратно, чтобы как кирпичом по голове; не насмерть, но весьма ощутимо: проникнись!

К. медленными движениями сложил жевано-мятый, словно подготовленный за неимением туалетной бумаги к употреблению в клозетном одиночестве, полноформатный лист с фигурой песочных часов пополам, еще пополам и опустил на стол. Он ничего не испытывал, никаких чувств – ни страха, ни паники, ни отчаяния. Ни единой мысли не было в голове. Минус 273 градуса превратили его в каменный кусок льда. Каменный и невообразимо хрупкий. Толкни его кто сейчас – так, чтобы упал, он бы, упав, разлетелся на тысячи мелких кусков. Это письмо, без сомнения, было ответом на его вчерашнее посещение особняка под сенью подстриженных деревьев, и с чем же он должен был прийти к ним, к чему он был не готов?

Вместе с тем никого рядом с ним, кто бы мог толкнуть его, чтобы он упал и раскокался на куски, не было, и, просидев так то ли пять минут, то ли десять, то ли час (К. потерял представление о времени), он неожиданно для самого себя поднялся, собрал со стола все свои бумаги и двинулся к выходу. Дойдя до двери, он

развернулся, прошел обратно к столу, положил на него бумаги, нашел среди них свернутый вчетверо жеваный лист послания, отправил его в потаенную тесноту внутреннего кармана пиджака и лишь после этого снова направился к двери. Знатно было бы, если бы вместе с ведомостью и листами билетов он сдал на кафедру и этот компромат на себя…

В залитой по-обычному обильным юго-восточным солнцем жаркой комнате кафедры было неожиданное столпотворение. Почти вся кафедра находилась здесь – те даже, кому незачем появляться сегодня, – и за своим столом в красном углу восседал сам завкафедрой.

– Ого! – невольно вырвалось у К. – Что случилось? Или у нас нынче заседание?

К нему обернулась вся комната. И все, словно вопрос, который он задал, был неприличен, глядели на него, не отвечая, и похоже было – не ответят: доходи собственным умом, в чем причина такого сбора. Из-за меня? – невольно и с неизбежностью, вмиг ощутив пудовую тяжесть послания с песочными часами в кармане, подумал К.

– Нет, что случилось? – заставил себя повторно спросить К. Он не был намерен, как тот вор, пока причина такой встречи оставалась неясной, палить свою шапку.

Завкафедрой за своим столом, со сцепленными перед собой замком руками, обвел собравшийся в комнате подведомственный ему коллектив медленным тяжелым взглядом.

– Что ж такое? – произнес он, не обращаясь ни к кому в отдельности – ко всем сразу. – Наш коллега в неведении: принимал экзамены. Надо, чтобы он знал.

Брать на себя роль вестника завкафедрой не считал возможным. Из-за меня здесь, охлестнуло К. почти уверенностью. Надежду, что ошибается, давало слово «коллега». Все же, наверное, если бы кафедра собралась из-за К., завкафедрой не стал бы называть его коллегой.

Ошеломив К., поспешила отозваться на призыв завкафедрой, опередив всех, секретарь кафедры.

– Ректора взяли! – сказала, как возвестила, современница Древнего Рима. – Прямо из кабинета, с автоматами, сейчас у него там обыск, кто был в приемной и кабинете – никого не выпускают.

Необычные энергичность и страстность, с которыми она говорила, непонятные, должно быть, никому в комнате, недвусмысленно были адресованы, видел К., ему. Она радовалась происшедшему, тому, что с автоматами, что обыск, и хотела поделиться сногсшибательным известием и своей радостью с К.

как со своим, хотела, чтобы он разделил с нею ее радость – единомышленник, соучастник, тайный товарищ.

И К., только она сообщила о ректоре, и вправду испытал чувство, которое можно было бы назвать радостью. Разве что совсем не от того, к чему призывала его современница Древнего Рима. Новость не имела отношения к нему, кафедра собралась не из-за него – вот что было причиной того похожего на радость чувства, что будто горячим ветром обдало его. К. вмиг сделалось даже жарко. Он тут же устыдился этого чувства, – и ничего не мог поделать с собой: не из-за меня!

– И… что? – спросил К., несколько спотыкаясь, обращаясь не к современнице Древнего Рима, а к комнате в целом. – Это имеет такое непосредственное отношение ко всем нам?

– Что вы имеет в виду? – строго спросил завкафедрой. Теперь он счел для себя возможным включиться в разговор.

– Ну вот… – снова запинаясь, сказал К., – все собрались. Из дому приехали.

– Да, – сказал завкафедрой, – это имеет к нам самое непосредственное отношение. Как иначе? Ректор университета. Мы где работаем?

– В университете, – вынужден был ответить К. – точно так, как еще недавно на его вопросы студенты на экзамене.

– Вот и все, что тут еще объяснять. – Завкафедрой оторвал от стола руки и развел ими. – Будет, вероятно, новый ректор, новая метла… но это другой разговор. Сейчас существеннее, какие круги пойдут по воде после ареста. Надеюсь, все понимаете?

Невнятный ропот, слабый гул голосов, в котором невозможно было понять ни слова, был ему ответом. Вероятней всего, то звучали одни междометия, что тут поймешь.

– Прошу всех быть предельно стерильными. – Завкафедрой обвел комнату пристальным, требующим взглядом. – Следить за собой – чтобы комар носу не подточил! Кто почувствовал около себя гниль – выжечь каленым железом! Кого угораздит вляпаться – пеняй на себя.

Это про меня, пролетело в голове у К.

– И что вменяется ректору в вину? – вырвалось у него невольно.

Показалось ему или нет, что благожелательно-улыбчивая складка губ, не оставлявшая лица завкафедрой, несмотря на суровый вид, все время, как он, К., появился в комнате, исчезла после его вопроса бесследно?

– Это для вас имеет значение? – Завкафедрой смотрел на него с холодной бесстрастностью, никакой дружественности во взгляде, никакой свойскости – чужой человек был перед К.,

незнакомый, словно бы и враждебный.

– Ну… я думаю… – потерявшись, сказал К., – это всех интересует.

– Не надо говорить за всех! – с поспешностью, кипяще подал голос один из преподавателей старшего возраста. Из тех, что задавали на кафедре тон, с мнением которых завкафедрой всегда считался. Он будто открещивался от К., порицал его и осуждал.

– Да уж. В самом деле. За всех-то!.. – подобием набежавшей на берег волны прошелестело по комнате.

– Случайно того, что произошло, произойти не могло. Были основания, – дождавшись, когда волна голосов спадет, взял наконец вожжи в свои руки завкафедрой. – Но нас, повторяю, должно волновать не это. Мы на кафедре ничего подобного допустить не должны. – Он снова обвел требующим взглядом комнату. – Всем все ясно?

Мне ничего не ясно, дятлом долбило в голове К. Как это можно не допустить? Но на этот раз он удержался от вопроса.

– Бог даст, пронесет, – отозвался на слова завкафедрой другой из стариков, и в голосе, каким произнес это, так и прозвучала непоколебимая уверенность в своей опорности, в непререкаемости его мнения, столь же весомого, как и мнение завкафедрой.

– Я предупредил, – словно и в самом деле опираясь на его слова, вставая на них, как на постамент, уронил завкафедрой. – Кто умудрится вляпаться… выкарабкивайся сам. Благополучие кафедры превыше всего. – После чего губы у него понемногу снова сложились в обычную благожелательно-улыбчивую складку. – Надеюсь, впрочем, что у нас на кафедре никаких недоразумений со стерильностью не возникнет.

Говоря это, завкафедрой смотрел не на К., но у К. было чувство, что завкафедрой специально не смотрит на него, а обращены эти слова именно к нему. Выкарабкивайся сам, выкарабкивайся сам, дятлом долбило в нем.

– Если что – сорную траву с поля вон, – клокоча гневной праведностью, проговорил первый из стариков, тот, что призывал К. отвечать лишь за себя.

К. поймал на себе сообщнический взгляд современницы Древнего Рима. И, будто подхватив ветром, его тотчас бросило к ее столу. Нужно было сдать ей ведомости, зафиксировать передачу в журнале, поставить подписи – плевое дело, но это плевое дело давало возможность, не вызвав подозрений, отстраниться от происходящего.

– Пожалуйста, – положил он перед современницей Древнего Рима лист ведомости. Тот оказался летуч и заскользил по

лаковой столешнице легким плотиком по водной глади. Руки К. и секретаря кафедры сунулись не позволить ему слететь на пол одновременно, ее рука оказалась чуть проворней, его же легла уже на ее – молодой розовый глянец на желтом, изжеванном годами пергаменте. – О, простите! – отдернул К. свою руку.

– Ну что вы, что вы! – благосклонно отозвалась современница Древнего Рима. Она взяла ведомость, вытянула из стопки у себя на краю стола распашную красную папку с крупной фиолетовой надписью «Для учебной части» и всунула разграфленный лист внутрь. Следом за чем поманила К. наклониться к ней и, когда К. исполнил ее пожелание, прошептала тихо – так, чтобы не услышал больше никто: – Он не покаялся!

– Кто? В чем? – не понял ничего К.

– Кого сегодня… Из-за кого собрались, – прибегла к эвфемизму современница Древнего Рима.

Теперь К. стало все ясно.

– В чем не покаялся? Почему ему следовало каяться? – спросил он.

Секретарь кафедры смотрела на него с недоумением.

– Раз он был под подозрением.

Был под подозрением! К. показалось, его проколотило током.

– Что это значит? – уверенности, что заставил голос звучать спокойно, у него не было.

– Вы не знаете? – Недоумение в глазах современницы Древнего Рима сменилось осознанием своего превосходства. – Да-да, вы недавно… «Под подозрением» – это под подозрением. И раз под подозрением, должен был покаяться… А так – чего же можно было ожидать!

– Ничего другого? – потерянно протянул К., выпрямляясь.

Современница Древнего Рима требовательно помахала рукой, призывая наклониться к ней обратно.

– Я знала, что сегодня его будут брать! – когда он вновь пригнулся к ней, торжествующе прошептала она. – Я знала, знала! Я ждала. Мне вчера сообщили. – В голосе ее билось счастье посвященности в тайну, которая для остальных – за семью печатями. – А вам нет, не сообщили?

– Мне нет, – коротко отозвался К.

– Это потому что вы недавно, – утешающее произнесла современница Древнего Рима. – Вы еще, видимо, не заслужили. Ничего, заслужите.

К. снова распрямился. Наклоняясь к современнице Древнего Рима по мановению ее руки, он не знал, что ему грозит, теперь ему это было известно.

– Как прошел экзамен? – обращаясь к К., спросил от своего

стола завкафедрой. – Неудов много?

К. смотрел на него – и никак не мог осознать смысла заданного вопроса.

Зато теперь он понимал смысл завершающей фразы в полученной им на экзамене цидуле: «до тебя не дойдет никак, ***что*** ты должен?!» Он понимал теперь, что он должен, понимал! Покаяться он был должен. Но в чем? Но как?! Наверное, вот и ректор не знал.

7. Инцидент

– Так а что, нужно покаяться, – сказал друг-цирюльник. И повторил на эсперанто (К., естественно, не знал, что за язык, но какой еще): – Пенти. Нецесас пенти.

– В чем пенти? – спросил К. – Можешь подсказать?

– Не все ли равно? – Друг-цирюльник проиграл своим подвижным актерским лицом, выразив пренебрежение к тонкостям проблемы. – Просто произнести «каюсь» – и все.

– А если бы это пришлось тебе? Так просто произнес бы – и все?

– Ну-у, – протянул друг-цирюльник, – если по-другому никак… что же, и произнес бы.

Они шли по набережной, строем живописных особняков парадно представлявшей распахнутому вдаль простору реки скрывающийся за этим строем бесцветный город, дневная пора по-обычному заполнила променадный асфальт набережной народом, брусчатые скамейки, что оказались в тени, отбрасываемой деревьями, все, без исключения, заняты, по малопроезжей дороге, отграниченной от пешеходной части зеленым газоном, проносились то и дело конькобежцы на роликах, скейтбордисты на своих похожих на толстые пальмовые листья досках. По реке навстречу друг другу плыли два больших, ослепительно, на фоне сине-стальной воды, белых теплохода, к причалу пристани вдалеке швартовался прогулочный речной трамвайчик, и резали речную гладь, таща за собой бело-кипящие усы бурунов, несколько стремительных, суетливых глиссеров. Неподалеку от этого места, где они сейчас шли, три дня назад К. получил ту первую цидулю, что ему доставил шкет в черных обшарканных шортах и разбитых сандалиях на босу ногу.

– Но я так не могу! Не могу! – отвечая другу-цирюльнику, воскликнул он с экспрессией. – Мне надо понимать, в чем я каюсь. А вдруг я каюсь в том, что собирался атомную бомбу взорвать?

– Ну уж, ну уж, – увещевающе проговорил друг-цирюльник. – Скажешь тоже. Абсурд какой. Кто тебя в такой дикости обвинять будет? Это у тебя уже фантазия разыгралась.

Впритирку мимо них, опахнув ветром и жаром движения, отталкиваясь одной ногой от асфальта, другой стоя на своем пальмовом листе, промчался скейтбордист с игрушечным рюкзачком за плечами – заставив обоих запоздало шарахнуться в сторону.

– Шантрапа! – вырвалось у друга-цирюльника. – Дает, а?! –

посмотрел он на К. – Мало ему на дороге места, надо, где люди ходят!

Это было еще экспрессивней, чем восклицание К. в ответ на его предложение покаяться, и у К. вырвался невольный короткий смешок:

– Зацепило? Вот и меня. Вербальное воздействие, представляешь, что такое?

– Представляю, представляю. – Другу-цирюльнику было уже неловко за свою внезапную горячность. – Но при чем тут вербальное воздействие?

Случайный смешок, прощекотавший К. горло радостными толчками воздуха, уже отлетел от него, не оставив по себе и следа.

– Помнишь, что гласит народная мудрость? Назвался груздем – полезай в кузов. Покаялся – значит, виноват. В чем, почему – неважно. Виноват!

– Передергиваешь. – Подвижное лицо друга-цирюльника всеми своими мимическими мышцами сообщало о категорическом неприятии мнения К. – Поговорка про груздь совсем не об этом. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Вот что имеется в виду.

К. остановился. Острой до нестерпимости обидой неожиданно пронзило его. Не затем он вызвал друга-цирюльника на встречу, чтобы тот так свысока судил его.

– Зачем ты говоришь «передергиваешь»? – вырвалось у К. – Я могу сказать о тебе: ты передергиваешь. Ты считаешь таким образом, я по-другому. Ты полагаешь: идти и каяться. Я не уверен. И не хочу. Мне, мне это нужно сделать! Не тебе.

Принужденный остановиться вместе с ним друг-цирюльник задергал своим длинногубым ртом, повинно заморгал.

– Что ты, что ты… извини, пожалуйста. Не хотел тебе ничего обидного… Я тебя понимаю, что ты! Тебе… поставить в себе перегородку надо. Представить, что это и не ты… есть такой способ. Как в панцире будешь – не пробить.

Тот же скейтбордист, что пару минут назад обогнал их, заставив прянуть в сторону, катил теперь обратно. Неутомимым кривошипом, отталкиваясь от асфальта, работала его нога, он ловко лавировал между прогуливающимися, галсы не замедляли его движения – искусный был скейтбордист. Теперь, когда он летел навстречу, можно было увидеть, что это еще совсем молодой человек, студент второго курса – что-то так по возрасту, из ушей к карману его шорт подобием латинской «Y» струился белый проводок, он был не просто любителем скейтборда, но считал нужным наслаждаться скоростью еще и под музыку.

– Ох, шантрапа, – полным сдерживаемого негодования голосом выцедил друг-цирюльник. – Наплевать на всех, хоть по головам, дайте потешить душу!

– Да бог с ним, что тебе, – нехотя отозвался на его ворчание К. – Не мешает он никому.

– Нет, шантрапа, шантрапа, – как бы вняв увещеванию К., но не меняя своего мнения, пробормотал друг-цирюльник.

И будто в насмешку, будто в наказание за его недовольство, виртуозно объезжавший всех скейтбордист – непонятно, как это вышло, – наехал на них, с размаху влепил себя в К. и друга-цирюльника. Скейтборд взлетел и пролупцевал по коленям, а наездник, едва не снесший их с ног, чтоб не упасть самому, судорожно взмахнув руками, схватился за К. и друга-цирюльника (К. почувствовал, как продрали по шее его ногти), повис на них.

– Да что такое! – вскричал друг-цирюльник. Он принялся отдирать от себя руку скейтбордиста. Но тот не отцеплялся. Похоже, он был в шоке и боялся, что, оставшись без опоры, не устоит на ногах. – Да в самом-то деле! – воскликнул друг-цирюльник, ударив скейтбордиста по бицепсу ребром ладони.

– Да вы! Что! – корчащимся голосом заблажил скейтбордист. Друга-цирюльника он отпустил, но за К. по-прежнему продолжал держаться.

Невозможно было выносить это дальше. К. отжал руку скейтбордиста вверх и, пригнувшись, рывком прокрутился под нею, будто вывинчиваясь из ее обхвата. Что-то упруго повлеклось за ним, мешая освободиться – словно бы натянулась некая жила, К. придал рывку дополнительное усилие – и вслед за обретенной свободой услышал увесистый бряк какого-то предмета об асфальт. Чтобы тут же наступить на него. Нечто хрупкое, непрочное с сухим стрекозиным треском продавилось и разломилось под его каблуком.

Что упало и попало ему под ногу, стало понятно мгновение спустя из истошного вопля скейтбордиста. Это рука К. попала под шнур наушников и, вытянув их из ушей скейтбордиста, выдернула из кармана его шорт, оказавшегося излишне просторным и мелким, и сам смартфон.

– Айфон! Айфон! – вопил скейтбордист. – Сломали мой айфон! Что вы сделали! – Он бросился на колени и осторожно взял раздавленную пластину смартфона обеими руками в горсть, словно то была сама его разбитая душа. – Сломали! Сломали! – приговаривал он, стоя на коленях. Вскочил неожиданно и бросился на К. – Вы меня лишили айфона! Ограбили!

Вокруг, видел К., как в воде (окружающий мир зыбился и плыл), собралась уже толпа. Полиция взялась ниоткуда, будто

возникла из воздуха. Сразу трое, а не двое, как они ходили обычно, полицейских, все как на подбор – могучие ребята с воловьими шеями.

– Они лишили меня айфона! Ограбили меня! Бандиты! – обращаясь к полицейским, стонал скейтбордист. – Я его только что купил! Совсем только что! Я его даже еще не успел освоить!

– Бред какой! Кто его грабил? Все не так!.. – волнуясь, не желая того, и против желания срывающимся голосом, принялся объясняться К.

– Он на скейтборде! Он на нас налетел! – пылая возмущением, перебил К. друг-цирюльник.

– Он на вас налетел? – с неверием оглядывая их, откликнулся один из полицейских. – Не вижу никаких следов.

– Посмотрите! – отвернул ворот рубашки К. Шею саднило, он не сомневался, что увидеть следы ногтей, оставшихся от скейтбордиста, не составит труда.

Полицейские, однако, не проявили к его шее никакого интереса. Только один из тех двоих, что до того не подавали голоса, проронил порицающе:

– Что же, если налетел, за это нужно смартфоны ломать?

Проследуем, разберемся, участок, не нужно нервничать, чего вам бояться, если вы правы, – приплывал, доносился до К. из окружавшей его воды говор полицейских. И вот они уже шли с другом-цирюльником через газон, ведомые полицейскими, державшими их за локоть, к патрульным полицейским машинам, неожиданно оказавшимся неподалеку – в десятке метров на дороге, – а этот студент второго курса, со скейтбордом под мышкой, с рюкзачком и почившим смартфоном в руках, шел впереди, и шел сам, его никто не вел. Перед тем как нырнуть на заднее сиденье в машину, К., понуждаемый непонятным желанием, приостановился и оглядел покидаемый пейзаж. Народ вокруг, алчно возбужденный возможностью лицезреть захватывающее действо, торжественно безмолвствовал, теплоходы на реке, плывшие встречными курсами, разминулись и уже отошли друг от друга на добрую сотню метров, речной трамвайчик пришвартовался, лишь глиссеры все так же резали водную гладь белыми усами бурунов.

Имя, фамилия, отчество, возраст, место проживания, место работы, номер индивидуальной карты стерильности, с казенной бесчувственностью размеренно спрашивал полицейский в участке, оформляя протокол задержания К. И никто им больше, после того как протокол был составлен, не занимался.

К. ожидал: вот еще пять минут, вот еще, ну десять, двадцать наконец, – и замок на решетке отомкнут, его выпустят, но минули

и двадцать минут, и час, час проходил за часом – а до него никому не было дела, казалось, о нем забыли; как заперли здесь, так он и сидел. Где друг-цирюльник, К. не знал. Возможно, где-то в другой камере. Их разъединили, только доставили сюда, и больше К. его не видел. Вот скейтбордиста, того он видел. Скейтбордиста отпустили. Двое полицейских, поджимая К. с боков и как бы так подгоняя, вели его из комнатки, где оформляли протокол задержания, в камеру, и на выходе из участка, взявшись уже за ручку входной двери, приоткрыв ее в готовности шагнуть за порог, переговаривался с сидевшим за бронированным стеклом дежурным, светясь свойской улыбкой, он, скейтбордист. Ни в голосе его, каким говорил, ни на лице не было и следа того отчаяния, с которым он сокрушался по сломанному смартфону. Застигнутый взглядом К., он было смутился, но тут же повернулся к К. спиной, на которой вновь со стильной уютностью пристроился фасонистый рюкзачок, бросил дежурному за стеклом еще какое-то слово (попрощался, должно быть) и вышагнул за порог.

Наконец ожидание неизвестно чего, неизвестно когда сделалось невыносимым.

– Э-эй! – крикнул К. – Кто-нибудь!

Камера, в которую его посадили, была в тупике, ничего здесь участковому люду не было нужно, ни единая душа не заглянула сюда за все время, только иногда из-за выступа стены выглядывал кто-нибудь из полицейских и, удостоверившись, что К. все тут, исчезал. И сейчас на крик К. никто не поспешил, словно никого не было в участке, все исчезли неизвестно куда, и он вынужден был снова подать голос:

– Кто-нибудь! Кто там есть?!

Вечность прошла после его крика. Но на этот раз она все же оказалась не бесконечной: доступная взгляду К. из камеры часть окна за поворотом коридора – узкая вертикальная полоска, единственная его связь с оставшимся за порогом участка внешним миром – заслонилась ленивой фигурой полицейского, и из того изошло:

– Что такое? Сиди давай!

С чем фигура его и исчезла.

К. затряс решетку. Железные прутья были толщиной с палец, мертво вделанные в пол и потолок, они и не шевельнулись, – он протряс не решетку, а сам себя. К в исступлении отскочил от нее, ударил по решетке ногой – подошвой ботинка. Раз, другой, третий. Прутья завибрировали, металл отозвался глухим низким гудом.

– Вы! Кто там!.. – заорал К. – Подойдите! А то я вам тут…

Он имел в виду, что продолжит буйствовать, не даст им покоя, если к нему так никто и не подойдет; они там, невидимо для него коротавшие свою службу где-то около помещения дежурного, поняли его вопль по-своему, – должно быть, поэтому ждать их появления на этот раз не пришлось. Узкая полоска окна вновь заслонилась фигурой, промельк света – и заслонилась другой, и обе фигуры двинулись по коридору к клетке, в которой сидел К.

– Хулиганим? – с добродушно-домашней, мирной интонацией проговорил тот, что шел первым. И без размаха, словно бы хлыстиком-прутиком, секанул дубинкой, что держал в руках, К. по пальцам на прутьях. Боль, пронзившая К., была такая – из глаз брызнули слезы, крик вырвался из него. Ему показалось, пальцы переломаны – костей не собрать никакому хирургу. – Нехорошо хулиганить, – тем же мирным, дружелюбным голосом завершил свое поучение полицейский.

– Вы… вы… – с трудом выговорил К. – Пальцы, когда он попробовал пошевелить ими, оказались всё же все целы. – Я хотел узнать… почему я сижу здесь?

– Заткнись! – оборвал его тот, что шел вторым. – Устроишь нам здесь сортир – сам же и мыть станешь. Голыми руками. Мы умеем заставлять! – В его голосе не было никакой домашности, свирепая беспощадность звучала в нем.

– Сортир? – К. плохо соображал от боли. – Что вы такое… откуда взяли? Я хочу знать, что вы меня держите? Почему не снимите с меня показаний, как все было?

– Козел! – проигнорировав его вопрос, процедил полицейский, что велел К. заткнуться. – Помочишься здесь или еще что хуже – языком все вылижешь!

Ах же ты, сообразил сквозь утихающую боль в пальцах К., это они так истолковали его угрозы, что он будет буйствовать!

– Сиди, чего тебе. В туалет нужно – выведем, – тот, что хватил К. дубинкой, держался все прежнего, мирного домашнего тона. – Займутся тобой, когда нужно будет.

Они удалились обратно в свое привратное обитание около помещения дежурного, К. еще постоял-постоял у решетки – и отправился к обтянутому кирзой топчану у стены, сел на него, а потом и лег. Единственно, что он снял пиджак, бросил его в ногах, расслабил, снял галстук, бросил сверху пиджака и вытащенным из нагрудного кармана платком закрыл, когда лег, лицо. Так просилось: отгородиться от мира, свернуться улиткой в раковине. Подумать только, всего лишь сегодня утром то было, когда, собираясь на экзамен, надел эти пиджак и галстук, вложил в карман франтоватый, в тон галстуку шелковый платок – чтобы

выглядеть строго и парадно…

Когда потерявший счет времени К., сдернув с лица платок, вновь сел на топчане, камера, коридор за нею оказались погружены в мерклый, дерущий глаза наждаком песочный электрический свет, еще более тусклый, чем в приемной того особняка, где он был вчера. Узкая же вертикальная полоска окна вдали густо налилась чернилами, и из фиолетовых они уже превращались в черные. Ночь! Ночь собиралась воцариться в том, зарешетном мире. А они встретились с другом-цирюльником после звонка К. – день еще был в разгаре, солнце катилось по южной стороне света.

– Э-эй! – как в прошлый раз, громко позвал К. – Э-эй, в туалет мне! Срочно!

В туалет ему теперь было нужно, это так. Но больше того ему хотелось вырваться, за пределы решетки – хоть на пять минут, хоть на минуту.

Обещание, данное полицейскими, было выполнено ими безоговорочно и без промедления. Возникли из-за угла, прошествовали своей полной самоуважения и достоинства походкой к зарешеченному узилищу К., отомкнули, волшебно прозвенев ключами, дверь, распахнули – и выпустили его.

К. шел по коридору – и было ощущение, он не ходил так вечность. Вечность, бесконечность, неизвестно когда он ходил так… Угол, из-за которого появлялись полицейские, приближался мысом долгожданной суши после нескончаемо долгого плавания по океану. И вот ноги вывели к нему, открылся прекрасно-вольный простор залива – придверного пространства с забранным цельным листом бронированного стекла помещением дежурного на одном из его берегов. За стеклом сидел полицейский с россыпью мелких звездочек на погонах, на рядке стульев у противоположного берега залива, будто на прогулочной яхте, развалившись, томился бездельем еще один полицейский – тот, который прищучил К. дубинкой по пальцам. Он взглянул на К. с безучастностью стража, безмерно уставшего от своей бдительной службы, однако готового к истовому отправлению предписанных обязанностей, как только в том возникнет нужда. Странно, подумалось К., когда их сцепившиеся с полицейским взгляды расцепились, а почему так пусто в участке, и, кажется, никого за время, как он здесь, больше не приводили. Неужели за те часы, что он в участке, на территории, подведомственной тому, не произошло больше ни одного правонарушения?

Русло коридора уперлось в лестницу, по которой К. водили на второй этаж составлять протокол. В стене слева перед выходом к лестнице глазам объявилась коричневая плоская дверь с

короткой черно-стеклянной табличкой на ней: «Туалет». Один из сопровождавших К. полицейских щелкнул выключателем около двери, из черной щели между дверью и косяком ударило зажегшимся внутри светом. В закуток с умывальной раковиной, предваряющий собственно камору туалета, вслед за К. втиснулись оба стража, и когда К. попробовал закрыть за собой дверь, не позволили ему затворить ее до конца, подставив ноги.

– Ничего, ничего, – объявили они ему. – Все мужики, кого стесняться.

Туалет был отвратителен. Крышка на бачке отсутствовала, и все его нехитрое проволочно-петлястое устройство, возглавляемое большим черным поплавком на поверхности низко стоящей воды, было неприятно открыто взору. Унитаз в ржавых потеках, тянувшихся из сливного отверстия через все его фаянсовое лоно к стоку застывшим водопадом, не чистился, похоже, с момента установки десятки лет назад. Странно, как странно, снова подумалось К., если бы кого-то за время, что уже провел здесь, приводили, то он бы услышал – топанье ног, голоса, – но ведь нет, ничего такого в помине. А может быть, ударило его, и друга-цирюльника нет здесь? Ведь отпустили же скейтбордиста… почему отпустили?

– Э-гей, ты! – погрохотали в дверь. И она взвизгнула, открываясь шире. – У тебя там лохань вместо мочевого пузыря? Или ты, как лошадь, уснул стоя?

К. не ответил, хотя так и просилось. Удержись, удержись, заклинал он себя.

Не удержался он, когда русло коридора вновь вывело его в залив холла при входе. Как странно, как странно, звучало в нем. Никого вокруг, пустыня, не участок, словно всё тут и все – только для того, чтобы содержать в этой зарешеченной камере его, К.

Мгновения, когда хватил от своих стражей к сидящему за бронированным стеклом дежурному с капитанскими погонами на плечах, в памяти К. не отложилось. Вот он влечет себя по пространству холла, миновал половину его – и вот уже около квадратного распашного окна в этом бронированном стекле, лезет в него, пытаясь просунуться туловищем внутрь, и, обдирая гортань наждаком, с языка, с тем же исступлением, что тогда, когда сотрясал прутья решетки, срывается – ревом и хрипом:

– Выпустите меня! Не смеете! Вы не полиция! Вы не!.. Не вы… вы!..

Сила, которой он не мог противостоять, выдернула его из окна наружу, до огненного фейерверка в глазах ударив затылком о верхнюю кромку стекла, скрутила руки за спину, пригнула книзу, так что почти уткнулся себе в колени, – это, несомненно,

были полицейские, что сопровождали его в туалет и от которых он столь неожиданно для них и резво сумел урвать.

От фейерверка в глазах К. потерял ориентацию. Его куда-то вели – он не понимал куда. Ноги у него заплетались, К. не удержался на них и повис на завернутых назад руках. Боль в плечевых суставах разом отозвалась во всем теле, тьма хлынула в сознание, он услышал истошный крик, бывший его собственным криком, но в тот же миг и перестал слышать его.

Когда слуху вернулась способность различать звуки, глаза стали видеть, К. обнаружил, что лежит на полу посередине коридора на полпути к камере, никто его не держит, а над ним, возвышаясь горой, касаясь лица подолом черной юбки, отделанным кружевами, стоит дородная женщина, и голова ее далеко вверху увенчана форменным красным беретом службы стерильности.

– Голубчик! Слава богу, пришел в себя, а мы уж разволновались, – глубоким грудным голосом произнесла гигантша. Это был не просто глубокий грудной голос, ласково-снисходительное добродушие звучало в нем, исходящее сочувствием порицание, – *женщина* стояла над К., самое ее воплощение, мадонна, готовая взять на руки своего падшего сына и не берущая лишь по причине его великовозрастной неподъемности.

– Поднимайся давай! – материализовавшись из тумана, продолжавшего одевать собой мир, возникли над К. полицейские. Подхватили его под руки (не выламывая их, нет, именно подхватили!) и вмиг вознесли на ноги. Мадонна в красном берете из гигантши сразу превратилась в нормального роста женщину, может быть, чуть лишь повыше самого К., разве что очень дородную. Даже, пожалуй, избыточная гаргантюазность, пантагрюэлистость была в этой ее дородности. Длинная ее черная юбка оказалась платьем – шелковое оно было, что ли, все блестело, переливалось, туго обхватывало ее грандиозное тело, и все, как подол, на груди, на поясе, на плечах тоже отделано тонкими кружевами.

– О, ну вот, ну слава богу, – снова помянула бога мадонна в берете, – так лучше, приятней на вас смотреть. А то что же – разлеглись здесь, на полу, фу!

Кто это была? Что здесь делала? Откуда взялась? Сколько времени он пролежал так без сознания?

– Я здесь не специально разлегся, – профальцетил К. – голос срывался, горло после крика драло, как нажевался перца.

– Но уж нельзя же так. Что же так-то. Вести себя разве так можно, – с прежним, исполненным сочувствия порицанием

сказала мадонна. – Мальчики тоже перепугались… им эксцессы всякие тоже не нужны, зачем им.

– Перепугались, ага! Ужас, ужас! – согласно подхихикнув, с удовольствием подтвердили полицейские.

К. подвигал плечами – нет, суставы были не вывихнуты – и попытался высвободиться из рук полицейских. Полицейские, однако, не отпустили его.

– Что они меня держат, – пожаловался он мадонне. Она, понял К. диспозицию, была старшей в их группе. – Хватит уже.

– Да мальчикам тоже очень хочется – держать вас, – ответствовала мадонна. – С удовольствием бы вас отпустили. Только надо же вести себя… Прилично надо вести себя!

Ее появление обещало несомненное изменение в его положении, и К. чувствовал в себе готовность к смирению.

– Я бы хотел, чтобы мной занялись, – сказал он. – Моим делом… Объяснили мне наконец… чтобы я мог объяснить… объясниться… мне чтобы…

Косноязычие правило его речью.

Мадонна смотрела на К. добросердечным, одобрительно-журящим взглядом. Милостивая царица, полная великодушия и участливости, смотрела на него.

– Мальчики, отпустите его, – повелела она. – Он больше не будет. Ведь не будешь, да? – с неожиданной свойскостью снова обратилась она к К.

Говоря это, она придвинулась к К., голова ее, увенчанная красным беретом, сидевшим на ней с кокетливостью шляпки, была еще далеко от К, а живот ее уже коснулся его, и не просто коснулся, а туго надавил, уперся, вжался в К., и он к своему ужасу мгновенно отозвался на это ее прикосновение острым желанием. Столь же бритвенно-острым, сколь и неожиданным.

– Если мной… моим делом… зачем мне тогда, – ответил он своим сорванным, слетающим на фальцет голосом.

– Он не будет. Отпустите его, – окончательно повелела полицейским мадонна. Впрочем, она уже была не мадонной. Царицей она была. Самовластной, но великодушной и милостивой.

Руки полицейских, с радостью ощутил К., перестали держать его, а следом за тем царица с красным беретом-шляпкой на голове вместо короны бросила:

– Держимся за мной! – и, повернувшись (сделав это так, что ее большое тело не оставило своим касанием К.), тронулась по коридору в дальний его конец, к лестнице.

Подол ее длинного шелкового платья колыхался на каждый шаг из стороны в сторону, ходили, подрагивая, из стороны в

сторону ее просторные бедра, К. шел за ней – и не мог отвести взгляда от ее скрытых блестяще-прозрачной материей широких окороков, сознание помимо воли снимало с них все покровы; огонь неожиданного вожделения сжигал его нестерпимым жаром. Грандиозна, но одновременно и грациозна была подрагивающая бедрами впереди царица.

Дверь, перед которой на втором этаже остановилась царица, имела в отличие от той, за которой К. уже пришлось побывать, и других, мимо которых прошли, не обычный, с ключом и скважиной, а магнитный замок.

– Мальчики, вы покараульте здесь, – проведя картой вдоль прорези замка и приотворив щелкнувшую стопорным механизмом дверь, повелела полицейским царица. После чего взгляд ее переместился на К. – Заходи, – повелела теперь она ему, кивая на дверь, предлагая К. своим кивком опередить ее и войти первым. Разница, впрочем, была между тем, как повелела она полицейским и ему: полицейским – с рутинной интонацией властительного распоряжения, ему – с той ласково-снисходительной благожелательностью, что сквозила в ее голосе по отношению к нему с первого мига.

К. нажал на дверь, открывая в полный раствор, ступил вперед – и, пораженный, замер. Произведение дизайнерского искусства являла собой комната. Белые бегемочьи туши двух диванов расползлись по ее пространству в готовности принять в свои уютные кожаные недра седалища, коим то будет дозволено, войлочноствольные пальмы в керамических кадках возносили к потолку опахала сочноэдемских листьев, на массивных столешницах из дымчатого закаленного стекла низконогих журнальных столов лежали, сверкая глянцем обложек, кофейные альбомы и иллюстрированные журналы. На безукоризненно выглаженных полутёрком штукатура и окрашенных в слоновый цвет стенах висели картины – пейзажи, натюрморты, абстракция, – а места схождения стен представляли собой такую бритвенную прямую – казалось, если бы это была не внутренняя сторона угла, им можно было порезаться.

– Что встал? – произнес за спиной голос царицы. Ее крупное тело подтолкнуло его животом двинуться дальше. Легонько, должно быть, подтолкнуло, а К. так и кинуло вперед. Несоизмеримы были их массы, его и ее. – Шевелись! Не стесняйся. Дай зайти.

К. сделал еще шаг, услышал за спиной тук-ток ее каблуков, и дверь громко и звучно всклацнула замком. Он обернулся. Царица, в своем красном берете-шляпке-короне, стояла на расстоянии этого сделанного им шага и смотрела на него с беспощадной

плотоядностью.

– Что смотришь так? Что смотришь? – произнесла она с той же плотоядностью, что была в ее взгляде. Егозисто – при ее-то пантагрюэльности! – ступила к нему, вновь упершись в него животом, и потерлась им о К. – Хочешь большую женщину, да? Любишь больших женщин? Любишь? Любишь? Скажи!

К. потерялся. Все это было и неожиданно, и никогда у него не было никаких больших женщин, и странно и дико было, что испытывал такое вожделение к ней, и еще стыдно перед привередой…

И однако же, в руках он себя держал.

– Я бы хотел знать, почему я… с какой стати я… – начал он.

Слова будто не давались на язык, будто разбежались неизвестно куда, и приходилось вытаскивать каждое на белый свет из каких-то потайных нор.

– Что знать, зачем знать? – мгновенно перебила его царица. – Любишь больших женщин? Хочешь большую женщину? Вижу-вижу – хочешь! Ах ты какой, ах ты!..

Говоря это, она все теснила К., он вынужден был отступать, уперся сзади во что-то подколенной ямкой и еще не успел сообразить, что это диван, – царица толкнула его в плечи, и, взмахнув руками в попытке удержаться на ногах, он полетел назад, отпружинил от спинки, съехал по ней и, хлюпнув чревом белого бегемота, оказался утопленным в нем.

Что за бред, что такое, билось в К., он боролся с объявшей его пружинной трясиной, пытаясь выбраться из ее глуби на край сиденья, но прежде чем сумел это сделать, царица, двигаясь все с той же егозистой тяжелой грациозностью, очутилась у него на коленях. Властно, с хозяйским правом обвив его рукой за шею. От груза ее тела ноги ему тотчас заломило. Однако этот свалившийся на него груз будто подхлестнул его вожделение, К. перестал себя контролировать. Он обнаружил, что и сам обнимает ее, притягивает к себе, гладит – и не может себя удержать от этого, и руки хотят не просто обнимать, не просто гладить, а большего: нырнуть под платье, добраться до тела, ощутить его живое тепло…

– А? Как тебе большая женщина? Есть что подержать? – с поощряющей чувственно-снисходительной улыбкой прожурчала царица. – Есть что? Есть, да?!

При этом она играла мыщцами ягодиц – словно бы волны прокатывались по коленям К. – и даже попрыгала, сотрясая его. Плоти К. в теснине мотни от вожделения сделалось мучительно и сладостно больно, и вот рука его – он не заметил как – оказалась у нее на груди, он сжимал ее снизу, пытаясь захватить всю…

– Вот как, вот как! – все так же поощрительно проворковала царица, прошевелив ягодицами с особой бурностью, но в следующее мгновение вдруг схватила его руку и отбросила от своей груди. – Ты что это, а?! – возмущенно воззрилась она на К. Убрала с его шеи свою руку, уперлась ему в плечо и, оттолкнувшись, поднялась на ноги. – Ничего себе! Тискаться он! Набросился! Вот так сразу – и да! Ты зачем здесь? Ты почему? Ты забыл?

Ушат ледяной воды пролился на К., промочив до нитки и окатив ознобом. Какой стыд – поддаться в его положении этому вожделению!

– Да? Зачем я здесь? – сказал он, сумев наконец освободиться из хватких объятий дивана и вслед за ней поднимаясь на ноги. – Я это вот и хочу понять.

– Чтобы осознал кое-что, вот для чего! – обдала она его новой порцией гнева.

– Да что я должен осознать, что?! – Свернувшееся клубком, жалко скулящее вожделение отползло в темный угол, исчезло, и на его место живо вымахнуло бешенство, столь безраздельно владевшее К., перед тем как ему потерять сознание.

– Покаяться нужно! – как оглашая указ, провещала царица.

«Покаяться» – в этом не было неожиданности, это уже было знакомо К.

– В чем? – вопросил он не без язвительности.

– А не понимаешь? – в тон ему, но с величественностью, отозвалась царица.

– Нет, – с резкостью ответствовал К.

– А ты возьми и просто покайся. – Интонирование ее голоса вдруг переменилось. В одно мгновение властительница его судьбы (она была властительницей, кем еще?) снова сделалась той, которая так странно распалила К. Она опять надвинулась на К. своим большим телом и, касаясь его, словно бы сама исходя вожделением, жадно повела животом из стороны в сторону. – Не понимаешь – и не надо. Давай без понимания. – Она взяла его руку и наложила себе на грудь. – Кому нужно понимание? Никому не нужно понимание. – Живот ее был вот тут, он ощущал его жаркую тугую телесность, а голова, увенчанная красным беретом, была вдали, казалось, двум разным людям принадлежали тело и голова. – Хочешь большую женщину? Будет тебе большая женщина. Покайся, покайся! Были у тебя большие женщины? Не было большой женщины – считай, не знал женщин. Только большая женщина – настоящая женщина!

Но все, наваждение, владевшее им, оставило К. Ушат ледяной воды остудил его. Он хочет большую женщину? Не царица,

толстомясая гетера, изображающая из себя порфироносную цирцею, стояла с ним рядом. Он отнял руку от ее груди – она было попробовала удержать руку, но не вложила в это действие слишком большого усилия. Впрочем, отстраниться от нее он не решился.

– Вы все подстроили. С этим скейтбордистом. Чтобы меня сюда притащить. Чтобы в камеру… – К. начал облекать в слова внезапно осенившее его подозрение и, лишь сформулировав мысль, осознал смысл своей догадки.

– Да, видишь, как нехорошо в камере-то, – сказала она. – Нужно тебе это – сидеть в камере?

– Выпускайте меня, – требующе проговорил К. – Никаких оснований для задержания меня у вас нет.

И вот теперь, не заметив даже, как это произошло, наконец отстранился от нее; вот она еще напирала на него – а вот уже нет. Пантагрюэлистое тело ее проиграло словно бы мелкими змеиными волнами – как если бы она намеревалась вновь двинуться на него, но не решилась. Она не решилась!

– Это с какой стати тебя выпускать? – спросила она. Не царица, нет, – толстомясая гетера. – Кто тебя должен выпускать?

– Вы, – сказал он.

– Кто это «вы»?

– Вы, – отвечая ей голосом, что не разделяет их – ее и структуру, которую она воплощает собой, – ответил К. – Это же не настоящий участок. Имитация. Не имеете никакого права держать меня здесь.

– Покайся, – исторглось из нее. Как будто она оглашала не условие, а приговор. Судья в облике толстомясой гетеры. Судья-пантагрюэльша. – Иначе не выйдешь.

Решение пришло к К. словно само собой. Он даже не успел подумать – уже говорил:

– Хорошо. Остаюсь здесь. Мне здесь нравится. Заночую здесь. – Бросился с размаху на принявший его с мягкой упругостью диван и растянулся на нем. Заложил руки за голову. – Очень хорошо. Недурное местечко. Остаюсь. Согласен.

– Болван! – вырвалось у пантагрюэльши. Однако же ошеломление ее долго не длилось. – Так тебе, болвану, и будет позволено! Большую женщину он захотел, видишь ты! – Это была уже не гетера даже, а вульгарная крупнотелая бабища с рынка. – Большую женщину ему!.. – Прокатила тук-ток своих ног к двери, распахнула ее и гневно воззвала к ожидавшим там полицейским (которые, скорее всего, в своем истинном облике носили на голове такие же красные береты, как у нее.) – Живо сюда! – Подошвы их грубых ботинок заблямкали по коридору, ворвались

в комнату, и она, указывая с порога на К. пальцем, повелела: – Выкиньте его отсюда. Совсем, совсем! Мордой об асфальт!

8. Фантомас

В приемной травмпункта было столпотворение. Заняты все стулья, на широком подоконнике единственного окна тоже сидели – впритык, тесня друг друга плечами, а нескольким ожидающим врачебного приема места не досталось, и они подпирали стену, кто плечом, кто спиной. Почти все разговаривали друг с другом, многоголосый гул стоял в небольшой, похожей на коридор комнате, и К. удалось занять очередь далеко не с первого своего вопрошания.

Что такое, почему столько народа, задал он вопрос пожилой даме, за которой занял очередь – вполне пристойной наружности, однако со вспухшей, съехавшей набок верхней губой и в разорванной на плече блузке, разошедшиеся концы которой были вульгарно скреплены английской булавкой, – словно она прибежала сюда прямо после похабной кухонной битвы с привыкшим распускать руки благоверным.

– А вы что, не оттуда? – ответно спросила дама. Ей было неловко за свой вид, и, разговаривая с К., она старалась одной рукой прикрыть разверзшуюся прореху на блузке, другой – висевшую брылой вздувшуюся губу, не получалось прикрыть ни то ни другое, но так ей было легче переносить свой позор.

– Откуда «оттуда»? – не понял К.

– Не с площади разве? – снова спросила дама.

– Нет, не с площади, – сказал он. – А что такое?

– И ничего не знаете? – Дама изумилась. Осуждение прозвучало в ее изумлении. – Вы так выглядите – я была уверена, вы с площади.

Просвещать, однако, К. ей уже не пришлось – этим, перебивая друг друга, занялись сразу несколько человек, слышавших их разговор, и пару минут спустя К. имел полное представление, почему в столь позднюю пору в травмпункте такая пропасть народа и почему дама, за которой он занял очередь, решила, что он «с площади».

Она имела в виду ту самую круглую площадь перед зданием мэрии, где два дня назад проходила репетиция торжеств, посвященных Дню стерильного детства, а они с привередой, сидя в кондитерско-кофейном заведении Косихина, наблюдали за ней. И сегодня, оказывается, снова была репетиция – последняя, генеральная, а у службы стерильности была репетиция своя. Точнее, у оперативников службы стерильности. Школьники отрабатывали ход празднества, оперативники – свои действия на случай, если бы на площади произошли беспорядки.

«Я просто стоял, глядел, – делился происшедшим с ним сверстник К., простецкого вида, с взлохмаченной головой, лоб у него, уходя под волосы, украшала изрядных размеров шишка, левая рука висела на самодельной перевязи из цветной тряпки. – Вдруг – бац по локтю, потом уже понял – дубинкой, боль такая – я заорал, так мне еще раз, еще, и вон, – показал он на лоб – кулаком еще, у меня натурально темно в глазах стало, я испугался – ослеп…»

«Я вообще мимо шла, – накладывалась на его излияния своими девушка студенческого вида, К. казалось даже, что лицо ее знакомо ему по университетским коридорам. – Мимо шла, по тротуару. Вдруг у меня рюкзак с плеча… я думала – грабитель, ухватилась за лямки, закричала… мне руки за спину, к стене меня, ноги в стороны, и по ребрам, а кулак у него…»

«А меня совсем на площади не было. На улочке там неподалеку, жену ждал, уже увидел, пошел навстречу, – вплетал в их рассказы свой голос толстый пожилой мужчина в сетчатой пенсионерской тенниске, на которой в нескольких местах откровенно отпечатались рубчатые подошвы крепких ботинок. – И мне тоже вдруг, прямо на ходу, руку за спину, подсекли, я со всего размаху… я сознание потерял, у меня сотрясение мозга!» Пушок редких седых волос на макушке был у него в кровяной коросте, в красно-коричневую коросту превратилась кровяная струйка, что текла по виску и дальше на шею.

К. – почему дама со вспухшей губой сочла его причастным к событиям на площади – также был в боевой раскраске: нос, лоб, подбородок – разве что раны у него были посвежее. Одетые в полицейскую форму служители стерильности поступили с ним точно в соответствии с полученным указанием пантагрюэльши – «мордой об асфальт!»: К. летел с крыльца мнимого полицейского участка вниз головой, и, когда приземлился, по инерции его еще протащило по асфальту – кожу на лице содрало, как теркой.

– Но выглядите вы действительно, словно с площади, – сказала К. девушка студенческого вида. – Словно вас по земле волочили.

– Почти, – сказал К. Внутри все кипело, котел брякал крышкой, перегретый обжигающий пар рвался наружу. – Но те же сукины дети, что на вас тренировались.

Поразительное произошло с его собеседниками. Только что соединенные общим чувством, они вмиг распались – каждый стал сам по себе – и скорее, скорее, стремительно мелькая локтями, пятками, понеслись прочь, прочь от этого соединявшего их чувства. Глаза у них забегали, все словно ссутулились, и девушка студенческого вида тоже.

– Да что же уж, почему же уж … кины дети, – сглотнув начальный слог, пробормотал пенсионер. – Обязанности их… обязанность… им велели…

– А как же… им тренироваться же надо… как-то же надо. Подвернулись уж под руку… не повезло, – сбивчиво выдал свое оправдание службе стерильности сверстник К. с шишкой на лбу и рукой на перевязи.

– Да уж вы! Вы, знаете… Они нас защищают! – вся залившись бледностью, почти что выкрикнула девушка студенческого вида.

И словно пустота возникла вокруг К. Все так же в приемной не было места, заняты все сиденья, подпирали стены и сидели на корточках, а около него, куда бы ни двинулся, тотчас происходило словно бы некое завихрение: все начинали перемещаться, отступать – и вот вокруг странным образом образовывалось разрежение пространства. Его избегали, от него прядали, как от больного СПИДом. Хотя всем им досталось полной мерой, и так поздно и так разом оказались здесь, потому что провели в передвижных автокамерах несколько часов – как если бы их задержали за реальную попытку помешать нормальному ходу празднества. Правда, идти сюда в травмпункт своими ногами им не пришлось, теми же автокамерами их сюда и доставили, и, как понял К. из промелькивавших в воздухе подобно стремительным птицам коротких реплик, они были до чрезвычайности благодарны за это.

Друг-цирюльник возник в приемной, когда в ней кроме К. оставалась лишь та дама с губой, что перед ним. Следом за другом-цирюльником в приемную втолкнулась привереда. Она именно втолкнулась – у него на плечах, будто подпихивая сзади. Привереде К. не звонил, это была личная инициатива друга-цирюльника.

– Одна-ако!.. – увидел К. друг-цирюльник. И остальные слова, что теснились в нем, выдало его выразительное лицо, застряли у него в гортани, не найдя выхода.

Привереда же, напротив, улицезрев К., словно погасла в своем порыве. Она будто споткнулась, замедлила шаг, высокомерное, уничижительное выражение возникло на ее лице, и она сделалась необыкновенно спокойна.

– Ты похож на вокзального бомжа, – сказала она, приближаясь к поднявшемуся навстречу им К. – Точь-в-точь. Неописуемая красота.

К. было неловко смотреть ей в глаза. Колени его еще чувствовали елозящие по ним ягодицы пантагрюэльши, ладонь – груз ее пудовой груди.

– Ну так если, и что? – ответил он словами из анекдота,

неизвестно какого, ничего в памяти от него, только эти слова, – легко скрыть ими и свою растерянность, и стыд.

Замолкший друг-цирюльник остановился, не дойдя до К. нескольких шагов. Видно было, он не знал, как вести себя с К., что говорить, что делать. Не потому ли и позвал с собой привереду?

Не дошла до К., остановившись лишь на какие-то полшага впереди друга-цирюльника, и привереда. Ей требовалось расстояние, чтобы ее дальнозоркие глаза видели К. резко и четко. Она вгляделась в кровавые лепешки на лице К. и хмыкнула.

– Достукался? – изошло из нее. – Не желаешь того, что должно, да?

– Что такое мне должно? – спросил К., подозревая, о чем она.

– Должно – что должно. Лучше меня знаешь. Покаяться.

Подозрение К. было верно. Нечего было и сомневаться. Вызвав привереду сюда с собой, друг-цирюльник не мог оставить ее в неведении касательно того, что случилось на набережной и что тому предшествовало в университете.

– Я просил приехать тебя, – обращаясь к другу-цирюльнику за спиной привереды, сказал К.

Привереда не позволила ответить другу-цирюльнику.

– Да? А меня побоку, сиди где-то, да? Я тебе иззвонилась! Ни слуху ни духу, дома о тебе тоже ничего не знают! А от меня требуют, чтоб я тебя убедила!

– Кто от тебя требует? Что требует? – К. перестал понимать ее. – Это о тебе, что ли? – снова обращаясь к другу-цирюльнику за спиной привереды, спросил он.

Но и опять ему не удалось получить от него ответа.

– Причем здесь он? – опередила друга-цирюльника привереда. – Мне с работы позвонили! Этот, из-за железной двери. Видишь как? Шила в мешке не утаишь!

С какой страстью она отчитывала его, каким гневом была переполнена – блистала им, сверкала, сияла! Умела она гневаться, так вся и вкладывалась в гнев, он любил ее в гневе: дымчатые серые глаза горели, щеки полыхали. Только К. снова не понимал привереду. Выходило, что не друг-цирюльник рассказал ей о случившемся, выходило – из того особнячка под постриженным зеленым пологом, который он посетил вчера, исходила инициатива.

– И что, – спросил он привереду, – тебе позвонили – и ты позвонила ему? – Он кивнул на друга-цирюльника.

Спросил он ее, но ответил на этот раз друг-цирюльник, и привереда предоставила ему такую возможность:

– Да, позвонила мне. Сказала о звонке. И я рассказал ей о

нашем инциденте на набережной.

Нет, не было у него никакой вины перед К., как то подумал К., увидев их вдвоем, – не прятался за ее спину, не заслонялся ею. Чего не было, того не было. Вытребовала у него слово сообщить ей, как только ему что-то станет известно о К., как-то так. Друг-цирюльник и сообщил. А уж после отделаться от нее было невозможно. Кто бы и смог отделаться?

Дама с губой, сидевшая на стуле около двери в кабинет, слушала их, вся превратившись в ухо. Едва ли ей было что-то понятно из фраз, которыми они обменивались, но запах чего-то жареного она улавливала, он был явствен, этот запах, и ноздри ее трепетали. Тем более что от К. после его «сукиных детей» для нее и без того потягивало запашком нестерильности.

Друг-цирюльник, похоже, это почувствовал.

– Эстас пор боно, – произнес он на эсперанто.

Друг-цирюльник часто произносил эти слова, и К. знал, что они означают. «Что ни делается, все к лучшему», – вот что означали они.

– Будем считать, что так, – сказал он. – Чио оказас аль боно.

Дверь кабинета распахнулась, из кабинета вышел пенсионер с отчетливыми следами рубчатых подошв на своей сетчатой тенниске. Дама, подслушивавшая разговор К. с другом-цирюльником и привередой, не дав двери закрыться, стремительно нырнула внутрь.

Лицо у пенсионера свидетельствовало, что он в расстроенных чувствах.

– Говорят, нет у вас сотрясения мозга, не дадим справки! – остановившись перед К. с его компанией, возмущенно провещал он. – Я сознание терял, полминуты в отключке лежал, а они – нет сотрясения! Никакой справки. Мне теперь в поликлинику с чем идти?

Странно, почему он рассчитывал на некую особость; никаких справок никому ни о чем не давали. Делали рентген, перевязывали, накладывали гипс, вкалывали сыворотку от столбняка – помогали, но ничего не документировали. Никто не обращался за помощью, никому помощь не оказывалась – вот же он, журнал дежурства: ни одного посещения!

Привереда с другом-цирюльником смотрели на пенсионера с одним нетерпеливым желанием, чтобы он поскорее убрался отсюда.

– Не дают! – желая обрести поддержку своему чувству хотя бы у К. как собрата по очереди, обратился пенсионер теперь к одному ему.

– Так надо же им как-то и на ком-то тренироваться! –

напомнил К. пенсионеру его собственные слова.

Пенсионер испуганно смолк, казалось, пригнулся, присел и так, как бы вполуприсядку (или это было неким обманом зрения?), быстро-быстро покатился к выходу.

Спустя десять минут К. сменил в кабинете даму с губой, а еще через десяток минут вновь был в приемной. В кабинет он вошел, светя ободранным лицом, как догорающий костер тлеющими углями, вышел – блистая наложенными на промытые перекисью водорода раны дырчатыми бело-кремовыми хирургическими пластырями.

– Фантомас, – прокомментировал друг-цирюльник его явление с залепленным пластырем лицом.

Весь вид привереды явствовал, что какое-то решение зреет в ней.

– Я еду с тобой, – объявила привереда. – Я не могу оставить тебя. И вообще…

– Что вообще? – спросил К.

Странным выглядело ее заявление. Конечно, он собирался ехать сейчас домой. Но перед этим естественно было завезти ее и продолжить путь вдвоем с другом-цирюльником. Зачем ей было ехать с ним и лишь потом к себе?

– И вообще, пора мне знакомиться с твоими родителями, – сказала привереда.

Вот что за намерение у нее было, вот что она для себя решала! К. давно уже хотел этого – представить ее родителям, много раз заводил с нею разговор об этом, но всякий раз она отказывалась. Подожди, не спеши, я еще не готова, отвечала она. Знакомиться, однако, сегодня, когда он заявится пред взоры родителей таким Фантомасом…

– Еще как пора, – сказал он. – Но давай не сегодня. Я в таком виде… мне предстоит объяснять им…

– Вот я своим появлением и избавлю тебя от удовольствия объяснений. Во всяком случае, сильно уменьшу это удовольствие, – тоном, не желающим знать никаких возражений, ответила привереда. – Ты хотел представить меня? В чем же дело!

– Не сегодня, – повторил К.

– Именно сегодня, – отмела его возражения привереда. – Тебе же лучше, чтобы сегодня.

– Скажи ей, – повернулся К. к другу-цирюльнику, – скажи ей, что невозможно сегодня. Ведь очевидно же, что невозможно!

– Это ты Фантомас, не я, – не позволив другу-цирюльнику раскрыть рта, но словно отвечая на его увещевания, быстро отозвалась привереда. – Если бы я была в таком виде – конечно, какое знакомство, но я во вполне приличном. Я в приличном

виде? – теперь, в свою очередь, обратилась к другу-цирюльнику она.

– Разумеется, – друг-цирюльник поспешил с ответом.

Было видно, что его ошеломил напор привереды. Это К. была известна ее натура, а ему-то откуда.

– Все, вопрос решен, – просияла привереда. Взяла К. под руку и повлекла к выходу. – Втиснемся уж мы у тебя как-нибудь? – повернула она на ходу голову к другу-цирюльнику, приглашая его тем последовать за ними.

За пределами крыльца, освещенного бело-голубым конусом света от одинокой люминесцентной лампы на железной лебедино-змеиной вые, стояла лютая шершавая темнота – конец ойкумены, предел Вселенной, край мироздания был там, такое рождалось ощущение, казалось, шагни – и ухнешь в бездну. И лишь доносившийся оттуда глухой ропот листвы под тихо веющим ветерком давал понять, что там не бездна, а такая же твердь, как здесь.

Втиснуться втроем в двухместный кабриолет друга-цирюльника не составляло труда. Но сделать это следовало так, чтобы дорожная служба стерильности не заметила трех голов в машине, и, перепробовав несколько вариантов, устроились в конце концов так: К. обычным образом на сиденье рядом с другом-цирюльником, а привереда, сложившись усердным циркулем, на днище в ногах у К., спрятав себя под приборной доской. Хорошо, что я у тебя не дылда, со своей электризующей пространство вокруг себя игруньей резвостью, так обжигавшей К., сказала она, когда обустройство было закончено, дверцы захлопнуты и друг-цирюльник включил мотор. «Хочешь большую женщину?» – с ужасом и стыдом тотчас вспыхнуло в К. Хорошо, хорошо, хорошо, сжимая ей плечи, отозвался он.

Кабриолет тронулся.

– Ну, ми эсперас е фаворо де ль’сорто, – сказал друг-цирюльник.

– Что-что? – спросила снизу, задирая голову, привереда. – Как это по-нашенски?

– Надеюсь на благосклонность судьбы, – перевел друг-цирюльник.

Судьба оказалась к ним благосклонна. Скрывавшиеся в межфонарной тени, как в засаде, машины дорожной службы со стоявшими рядом с ними патрульными попались им дважды, но оба раза кабриолет друга-цирюльника, прекрасно известный каждому патрульному, тех не заинтересовал.

Друг-цирюльник подогнал машину к самому подъездному козырьку, хотя из-за других машин около подъезда, оставленных

перебыть здесь в неподвижности ночь, сделать это было непросто. В том, как друг-цирюльник усиленно хотел подъехать как можно ближе к входной двери, словно что-то важное зависело от того, была как бы некая его вина перед К., желание искупить ее, и К., когда они с привередой уже выбрались из машины, наклонившись в глубь кабины, наполненной магией бледно светящихся зеленых огоньков на приборной доске, спросил друга-цирюльника:

– А тебя долго продержали там в участке?

– Да нет, – сказал друг-цирюльник. – Завели в какую-то комнату, порасспрашивали – кто я, что я, – потом снова на первый этаж, распахнули дверь – иди гуляй.

– Это не комната с диванами, креслами, пальмами? – вырвалось у К.

– Какие пальмы! – Изумление прозвучало в голосе друга-цирюльника. – Столы да стулья – глаз стонет!

Нечто вроде облегчения испытал К.: та светлостенная диванно-пальмовая комната представлялась сознанию чем-то вроде пыточной камеры, и лишний груз на совести, – если бы другу-цирюльнику также пришлось пройти через нее.

– Это не настоящий участок, ты понял? – открыл он свою догадку другу-цирюльнику.

– Вот так? – Друг-цирюльник уже не удивлялся. – Нет, не понял. Откуда мне было. Привели, побеседовали, вывели. Всё.

– Не настоящий, не настоящий, – просветительски повторил К. – Бутафория. Та шантрапа, как ты выразился, с айфоном, что на нас налетел, тоже там не задержался. Сам видел, как уходил. С дежурными за руку прощался.

– Вот как! – Друг-цирюльник оживился. Он уже не удивлялся, но про скейтбордиста – это не могло не задеть за живое. – Что же, подсадная утка?

– Подсадная утка, – подтвердил К. И почувствовал себя наконец способным задать вопрос о том, из-за чего и всунулся обратно к другу-цирюльнику в его шаманящее зелеными огоньками темное логово: – Когда с тобой беседовали, что обо мне спрашивали?

– Да ничего, представь себе, – не замедлил с ответом друг-цирюльник.

– Не может быть. – К. не мог поверить.

– Представь себе!

– И совсем обо мне не говорили?

– Да нет же, нет, – увещевающее отозвался друг-цирюльник.

Ничего другого, как поверить ему, К. не оставалось. Собственно, с какой стати он мог не верить другу-цирюльнику? Кому было верить, если не ему. Но до чего странно: привереде –

звонок домой, а с другом-цирюльником о нем – ни слова.

– Как странно! – вырвалось у него вслух.

Друг-цирюльник понял его.

– Все как должно, – сказал он. Не без самодовольства у него это прозвучало. – Полицейский участок, ты говоришь, – их служба. Они и выяснили все, кто я. А у меня, знаешь, сколько из их службы голову в порядок приводят? И с самого топа. Так что я им… меня они дергать не станут, я защищен.

– Мне холодно! – позвала К. привереда, неслышно простоявшая у него за спиной весь их разговор с другом-цирюльником.

– Пока! Спасибо тебе, – поспешно поблагодарил К. друга-цирюльника.

– Не за что, что ты, – ответно поспешил друг-цирюльник. И не удержался, добавил: – Джис ля!

Что значило, знал К., все то же «пока» на эсперанто.

Он захлопнул дверцу, помахал рукой. Но едва ли уже друг-цирюльник смотрел на него. Кабриолет плеснул в темноту светом фар, встряхнул воздух мотором, приглушил его звук, дал задний ход и покатил, покатил в темноту, утаскивая с собой сноп света, вильнул в сторону, переметнув в сторону и свет, замер на мгновение и, двигая перед собой освещенное пространство, уже невидимый в ночном мраке, поплыл к выезду со двора.

* * *

Не так, не так, представлял К., произойдет их знакомство. Как в точности – этого он не знал, но что не так – это уж безусловно. Родители уже спали и вынуждены были подняться. И конечно же, большие глаза у матери – полные ужаса. Ахи и охи, сетования, упреки, вопросы: что у тебя с лицом, как, почему, где? Отец смущался и суетился, обращался к привереде уменьшительно-ласкательным образом и все время без нужды прогребал по своим послушным седым волосам пятерней, как бы приводя прическу в порядок – жест, которого прежде за ним не водилось. Мать то начинала говорить как заведенная, то впадала в ступор и замолкала, не в состоянии ответить на самый простой вопрос. К. смотрел на них – и старался не смотреть. Неловко ему было за родителей, больно за них. Ах, не такими хотел бы он видеть их перед привередой. Без этой бы жалкости, потерянности, пришибленности. И еще как одеты, поднявшись с постели, до чего нелепо: парадная салатовая кофта у матери поверх выглядывающей в распахнутый проем на груди ночной рубашки в

синих цветочках, спортивные черные штаны с белыми лампасами у отца и заношенная темно-зеленая куртка, натянутая в спешке прямо на майку …

Но привереда их очаровала – К. это видел. Вот кто не смущался – это она. И не лезла за словом в карман, и попусту не трещала. И не бросалась бессмысленно услужить, но и не сидела колодой, когда могла чем-то помочь. Она была проста и естественна, непринужденна и тактична, не демонстрировала ума, но получалось, что каждым словом, взглядом, жестом – всем своим поведением – как бы выказывала его. К. любовался ею и, любуясь, внутренне гордился. Что за чудо она была, что за прелесть!

Угощали родители, конечно же, своими сырниками. «Это ведь косихинские?» – осознала в какой-то миг знакомый вкус привереда. «Косихинские, косихинские», – переглянувшись, ответили родители. Больно им было называть их косихинскими. «Ой, а я их столько съела, – невольно отложила вилку привереда. – Это же так… они такие дорогие!» И мать с отцом, и К. – все засмеялись. Уморительно было это смущение привереды. «Что? – спросила привереда, оглядывая их. – Я что-то не то сказала?» – «Все то. Ешьте, ешьте! – поспешили отец с матерью успокоить очаровавшую их подругу К. – Это мы их делаем, вы не знали?»

Нет, она не знала, К. ей не говорил. Не приходилось к слову? Приходилось, но он всякий раз избегал ответа, чем занимаются родители. Стыдился? Не стыдился, нет. Того, чем занимаются. А вот того, что вынуждены на Косихина, что сырники называются его именем… Но что же, признаваться в том сейчас? К. вывернулся, ушел от объяснений.

– И все-таки, – собирая по своему обыкновению, как всегда, когда хотел разрешить мучающее его затруднение, обильными морщинами лоб, проговорил отец, – почему все-таки вы сегодня, сейчас, среди ночи решили знакомиться? Ведь не просто же так.

Он мог бы задать свой вопрос не столь прямо, а исподволь, половчее, но он был бесхитростным человеком, и ему были свойственны только прямые ходы.

С исполненной, как подумалось К., скрытого коварства улыбкой, привереда указала на него:

– Вот пусть он скажет.

Но какое объяснение мог дать К.? Сказать, что такова ее прихоть?

– Почему сейчас? – обратился он к привереде, передавая право ответа ей. Она так решила – и не поперечь ей! – пусть отдувается.

– Ты в самом деле хочешь, чтобы я ответила?

– Да-да, – сказал он. – Хочу. В самом деле.

– Хорошо, – согласилась она с видом тихой покорности. И с этой тихой покорностью, переведя взгляд с К. на родителей, вопросила: – Вы знаете, что к нему претензии у службы стерильности? Паршивые дела, а он с ними вроде того что бодается.

– Зачем ты! – вскричал К., понимая – лишь сейчас! – что ради этого сообщения и затеяно ею посещение его дома. – Что ты несешь!

Но все, поздно, дело было сделано. Мать с отцом обмерли: отец вскинул руку прогрести по волосам – и уперся пальцами в голову, словно обдумывал некую злую, дикую мысль, мать встала с табуретки, постояла-постояла монументом и снова опустилась на нее.

– Почему ты ничего нам не говорил? – Отнял наконец руку от головы отец, – рука его упала на стол глухим поленом, брошенным с размаху на железный лист под поддувалом печи. – Мы тебе чужие? Никто?

– И мы ничего не знаем, мы ничего не знаем, как же так! – ожила вслед отцу и мать. Руки ее нещадно затеребили отвороты парадной кофты, сводя их на груди, запахивая и вновь раскрывая.

– И вот ночью когда звонили, это оттуда были, не студенты твои? – спросил отец.

– Оттуда, оттуда, – опережая К., засвидетельствовала привереда.

Хотя ничего о том звонке родителям К. ей не говорил. Другу-цирюльнику – да, а ей нет. Знала от друга-цирюльника? Может быть, так, может быть, сыграла в знание. Ей хотелось, чтобы его родители были извещены, а прочее ее не заботило. Зачем ей это было нужно: поставить их в известность? Чтобы обрести, осенило К., союзников! Чтобы они навалились на него вместе с ней! Она была, оказывается, хитрюга, его привереда.

– Да, я у них под каким-то подозрением, – сказал К. Он взглянул на мать – мать сидела, зажав теперь отвороты кофты в кулаках и перекрестив кулаки под подбородком, взглянул на отца – у отца руки лежали на столе врастопырку, будто чужие телу, два полена теперь вместо одного, наморщенный обычно лоб выгладился, как на барабане, взодрав кромку волос куда-то на темя. Привереду К. обошел взглядом. – Не знаю, что это значит – под подозрением. И выяснить невозможно. Я к ним туда ходил… вон, – кивнул он на привереду, по-прежнему не глядя на нее, – уговорила меня… И еще один уговаривал, – не стал он называть имя друга-цирюльника. – И что? Говорят: вы не готовы – и поди

прочь. А теперь говорят: покайся. Хорошо, я покаюсь. Представим. Хотя не понимаю в чем. И что дальше? Опять что-то не так будет? Вполне вероятно. А я, значит, должен при этом бить поклоны и ботинки им вместо обувной щетки языком вылизывать?

Привереда перебила его с горячностью:

– Понятно же: просто покаяться! Ни в чем, ни почему. Покаяться, все, ничего больше! Какие ботинки? Какие щетки? Какой язык? Вашего ректора почему арестовали? Потому что не покаялся. Просто не покаялся. Именно за это.

– Ты знаешь про ректора? – Не то чтобы К. удивился, но почему-то это было ему неприятно. А вот почему, понял он в следующий миг: ему не хотелось, чтобы родители знали о ректоре. Ничем, кроме как испугом за сына, не могло исполнить их это знание.

– Почему мне не знать? – Вот кто удивился, так привереда. – Я где работаю? У нас такие вещи через пять минут известны становятся.

Теперь К., напротив, старался не смотреть на мать с отцом.

– А тебе известно, в чем таком конкретном наш ректор не покаялся? – спросил он привереду. Впрочем, и на нее не глядя, а лишь дотронувшись до нее взглядом. – Может быть, он в чем-то конкретном не покаялся? Может быть, ему было в чем каяться? Как можно каяться ни в чем? Мне это не понятно.

– А и понимать не надо. Зачем понимать, – неожиданно подал голос отец. К. почувствовал, что отец смотрит на него, невозможно было не отозваться – и ответил ему взглядом. Руки у отца лежали перед ним, сложенные одна на другую, и пальцами одной из них, сжав те щепотью, он постукивал по столу – это были теперь живые, нормальные человеческие руки. – Неважно: понимаешь не понимаешь, есть за что, нет за что, – продолжил отец, дождавшись взгляда К. – Понятно же – главное, лбом о пол, да покрепче.

– Я о чем и говорю! – радуясь поддержке, подхватила привереда. – Нужно попробовать! В любом случае. Лучше попробовать, чем… Вон, – указала она на лицо К., – предупреждение, чего ждать. Его сегодня полдня продержали в полицейском участке! Который на самом деле не полицейский. Тебе же это предупреждение было! – обратилась она уже к К.

Сейчас за привередой в ее след, овеяло тоской К., ступят отец с матерью…

И тут отец, его давно не почитаемый, не ценимый им отец, которым он, как и матерью, тяготился, вдруг проговорил – то, чего К. не ожидал, о чем не мог и подумать: так это не вязалось со всем нынешним обликом отца, всей жизнью, какой они сейчас

жили с матерью:

– Не надо, сын, лбом об пол. Он вон у тебя и так… достаточно. Пока силы есть – не бей. Если уж только… сломанное не сращивается. Держись, сын. Держись, сколько сможешь. А не сможешь… и тогда все равно старайся.

Негромко, слабым, обрывающимся голосом говорил он это, смотрел на К. – но будто и не ему говорил, а самому себе: рассуждал, размышлял, вслушивался в собственную речь.

– Ой, не знаю! – воскликнула мать. Она отпустила отвороты кофты, вскочила на ноги, пристукнув костяшками пальцев о стол, и тут же снова села. – Это ведь… это… не знаю!

– А я это знаю точно, – сказал отец. – Я знаю. Я знаю.

Привереда сидела – вся наэлектризованное изумление. Изумление было в ее глазах, в очерке губ, в том, как потянула вдруг себя вверх, – и казалось, все тянула, тянула.

– Да? Да? Вот так? Так считаете? – произнесла она потом с этим изумлением, в которое звенящей сквозной нитью было вплетено потрясение.

Ни отец, ни мать – никто из них на этот раз ей не ответил. Общее молчание длилось, длилось, оно было подобно вакууму, выедавшему пространство вокруг себя и умерщвлявшему все живое. Следовало его прервать.

– Ну вот, со знакомством! – вогнав себя в такую клоунскую оживленность, воскликнул К. – Вас, – махнул он рукой в сторону родителей. – Тебя! – указал он на привереду. – Я счастлив.

Почувствовав вслед за тем, как слово было произнесено, что действительно счастлив, без лукавства. Именно тем, что привереда наконец в его доме, родители познакомлены с нею, а она с ними. Пусть все и произошло при таких обстоятельствах.

9. Покатился снежный ком с горки

Солнце оторвалось от горизонта и, восходя по залившемуся торжеством аквамарина небосклону, хлестало в окно ливнем фотонов. Каким ликованием был наполнен его ливень, какую веселую радость рождал он! К. лежал, проснувшись, не решаясь шевельнуться, – голова привереды лежала у него на груди под ключицей, и этот ее предподъемный сон, овевавший ему кожу легким ветерком ее выдоха, был частью владевшей им радости. А может быть, без него этой радости и вообще бы не было? Солнце било так в его окно каждое утро, но разве же он просыпался в таком ликовании? Безжалостным и бессердечным было оно без привереды, утреннее солнце, будившее его своим сиянием и жаром через плотно закрытые занавески, словно тех и не висело на окне.

Мобильный телефон, лежавший на полу около кровати, забружжал перевернутым на спину майским жуком, готовясь залиться сигнальным звонком будильника. К. метнул к нему вниз руку – не дать разразиться трелью, продлить чудесный сон привереды у себя на плече, нащупал телефон, прервал звонок в момент самого зарождения. Но, как ни осторожен был, движение руки отозвалось шевелением всего тела, – и привереда повела головой из стороны в сторону, отодвинулась от него, оперлась на руки и, припухло-сонно моргая, приподнялась над ним:

– Что, пора? Утро? Вставать? – Вспомнила ночь, вчерашний вечер за столом с родителями на кухне и, ахнув, снова упала ему головой на грудь. – Так мы у тебя?

– У меня, у меня, – с удовольствием, победно отозвался К.

– И мы тут при твоих родителях? – с ужасом прошептала она.

– Но они ничего не слышали, – поторопился успокоить ее К. – Дом старый, стены толстые.

– Нет, правда? – Она хотела поверить.

– Правда, правда, – заверил ее К. – Ужасно толстые. Тут еще мой дед-декан с бабушкой жили.

– А, еще дед с бабушкой. – Это обстоятельство, что дед с бабушкой, почему-то оказало на привереду особое успокаивающее воздействие. – А дедушка был деканом факультета, где теперь ты преподаешь?

– Где теперь я, где я, – подтвердил К.

И все утро потом тема деда-декана и бабушки то и дело возникала у них.

«Тебе кофе в постель или в чашке?» – поднимаясь, пошутил К. старой шуткой, которой, знал он, развлекались в молодости дед-

декан с бабушкой. «Крепкий и горячий. Главное, побыстрее», – ответила привереда, несильно и глухо хлопая его ладонью по голой спине, – возможно, как отвечала бабушка дедушке в первые годы их юного брака. Ах, какие другие времена это были, в какой дали остались – вглядывайся туда, ничего не разобрать.

И после, когда привереда шумела душем, а К. заглянул к ней: «Спинку не потереть?» – она вместо ответа спросила из-за занавески: «А ты помнишь их?» – «Кого?» – не понял К. – «Ну деда с бабушкой», – сказала она, как будто они с К. только что о них говорили. – «Конечно, помню, – сказал К. – Мне четырнадцатый год шел, когда они погибли». – «Они погибли?! – ахнула за занавеской привереда. – Ты никогда не рассказывал». – «Да к слову не приходилось», – шутейное настроение, с которым К. заглянул к привереде, пропало. Привереда убавила напор воды, чтобы уменьшить шум душа: «А как это произошло?» – «Давай заканчивай, выходи, не сейчас», – прервал направившийся по неожиданному пути разговор К.

Но привереда не забыла о своем вопросе. Сидели за столом, К. счастливо делал ей бутерброды, подносил, подавал, подливал – кофе, кофе! – привереда попросила: «А есть еще, можно… сырников косихинских? – Осеклась, поняв, какую допустила бестактность, и поправилась смущенно: – Родительских. Родительских сырников». – «Да сколько угодно, – вскочил, полез в холодильник К. – Я думал, они тебе вчера надоели». – «Что ты! Как они могут надоесть, – воскликнула она. И вот, получив сырники себе на тарелку, воздев над ними нож с вилкой, отложила прибор и спросила: – Так что случилось с твоими дедом и бабушкой?»

Ох, не хотелось К. погружаться в семейную историю, даже и прикасаться, – забыть бы, и как не было. Невозможно, однако, было забыть и невозможно уклониться от ответа привереде. «Они сгорели. Домик у них был дачный. Вот в нем». – К. решил быть до предела кратким. «Боже!» – вырвалось у привереды. Печка, ночь, выпавший уголь – увидел К. у нее в глазах представившуюся ей картину. Лапидарность его рассказа вела к извращению реальности. «Их подожгли, – он решил уточнить картину, что нарисовалась ей. Но этот мазок, тут же почувствовал он, требовал новых: почему, кто? – Почему – можно лишь догадываться. Кто – осталось неизвестным». Ему показалось, рассказ на этом закончен. Привереда сидела перед ним вся угасшая, словно ее обычная электрическая жилка обесточилась. «А ваша версия? Семейная? Если не кто, то почему?» – не дождавшись от К. продолжения его рассказа, вопросила она между тем спустя некоторое время. Ох ты, она была верна себе, на полпути ее было

не остановить. К. поколебался, говорить ли о том, о чем требовала привереда, и решился. «Тогда как раз все начиналось, – сказал он, – а дед был яростным противником стерильности». – «И заметной фигурой», – как завершила его фразу привереда. – Мне говорили».

Она все-таки обратилась к родительским сырникам. И, покончив с завтраком, попросила, если это не слишком большая наглость, взять несколько штук с собой – перекусить на работе. К., пока она в прихожей у зеркала наводила на лицо боевой раскрас ландскнехта бюрократической армии, стоял около входной двери и любовался ею. «Не смотри. Ты меня смущаешь!» – время от времени, отрываясь от зеркала и оборачиваясь к нему, восклицала привереда. «Да кто на тебя смотрит. Вот еще, нужно тоже», – отвечал К., невольно улыбаясь. – «Почему ты на меня не смотришь? Я тебе неинтересна, да?» – уже отвернувшись обратно к зеркалу и сосредоточиваясь взглядом на своем отражении, спрашивала привереда. «Да смотрю, смотрю», – не решался К. испытывать самолюбие привереды дальше. «То-то же, – говорила привереда, обмакивая кончики пальцев в одну коробочку, другую, быстро стуча себя ими по щекам, скулам, подбородку и принимаясь растирать нанесенную смесь такими же быстрыми круговыми движениями. – Не смотри – но смотри».

– Что же, теперь ты дорогу ко мне знаешь… – перед тем как открыть привереде дверь, проговорил и не закончил фразы К. Обнял ее, заглянул в ее смеющиеся дымчатые серые глаза, наполненные жаром полдневной летней поры. – Давай считать это смотринами. Понравились тебе мои родители?

– Понравилась ли я им? – ответно вопросила привереда. И попыталась высвободиться из его рук. – Давай посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Что он принесет. Разве со вчерашнего дня что-нибудь изменилось? Вон твой дед…

– Не будем больше о деде. – К. остановил ее даже решительнее, чем хотел.

– Да? Ну не будем, – ответила привереда через паузу и с той же решительностью, с какою он запретил ей говорить о деде, отстранила К. от себя – ландскнехт сокрушительной железной армии в полной готовности к боевым действиям, – и он не посмел дальше удерживать ее. – Пора!

Она спускалась по лестнице, и К., выступив из двери одной ногой на лестничную клетку, смотрел ей вслед. На повороте между маршами она взглянула на него, взодрав подбородок, с улыбкой помахала рукой – но уже это была не та улыбка, что еще какие-то мгновения назад, на пороге квартиры, она была уже вся

не его, не чужая, но не его – и так, *не с его* улыбкой и взметнутой вверх рукой, которая дольше всего оставалась видна, исчезла, остался только легкий постук ее каблучков, а потом исчез и он.

Закрывая дверь, К. хлопнул ею со всей силы, чтобы родители наверняка услышали: привереда покинула квартиру, и они свободны. Родители деликатно не выходили из своей комнаты, давая К. с привередой провести утро без них, хотя им тоже пора уже было завтракать и выходить в гараж.

Они объявились тотчас, как К. хлопнул дверью. Хотя на всякий случай отец только высунулся из комнаты.

– Проводил? – спросил он К. шепотом, как будто привереда еще не ушла и могла слышать его. Он был в майке и босиком.

– Проводил, – ответил К. во весь голос.

Незамедлительно дверь комнаты растворилась во всю ширь и, оттесняя отца, в коридор выступила мать в ночной рубашке.

– Без вопросов! – упреждая ее – а весь вид ее свидетельствовал, что она полна всяких слов, они рвутся из нее, как семена из перезревшего стручка, – вскинул руки К.

Мать, казалось, сглотнула набухшие у нее на языке слова. Было впечатление – готовый взорваться, вздувшийся стручок вдруг опал.

– Доброе утро, что ж, – бросила она, проходя мимо К. в туалет.

И день начался, как все другие дни, покатился по обычному руслу, будто не совершилось того, чего К. ждал столько времени, что представлял себе столько раз. Единственное отличие от других дней – он не сел с родителями за стол. Завтракать по второму разу – это было бы странно.

Всё, мы уходим, постучался к нему отец. К. поспешно оставил компьютер, за который сел после ликвидации следов ночного пребывания в ней привереды, и вышел в коридор. Закроешь дверь? – спросил отец. Мать с К. демонстративно не разговаривала. Да-да, закрою, с невольным подобострастием из-за мучившего чувства вины перед ними торопливо отозвался К.

Квартира, только дверь закрылась, сразу ударила ему в барабанные перепонки оглушающей пустотой. У этой пустоты был ковыльный аромат необозримой степи, йодистый запах откидывающейся в безбрежность морской дали: в сказочном детстве, помнил К., еще и дед с бабушкой были живы и дед вовсю деканствовал, ездил на поезде с родителями на море и проезжали степью – оттуда были эти ароматы и запахи. Он прошелся по квартире, вбирая в себя раздувающимися ноздрями степной-морской вкус отдавшегося его воле пустого пространства, крутанул краны на кухне, вслушался в дробящийся звон

ударившей в раковину воды, закрыл краны и отправился обратно к компьютеру.

Ему сегодня не нужно было в университет (слава богу, таким-то Фантомасом! а завтра, глядишь, можно уже и снять пластырь), и он намеревался провести день, хорошенько посидев над одной работой, которую писал уже несколько месяцев. Работа не предполагалась для печати, он писал ее для себя, понимая, что судьба ее самое большее – дать прочесть другу-цирюльнику, сознание этого мешало продвижению работы вперед невероятно, он писал ее урывками, спорадически, случалось, неделями не мог вернуться к ней, но не мог ее и оставить; и когда не возвращался слишком долго, это его томило и угнетало.

К. просидел за компьютером минут сорок, когда ему почудился запах гари. Не веря себе, он принюхался – да, был запах. Странно. Откуда? К. поднялся и прошел к окну. Кто-то жег какой-то мусор на улице? Окно было распахнуто, и, если кто-то устроил неподалеку костер, следовало окно элементарно закрыть.

Нет, однако. С улицы тянуло уже накаляющимся, сухим, но чистым воздухом, и легкого запаха дымка не чувствовалось на улице.

К. прянул от окна, – и запах гари тотчас ударил в ноздри: комната все явственнее наполнялась им, и исходил он из глубины квартиры. В коридоре, когда выскочил в него, ему помнился рассеянный сизоватый туманец. К. было метнулся на кухню, но, обронив с ноги в вираже тапок, перенаправил себя в прихожую. Странный, пощелкивающий шум послышался ему в прихожей – словно бы на раскаленной сковороде пошкварчивало перегретое масло. Рука нащупала выключатель, он лихорадочно сыграл клавишей, грянул свет, и К. увидел: из-под двери, в щели с боков впихивался толчками, струился плоскими лентами дым.

Дверь открывалась наружу. К. приотворил ее – и в возникшую щель тотчас, дико и страшно, одновременно с усилившимся шкварчанием масла, плеснуло жирным горячим пламенем. Дверь снаружи горела – всем полотном, вместе с дверной коробкой.

К., оттолкнув от себя дверь, прянул назад. Дверь, следуя за движением его руки, со стуком захлопнулась. Несколько красно-сизых язычков нагло рванулись внутрь, но, прикушенные створкой, исчезли. Грудь К. разодрало кашлем. За те несколько секунд, что дверь была открыта, дыма в прихожую натекло в избытке.

Вызывать пожарных? Но пока они приедут, пока развернутся… К. бросился в ванную, перевернул вверх дном стоявшее в углу хозяйственное ведро, вывалив его тряпично-губчато-щеточное содержимое на пол, метнул ведро в ванну и

открыл оба крана на полный вентиль. Вода звонко и бурно забила о жестяное дно, покрыла его и глухо забурлила в клокочущем водовороте, а он сдернул с крючка на стене полотенце, сунул под бившую в ведро струю, торопливо отжал, набросил на лицо поверх пластыря, схватил полотенце на затылке торопливым узлом.

Вода в ведре переливалась между тем уже через край. Закручивать краны казалось потерей времени. К. выдернул ведро из-под струи и, расплескивая воду, побежал к двери. Он по-прежнему был в одном тапке, что мешало движению, заставляя прихрамывать, но догадаться сбросить тапок и остаться в носках – этого ему не приходило в голову.

Первая порция выплеснутой воды оказалась слишком большой – целые полведра, но удачно попала, куда он целил, точно на дверной косяк, потекла по нему, шипя съедаемым огнем, и К. решился – толкнул дверь шире, выскочил в дымящийся проем на лестничную клетку.

Дверь горела по всему полотну. Она была железной, – с приходом стерильности народ повально стал устанавливать в квартирах железные двери, развелось сотни фирм, занимающихся этим делом, выгодное занятие! – поверх сплошного железного листа обтянута материалом, имитирующим кожу, под эту искусственную кожу подложен пухлый слой какого-то утеплителя, тоже, вероятней всего, имеющего синтетическую природу, и весь этот пластик плавился, дымил, шипел, стрелял – обильно полили дверь чем-то горючим.

К. выхлестнул из ведра оставшуюся воду под притолоку и бросился обратно в квартиру. На дне в ванной успел скопиться слой воды. К. с ходу скребанул по дну ведром, набирая в него воду, поставил ведро под струю и заткнул сливное отверстие пробкой. Сколько раз придется еще бегать туда-сюда? Зачерпывать воду из ванной, не дожидаясь, пока ведро наполнится из крана, – это должно было ускорить процесс тушения.

Но или слишком глубоко проник огонь в обшивку дверного полотна, или уж очень хорошо взялась деревянная коробка от прежней двери, в которую была врезана нынешняя железная, а может быть, все горела, не могла выгореть та жидкость, которой окатили дверь, перед тем как поджечь, – появляясь с новым ведром воды, К. заставал сбитый, казалось бы, огонь вновь гуляющим красными язычками то здесь, то там.

Он выливал четвертое или пятое ведро, когда дверь одной из соседских квартир за спиной открылась и оттуда раздался истошный крик:

– Пожар?!

К. оглянулся. Это был живший там со своей старухой старик-пенсионер, которого он помнил еще полным сил зрелым мужчиной, детей-внуков у них не было, некому помочь в безденежье, и они, как вышли на пенсию, начали быстро сохнуть, беззубеть – превращаясь в такую наглядную иллюстрацию нищей старости. Старик выглядывал из своей двери, прикрывая нос со ртом ладонью, его тощая фигура в растворе двери была перевита в нескольких местах для взгляда К. плавающими в воздухе лентами сизо-черного дыма.

– Воды! Скорее! – не отвечая на праздный вопрос, бросил старику К. Вдвоем дело пошло бы быстрее, и, глядишь, можно было бы обойтись без пожарных. Ему еще и не хотелось вызывать их. Пожарные – это значило потом объяснения, разбирательство, может быть, следствие. Какое тут следствие, когда все ясно. Не нужно ему было никакое следствие.

Сосед стремительно, не издав больше ни звука, скрылся за дверью – как если бы голос К. насмерть перепугал его. Дверь влупилась в косяк с громкостью пушечного выстрела, отозвавшегося по всей лестничной клетке. Рассчитывать на помощь водой, судя по всему, не приходилось.

Но когда К., вылетев на лестничную площадку с очередным ведром и опустошив его, собрался бежать за новой порцией воды, дверь соседской квартиры снова открылась, старик появился оттуда, с натугой неся на вытянутых руках перед собой большую кастрюлю. Лицо у него, точно как у К., было схвачено полотенцем. К. бросил загремевшее ведро на пол, подскочил к старику, перенял у него кастрюлю, плеснул из нее в одно место, другое, третье. Свершилось чудо: стрелявшие там-сям острые язычки огня, шаявшие угли, дымящиеся островки – все унялось, опало, исчезло. Будто именно этой стариковской кастрюли только и не хватало, и появись она раньше, огонь был бы потушен уже давно.

Старик взял у К. кастрюлю обратно и с глухой невнятностью вопросил через полотенце:

– Еще?

Должно быть, так же звучал и голос самого К.

– Вроде как все. – К. неверяще оглянулся на свою квартиру. Но нет, действительно было все. Только жирный, с гнусным ядовитым запахом дым стоял туманом на лестничной площадке, резал и заставлял слезиться глаза – чего К. до этого мгновения не замечал.

– Это ведь вас подожгли, – сказал старик, вглядываясь в руины двери за спиной К. – Кто? За что? Есть предположения?

К. вспомнил: старик когда-то работал следователем, и они были дружны с дедом.

– Кто ж его знает, – отозвался К.

– А! Ага. Так, – проговорил старик. – Неважно, да? Заявлять не будешь?

– Что смыслу, – сказал К.

Старик, прижимая кастрюлю к тощему животу, помолчал за скрывавшим лицо до глаз полотенцем.

– Кого поджигали-то? Тебя? Родителей? – спросил он потом.

– Дверь, – указал К. в сторону квартиры.

– А! Ага, – снова сказал старик. – Таишься. Ладно. Лоб вон заклеен… – Он собрался уходить, начал поворачиваться, но остановился. – Совета послушаешь?

– Да? – изъявил готовность К.

– Кому нужны твои отец с матерью. Тебе, думаю, было предупреждение. Догадываюсь даже, откуда… Так совет вот: беги без оглядки. Как можешь борзо. Чтоб только ветер в ушах.

– Куда бежать? – вырвалось невольно у К.

– Куда глаза глядят.

– Куда глаза глядят. И что? В лес под елку? А дальше?

К. окончательно вверил себя старику-соседу. Да что же, в конце концов, они дружили с дедом. Кажется, в детстве он даже сидел у старика на коленях…

Старик, такой уверенный и категоричный до этого, вдруг потерялся.

– А дальше? – повторил он эхом. – Дальше… А ничего дальше! – возвысил он голос, будто внезапно осерчал на К., повернулся и, отталкивая коленом болтающуюся теперь на одном пальце кастрюлю, бесповоротно направился к своей квартире.

Невообразимой роскошью было сейчас для К. рефлексировать, оценивая реакцию старика на его вопрос. Пол лестничной площадки вокруг был залит водой, под ногами хлюпало, та же картина открылась ему, когда заглянул в квартиру – настоящее озеро представляла собой прихожая.

Следующие четверть часа К., скинув наконец с ноги напрочь промокший тапок, собирал тряпкой воду с пола в ведро. Покончив с уборкой, К. вернулся к двери для исследования. С дверью все оказалось хуже, чем он предполагал. Оплавившиеся остатки обивки торчали на вылезшем наружу закопченном железном остове взгорбившимися смоляными плевками, деревянная коробка, в которую была врезана железная рама, повсюду обуглилась, местами же прогорела до черных ямин. Но самое главное обнаружилось, когда он попробовал закрыть дверь. Дверь не закрывалась. Должно быть, от перепада температуры,

когда обливал водой, ее перекосило, и она не входила в раму, как ее ни насилуй. Да и не понасилуешь особо железную дверь.

К. набросил на дверь цепочку, чтобы квартира не стояла распахнутой, прошел к себе в комнату, сел за стол с топорщившимся вскинутой выей ноутбуком. От толчка столешницы погасший экран ноутбука ожил, текст оставленной К. работы в спешном броске на запах дыма услужливо предстал его глазам. Не глядя на него, К. схлопнул окно с ним и открыл поисковик. Получалось, что нужно обращаться в фирму, занимающуюся установкой дверей, вызывать мастеров, – без мастеров было не обойтись. И делать это, если ликвидировать все следы разрушения до возвращения родителей, следовало немедленно.

В первой фирме, куда он позвонил, сказали, что смогут приехать только через неделю. Попытки уговорить их обещанием повышенной платы за срочность не возымели действия. Во второй ответили, что занимаются только установкой дверей, а ремонт – не их профиль. Согласием приехать и посмотреть, что с дверью, ответила только шестая или седьмая фирма. Ждите, в ответ на вопрос К., как скоро ждать приезда мастера, враждебно ответил голос по телефону, с которым общался К.

Ждать пришлось часа два. Приехавший мастер был могучим мужиком ростом под два метра – такой наглядный экземпляр специалиста по работе с железом. Не разговаривая с К., он с хмурым видом осмотрел сожженную дверь, поломал ее, выгибая в разные стороны (вернее, попытался выгнуть), громко побил с размаху о раму, словно в надежде, что двери надоест упорствовать и она войдет в нее, после чего наконец прервал свое молчание:

– Ничего, хозяин, не сделать. В металлолом. Как ее выправишь? Это тебе не дерево, не подтесать. Новую дверь нужно. Всю, – очертил он руками овал вокруг двери. – По-другому никак.

– Как не выправить? – К. не мог поверить. – Вы же с металлом работаете. У вас инструменты, приспособления…

– Где они, приспособления? – Мастеру, казалось, было трудно складывать слова в речь – с такой тяжестью выцеживались они у него с языка. – Там они, – махнул он рукой, имея, надо понимать, в виду мастерскую. – Все равно снимать, туда тащить. Так лучше уж новую ставить.

Ладно, хватит, я свое дело сделал, прервал он новую попытку К. убедить его заняться дверью прямо на месте. Оценка дана – подписывайте наряд, расплачивайтесь, и я пошел.

– Какое расплачивайтесь! Мне не оценка, мне дверь нужна! – воскликнул К.

– Заказывайте новую дверь, обмеряю сейчас, изготовим, приедем – установим, – хмуро выцедил мастер новую порцию слов.

К. сдался.

– Но мне нужно сегодня же и установить.

– Это только у мух так, – ответствовал мастер, отсылая, должно быть, К. к известной поговорке. Великодушием он обременен не был.

Позволить себе отступить К., однако, не мог. После недолгого препирательства выяснилось, что поставить дверь сегодня все-таки можно. Но за срочность фирма возьмет… фирма брала за срочность просто бессовестно, у К. не было таких денег. Это были три его месячные зарплаты в университете – столько она брала. У родителей эти деньги, наверно, могли найтись, но К. не хотел обращаться к ним. Достаточно им было ночных звонков и его вчерашнего появления в облике Фантомаса.

– Давайте обмеряйте, – дал он согласие.

Он знал, откуда возьмет деньги. У друга-цирюльника он возьмет их. А больше и не у кого. Отдавать долг придется потом целый год, но друг-цирюльник может позволить себе рассрочку и на более долгий срок.

– Туй ми венос аль ви, – ответил друг-цирюльник, когда К. после ухода мастера позвонил ему и обрисовал ситуацию.

– Что ты сказал? – К. не понял его. Из всех слов, произнесенных другом-цирюльником, он знал лишь «ми» – «я».

– Сейчас приеду к тебе, – перевел друг-цирюльник.

– Да сейчас не обязательно. – К. испытывал острое чувство неловкости, что приходится одалживаться у него. – Они часа через четыре обещали приехать.

– Ничего, а я сейчас, – подтвердил свое намерение друг-цирюльник.

Однако приехал он как раз через эти четыре часа, буквально перед появлением мастеров из фирмы. И была в выражении его подвижного углоскулого лица такая складка, что причина его задержки как несущественная тотчас была отвергнута К.

– Что-то случилось? – спросил К.

– Да дела. Извини, – отмахнулся друг-цирюльник. – Где твои мастера? Предлагаю, пока они здесь будут, свое присутствие. Ничего не имеешь против?

– Просто отлично! – К. обрадовался его предложению. Что говорить, не был он создан для ведения дел с такими двухметровыми специалистами по железным работам, друг же цирюльник до того ловко умел обращаться с ними – они становились покорнее кутят.

Двухметровый приехал в компании еще одного подобного себе, и сразу на пороге квартиры у К. загрохотало, застучало, завизжало: разрезалась пилой-болгаркой, выламывалась из стены старая рама, выворачивались остатки деревянной рамы, сыпалась штукатурка, летела кирпичная пыль, гремели на лестничной площадке о бетонный пол куски распиленных железных конструкций. К запаху ядовитого дыма, так и не вытянутому сквозняками, примешались запахи цементной пыли, резаного железа, древесной крошки.

Через полтора часа все было закончено. Новая дверь стояла в проеме, как была здесь от века, чисто и ясно, с сухим клинкающим звуком входя в раму, щеколды замков безропотно въезжали в предназначенные для них отверстия, намертво соединяя дверь со стеной, и только торчащие кое-где по углам желтые ошметья монтажной пены да слишком белые заливы прикрывающей щели акриловой шпаклевки свидетельствовали об обретении квартирой неожиданной обновы.

– Порядок наведите, – коротко бросил друг-цирюльник железодельным мастерам, когда они было решительно заявили, что все закончено, пора приступить к расчету, и железодельные мастера, лишь недовольно переглянувшись, безропотно принялись таскать на улицу обломки бывшей дверной конструкции, и в машине внизу у них обнаружились похожие на рогожные, большие пластиковые мешки, куда был безропотно упакован весь остальной, мелкий мусор. После чего попросили ведро с водой, веник, совок и, как следует окропив водой бетонный пол лестничной площадки возле порога, еще и начисто промели его.

– А я бы все сам убирал, – признался К. другу-цирюльнику, когда мастера, приняв в обмен на выданную ими квитанцию положенные деньги и грохоча вниз по ступеням полотном старой двери, отбыли восвояси.

– Да видишь, – посмеиваясь, ответил друг-цирюльник, – потребовать, чтобы не веником, а, как положено, тряпкой, – это я не осилил. – Так что и самим тоже придется.

Отец с матерью появились невдолге, как К. с другом-цирюльником, завершив уборку, сели за стол на кухне отметить новую дверь перекусом. Перекус, естественно, был сырники. Чай и сырники со сметаной. Косихинские сырнички, ах, в предвкушении гастрономического наслаждения, обосновываясь за столом, потер руки друг-цирюльник. Поем вволю, набью брюхо – ми манджос мулте, пленигос ла вентру. К. болезненно укололо, что друг-цирюльник называет родительские сырники косихинскими, но что делать – это было в своем роде их имя

собственное. Ох, объемся, ох, объемся, изнеможенно-порицающе приговаривал друг-цирюльник, уплетая один сырник за другим.

Отцу с матерью было еще рано, обычно они возвращались домой позднее, и, взвившись на звонок, К., когда увидел на пороге родителей, не смог не выразить своего удивления. Но странно: родители вошли в квартиру – будто не заметив новой двери. Не заметить которой никак не могли: они же потому и вынуждены были позвонить, что их ключи не смогли отомкнуть ее.

– Чем это так на лестничной клетке пахнет? – только спросил отец. – Неприятный какой запах.

– Да и в квартире тоже, – пошевелив ноздрями, как уличила К. мать.

Ничего другого не оставалось К., как с ходу приняться рассказывать родителям, что произошло вскоре после того, как они ушли. Рассказывая, он сдабривал свою новеллу иронией, насмешничал над собой, и уж тем более не заикнулся о том, что думает о причине поджога, даже и высказал предположение, что это, видимо, увеселения подростков. Он опасался, что родители не в меру распереживаются, боялся материнских охов, отцовского понурого молчания – заранее тяготился их реакцией.

Однако отец с матерью снова повели себя так, будто поджог двери был обыденным делом, видели они перевидели этих подожженных дверей на своем веку несметно. Отец непонятно пробормотал что-то про совпадение – что за совпадение? с чем? – мать сокрушенно закачала головой, заприговаривала: «Ну да, ну да!..» – и это все, ничего больше.

Недоумение К. разъяснилось спустя минуту, когда родители прошли на кухню и, поздоровавшись с другом-цирюльником, одинаково тяжело опустились на табуреты. Оказывается, им запретили печь сырники в гараже. Уже когда косихинские посланцы приняли сегодняшнюю выпечку, перекидали загруженные поддоны в машину и отбыли восвояси, осталось только убраться, вымыть кастрюли-сковороды, громом с небес в гараж заявилась комиссия из службы стерильности, осмотрели гараж и закономерно признали условия изготовления сырников противоречащими нормам стерильной санитарии. Тут же, на куске фанеры, на котором мать с отцом, стуча ножами, обваливали сырники в муке, была изготовлена бумага с предписанием о запрете использовать гараж для выпечки сырников, и, чтобы наверняка, чтобы родители не подумали проигнорировать предписание, гараж был опечатан. Вымыть даже нам ничего не дали, так там все засохшее и осталось, убито сказала мать. Вот, вытащив из кармана сложенный вчетверо,

смявшийся уже на углах лист, положил тот отец на стол. К. взял лист и развернул. Это был бланк службы стерильности с цветным, красно-синим грифом едва не в треть страницы, текст набран типографским способом с пропусками в нескольких местах, и в эти пропуски вписаны имена отца с матерью, данные их удостоверений личности, адрес проживания – стандартная бумага, получив конкретных виновных, обрела индивидуальный характер. Друг-цирюльник следом за К. тоже взял бланк, тоже посмотрел и молча положил обратно на стол.

– Косихину позвонили? – спросил К. родителей.

– А как же! – отозвался отец – словно зайдясь в почтении. – Тотчас, как эти уехали.

– Зачем ему с нами говорить, – подала голос мать.

– Пристебай его какой-то с нами от его имени упражнялся, – расшифровал ее слова отец. – А как же вы думали! А как по-другому могло быть! И так вас Косихин прикрывал, сколько мог! Сколько веревочке ни виться!..

– Но вас же никто ему не заменит. Никто не сможет делать такие, как вы. – К. был оглушен, жалость к родителям стеснила дыхание. Какой удар для них! Какое потрясение!

Отец потянулся через стол к листку предписания, подтащил к себе, свернул четвертушкой, но не поднял со стола, а прижал ладонью и пару раз пристукнул ею.

– Этот пристебай, знаешь ли, сообщил условие, при котором нам гараж распечатают…

– Да? Условие? – Радостной надеждой овеяло К. – Какое же?

Но отец уже передумал говорить.

– А не имеет значения. Все равно. – Он отнял ладонь от листка, взял его и принялся засовывать обратно в карман пиджака. – С дверью что? – посмотрел он по очереди на К. с другом-цирюльником. – Почему поменяли?

К. не успел ответить ему.

– Нет, ты скажи, что за условие. – Мать смотрела на отца с возмущением и гневом. – Пусть он знает.

– Да, пожалуйста, – попросил К. – Я должен знать.

Отец кривился, как отпробовал голого лимона, морщины у него на лбу скучились баянными мехами.

– Ну ты… видишь… ты… – Он не просто не хотел говорить, язык отказывал ему. – Ты, видишь ли… ты чтобы… вот о чем у нас вчера вечером разговор шел.

– О чем вчера за столом говорили? Чтобы ты что? – снова решила вмешаться мать.

К. догадался. Он должен был покаяться, и тогда Косихину будет дано негласное разрешение производить сырники в

условиях антисанитарии и дальше.

– Покатился снежный ком с горки, – произнес друг-цирюльник, все время до этого промолчавший.

Однако К. не было дано ответить ни родителям, ни ему. В прихожей раздался звонок. К. подбросило с места, будто прозвучавший звонок ударил его током. Он инстинктивно глянул на друга-цирюльника, тот тотчас тоже вскочил на ноги, и они оба, цугом, вдарили с кухни к входной двери.

– Что это вы… как на боевой зов, – донеслось им вслед материнское.

К. распахнул непривычную, обдающую терпким запахом свежей обивки, перешибающим остаточный запах гари, новопоставленную дверь, – за ней на лестничной площадке стоял давешний сосед-старик из квартиры наискосок, помогавший ему тушить огонь. В руках перед собой он держал похожий на средних размеров мяч серый круглый ком из мятой оберточной бумаги.

– На-ка, – без лишних слов протянул сосед бумажный ком К. – Заходили сейчас, просили тебе передать. Именно тебе. И лично.

– Кто? – вскричал и зачем-то зашарил глазами по лестничной клетке К., словно этот «кто» мог еще находиться здесь. А сам уже и знал кто. Вернее, от кого это.

– Мне откуда известно кто, – сказал сосед. – Двое. Два мужика. Твоих лет, постарше. Вежливые, но наглые. А думаю так: кто тебе – это, – указал он подбородком на дверь.

Недаром, недаром он был когда-то следователем. Своего прежнего мышления следователя старик не утратил.

– Ладно, – поблагодарил его К. за доставленную цидулю. Он знал, что там цидуля, что еще. – Спасибо.

– Рви куда глаза глядят, говорю же, – медля ретироваться, буркнул старик. Постоял, постоял еще, махнул обеими руками и, ничего больше не произнесши, ушел к себе в квартиру.

Заходить с этим комом в дом, неизбежно демонстрировать его родителям – К. не хотелось этого. Наоборот: он сделал от порога пару шагов (друг-цирюльник последовал за ним) и осторожно, стараясь не лязгнуть замком, прикрыл дверь.

Как он и ожидал, ком оказался капустой: первый пустой слой бумаги, второй, третий… друг-цирюльник принимал их, оглядывал быстро – действительно ли пустой – и складывал один к другому пластами, под последним слоем серой оберточной бумаги оказалась она, цидуля. Такая же большая, как последний раз, которую передал ему студент на экзамене, – целое бревно. Минус 273 ледяным огнем полыхнули в К. Медленными, замороженными движениями он развернул бревно. Это снова был полный лист, снова текст набран на компьютере, только теперь, в

отличие от прошлого раза, исполнен не в форме песочных часов, а в виде пирамиды. Острое навершие из одной буквы, заставившее наборщика разорвать слово, заканчивалось мощным, широким основанием, оно будто придавливало собой край листа, расплющивало его, и, еще не зная текста, К. прочитал визуальный смысл послания: вот так будет и с адресатом, вот так всей массой, всей тяжестью…

«Ваше сиятельство!» – начиналась цидуля. В прошлой, вспомнил К., к нему обращались «милостивый государь». Объяснение возросшей почтительности воспоследовало, впрочем, незамедлительно: «Не смеем обращаться к Вам никак по-иному, потому что, как видим, Вы чувствуете себя не меньше чем князем, а то и графом. Некоторые, правда, придерживаются убеждения, что княжеское достоинство ощутимо выше достоинства графского, но мы-то знаем, что князей в нашей истории было как грязи, а графов куда меньше, следовательно графа и следует ставить выше, чем князя». Строки сбежали с вершины, удлинились, и читать послание стало удобно. «Вернемся, однако, к цели нашей эпистолы, Ваше сиятельство, – текли расширяющиеся строчки. – Случилось нам тут совсем недавно проезжать мимо Ваших поместий, и печальную мы вынуждены были лицезреть картину. Луга не кошены, поля не убраны, птицы пируют безвозбранно, летая целыми тучами. Как же так, граф? Пришлось нам остановиться и, засучив рукава, из глубокого почтения к Вашему достоинству навести порядок в Ваших владениях. Если что не так сделали, Ваше сиятельство, не обессудьте. Как могли, так и помогли. Мы ведь из лучшего отношения к Вам, граф. Из самого лучшего, почему Вы не замечаете наших усилий? Нам это обидно, граф. Мы, граф, даже близки к гневу. А в гневе мы, знаете… мы, бывает, себя не помним в гневе. Такое, бывает, сотворим, а не помним. Так что вы обратите внимание, граф, на наше доброе отношение к вам, на наше желание помочь вам, а и на наше долготерпение! Но оно не бесконечно, наше терпение. Гнев понемногу начинает обуревать нас, а “обуревать”, возьмите себе на заметку, от слова “буря”. Зачем Вам, граф, буря в Ваших владениях, неужели Вы ее жаждете? Не жаждите бури, граф, не жаждите! Что хорошего в буре? Тут не только что-нибудь дурное с дверью может произойти, но ведь и с крышей, и со стенами – вообще может дом рухнуть!» И, как в прошлом письме, без всякого перехода послание неожиданно срывалось на язык подворотни: «Торопись, паскуда, время не ждет, никто с тобой валандаться больше не будет, за жопу тебя – и на березу, будешь там мудями звенеть».

К. молча передал изжеванный лист с пирамидой другу-

цирюльнику: прочти.

Не до конца прикрытая дверь квартиры растворилась – на пороге возник отец.

– Куда это вы провалились? – спросил он.

– Вот, здесь мы, – с трудом прошевелил мертвыми ледяными губами К.

– А кто это звонил? Что было нужно?

– Ошиблись этажом, – поспешил ответить за К. друг-цирюльник.

Отец обвел их недоверчивым взглядом. Посмотрел на стопку оберточной бумаги в руках друга-цирюльника, на жеваный лист с пирамидой.

– Да? И что вы тут стоите, не заходите обратно?

К. собрал в кулак всю свою волю, чтобы преодолеть неповоротливую ледяную тяжесть языка.

– Нам тут немного поговорить нужно.

– Да, мы уже недолго, сейчас обратно, – с видом самой правдивости развил его уклончивый ответ друг-цирюльник.

Отец еще постоял около них, все с той же недоверчивостью переводя взгляд с одного на другого, но никаких улик, чтобы выказать свое неверие их словам, у него не было, и он повернулся, исчез в квартире. К.закрыл за ним дверь – на этот раз доведя ее до упора и дав язычку замка со звонким металлическим лязгом защелкнуться.

– Читай, – попросил он друга-цирюльника.

– Читаю, – отозвался тот. Глаза его уже были устремлены на словесную пирамиду.

Он спускался с вершины к подножию – и К. казалось, что друг-цирюльник слишком медленно делает это, ему недоставало терпения дожидаться, когда друг-цирюльник прочтет наконец цидулю. Но наконец тот дочитал. Протянул К. лист с пирамидой и, когда К. взял его, произнес:

– Говорю же: покатился снежный ком с горки. – Он принялся скручивать пустые оберточные листы у себя в руках трубкой. – Не хотел тебе говорить… но, видимо, нужно. Я из-за чего задержался? Заявились ко мне. Только я собрался к тебе – и как раз. Понимаешь откуда. С предписанием. На гербовой бумаге, с печатями, подписями.

– С каким, прости, предписанием? – невольно поторопил его К.

– С предписанием с завтрашнего же дня свернуть работу салона. Основание – отсутствие у меня высшего образования.

– Прости, – обескураженно перебил его К., – с каких это пор владеть парикмахерской требуется высшее образование?

Друг-цирюльник свернул листы оберточной бумаги в трубку и, зажав в кулаке, постукивал теперь ее концом о ладонь другой руки.

– Они нашли какой-то пункт, там речь о высокотехнологичном производстве. А я для изготовления собственных шампуней-ополаскивателей использую… но дело же не в этом. Ты ведь понимаешь, почему они пришли ко мне? Потому же, почему к твоим, – друг-цирюльник кивнул в сторону квартиры – родителей К. он имел в виду. – Обкладывают тебя. Делают тебя виноватым перед всеми. Давят на психику.

– И к тебе тоже!.. – воскликнул К. Чувство вины уже начало удушать его.

– Мне-то плевать, – сказал друг-цирюльник. – А вот для твоих родителей… для них удар так удар. Я что, я уже позвонил кому надо. У меня половина всех высших чинов оттуда стрижется. И половину из этой половины я лично стригу. Я неуязвим. Но если они за всех вокруг взялись, странно будет, если они обойдут стороной… – Он смолк. Ему не хотелось произносить имени. Он надеялся, что К. догадается сам, кого он имеет в виду.

К. и догадался. Как ему было не догадаться.

– Ты… ты так полагаешь? – спотыкаясь, проговорил он. Привереда – это было чувствительнее всего. Как бы все 273° волной прокатились по нему, от пят до макушки, – такие ледяные, такие обжигающие.

– Не сомневаюсь, – сказал друг-цирюльник. – От тебя хотят капитуляции. Так? А ты сопротивляешься. Надо же заставить тебя капитулировать. Если есть способ…

Есть способ, есть способ – звенели, перекатываясь по К. волнами, от пят до макушки, от макушки до пят, обжигающе-ледяные минус 273.

– Ладно, утро вечера мудренее, – услышал он наконец слова прозвучавшего ответа другу-цирюльнику, удивился: это его голос, это он ответил? – но он это был, он, его голос.

Друг-цирюльник перестал постукивать концом трубки, свернутой из мятых листов оберточной бумаги, о ладонь, смял ее в кулаке и резким движением скрутил в жгут.

– Да уж как не так, – сказал он.

10. Он катится

С этой вчерашней фразой друга-цирюльника «Покатился снежный ком с горки» К. и проснулся. Солнце, несмотря на задернутые занавески, снова обрушивало на комнату ливень фотонов – как и вчера, но совсем другое это было солнце. С какой беспощадностью оно прожигало воздух, как лютовало, заливая режущим светом самые теневые углы его каморы – дыхание бесплодной пустыни было в его свете.

Следовало, однако, вставать, начинать день. Сегодня ему нужно было быть в университете – независимо от желания, – сегодня предстояло провести консультацию перед экзаменом еще для одной группы, а послезавтра и принимать экзамен…

Квартира, когда он выбрался из своей комнаты, встретила его полной, глухой тишиной, какая бывает, когда в квартире, кроме тебя, никого нет – ни звука помимо тех, что произведешь сам. Дверь родительской комнаты была плотно притворена, ни движения за нею, ни шороха, ни голосов. Он и не помнил, когда случалось похожее утро – чтобы они не поднимались до такой поры, не спешили позавтракать, поскорее выйти. К. даже постоял под их дверью, прислушиваясь – вдруг слуху удастся зафиксировать, что происходит в комнате, – но нет: ни движения, ни шороха, ни голосов.

Голову в ванной он мыл, как то делают в парикмахерских: забросив ее назад и ловя макушкой струю из крана, – чтобы вода не попала на лицо. Вытершись полотенцем, К. отклеил перед зеркалом пластырь. Лицо голо глянуло на него из зазеркалья корявыми красно-коричневыми коростами. Вид был, конечно, как у вокзального бомжа. Но, выбирая между Фантомасом и бомжем, он предпочел все же фантастике реальность.

На лестничной клетке, когда выступил из квартиры, по-прежнему пахло вчерашним пожаром. Запах уже не бил в ноздри, а всего лишь вплетался красящей нитью в общий тон подъездного воздуха, но и этой нити было достаточно, чтобы остро напомнить К. вчерашний день. Слова друга-цирюльника про снежный ком, заметенные было торопливыми утренними делами, как веником, в некий укромный угол сознания, вновь, будто сквозняком, выметнулись на свет. И что же, крутилась, носимая этим сквозняком, мысль о привереде, если докатится до нее, если до нее, на нее… Мысль не додумывалась до конца, не созревала. Это напоминало бег по кругу: вот тот же камень справа, вот тот же куст слева, вот канава, через которую уже перепрыгивал, – одно и то же по пятому разу, по десятому, по двадцатому.

К. прошел двором, вывернул на улицу. Гремел посередине проезжей части, догоняя его, трамвай, ползла навстречу по другой стороне дороги, похожая на громадного майского жука, поливальная машина, уныло повесив один водяной ус бессильно стекающей на асфальт тонкой витой струей, другой – распушив ловящим радугу веером и с силой бружжа им о бордюр, откидывая на газон собравшуюся там пыль и мусор. Черноголовая сизая ворона, неся в клюве ветку, низко пролетела навстречу над головой, невидимо развернулась за спиной, вновь возникла перед глазами, села на высохший сук недальнего дерева впереди и каркнула, выронив ветку, – словно послала некий сигнал. Какой? Ну ладно, ну пусть, чему быть, того не миновать, что-то такое, стискивая зубы, катая желваками, сжимая кулаки, говорил себе К., шагая по улице. И снова во всех этих словах была та же незавершенность, зыбкость, тот же бег по кругу – тот же камень, тот же куст, та же канава. Сегодня в отличие от прошлой консультации он не взял с собой сумки с литературой (да к чему, задумавшись на мгновение, сказал он себе, когда перед выходом взгляд привычно стал было искать ее), шел налегке, и руки его были свободны для того, чтобы сжиматься в кулаки.

Университетские коридоры стояли по-сессионному пустынными, но неизбежно все равно кто-то встречался – и преподаватели, и студенты, – и каждый ожидаемо смотрел на него во все глаза. От знакомых пришлось выслушивать ахи и охи, отделываться от их вопросов иронией: «Не пытайтесь поцеловаться с асфальтом – асфальт коварен». Уклончивость его ответа, надо полагать, относили к нежеланию признаться, что поцелуй был нанесен асфальту в состоянии, сказать про которое «подшофе» – не сказать ничего.

На кафедре, однако, он был встречен без всякого удивления. И без сочувствия. На кафедре, как то и должно было быть в это время, торчала лишь одна секретарь, и вот уж от кого К. ожидал ахов и охов, расспросов и экзальтированного участия, но вместо этого его встретил ледяной душ презрения, скрывать причину которого секретарь кафедры не сочла нужным. Отметившись в журнале присутствия, К. был уже у двери, чтобы отправиться в выделенную для консультации аудиторию, когда секретарь – голосом, исполненным этого ледяного презрения, что присутствовало во всем ее виде, – бросила ему в спину:

– Так вы под подозрением! Прощелыга! Агент он! За агента себя выдавал!..

К. обернулся к ней. Ему сразу все стало ясно. Современницу Древнего Рима наконец просветили. Бедняжка! Так проколоться.

– Я разве себя за кого-то выдавал? – спросил он. – Это вы

сами решили, кто я.

– Да вы!.. Вы! А я… я… – Сознание постыдного промаха душило ее ненавистью к нему, ее бледно-йодистые букли тряслись от благочестивого негодования. – Узнаешь! Узнаешь, как шутить с правилами!.. Будет тебе… Полной мерой получишь!

– Дура! Стукачка старая! – вырвалось у К. Он распахнул дверь и, выйдя из комнаты кафедры, с громким стуком и лязгом замка швырнул дверь обратно в косяк.

В тот же миг он пожалел, что не сдержался. Достойнее было не отвечать. Или бросить что-нибудь саркастичное. Но что? Не было в нем никакой саркастичности. Один лишь этот крик, и не совладать с ним.

Консультацию К. провел отвратительно. Какой блеск, какое щегольство, какое горделивое самоуважение, от которого всегда хотел избавиться – и не удавалось. Вот избавился. Пытался сымитировать себя прежнего, и не получалось. «Не жаждите бури, граф, не жаждите… за жопу тебя – и на березу», – торчали в голове строки последней цидули, и что Беркли, что Витгенштейн – все из живых людей во плоти, какими всегда были раньше, превратились в скучные загробные тени. Стоя на кафедре, каждое мгновение он чувствовал свое покрытое бугристой кровяной коростой лицо, чувствовал, как разглядывают его студенты, как у каждого с языка просится острое словцо о его виде…

– До встречи завтра, – завершил он консультацию. Без обычных своих шуточек, острот, фехтовальных выпадов, которые, знал, уже стали для студентов его фирменным стилем, и они ждали их от него, без них он как бы был не он.

После консультации неизбежно следовало снова зайти на кафедру. Снова оказаться лицом к лицу с этой современницей Древнего Рима. Нельзя было не зайти. Амбарная книга прихода-ухода требовала неукоснительного подчинения своим свинцовым взысканиям.

Судьба с издевкой предоставила ему отсрочку.

Человека, что шел ему навстречу пустынным коридором, он видел в университетских стенах и раньше. Они даже узнавали друг друга и при встречах непременным образом раскланивались. Человек был отцовского возраста, несколько с простоватым, кошачьего склада лицом, чему, возможно, способствовали седые толсто наросшие над губой усы, но с благородной, выдающей уважительное отношение к себе осанкой, неторопливыми движениями, и здоровался он всякий раз с такой внушительной вежливостью, непременно склоняя в поклоне голову – чем заставлял и К. следовать его примеру, – что лишь это слово, раскланивались, и подходило для определения того краткого

действа, что всегда представляло собой их взаимное приветствие. Несомненно, человек с благородной осанкой работал в университете, только кем он был?

– А, на ловца и зверь бежит! – еще не доходя до К. и не предпринимая на этот раз попытки раскланяться, сказал человек с благородной осанкой. Остановился, загораживая К. путь, и, глядя на него с укоризной, произнес с отеческим порицанием: – Ну, как же вы так?!

– Что? – К. растерялся

– Пойдемте, – позвал его человек с благородной осанкой. Кивнув на этот раз головой, но не в приветствии, а дополняя кивком свое приглашение. После чего развернулся и двинулся в обратном направлении.

И К., странным образом воспринимая это как должное, словно откуда-то знал, что так положено, что этот человек имеет право ему приказывать, а он обязан подчиняться, послушно последовал за ним. Впрочем, в следующий миг он воспротестовал:

– Позвольте! Почему я должен с вами идти? – И остановился.

Человек с благородной осанкой также остановился, полуповернулся к К., смерил его неторопливым взглядом и бросил:

– Для вашей же пользы. У меня уютно, вам понравится. Не здесь же толковать.

Двинулся дальше, не оглядываясь – следует ли за ним К., – а К., несмотря на невразумительность полученного объяснения, снова покорно пошел за ним и больше уже не выражал своего нежелания ему подчиняться. Он знал, кто это. Он понял, что знал это всегда, – и лишь не осознавал своего знания.

И, как следовало тому быть, дверь, к которой они пришли, была железной. Скрытой в своем бронированном естестве под кожей обивки, с деревянными, искусно камуфлировавшими металлическую раму накладками, но все равно в облике ее было нечто такое увесистое, что сомневаться в том, из чего она изготовлена, не приходилось. С горделивым самоуничижением она прятала себя в тупике такого сложного лабиринта ходов и переходов, что К. за все время, как университетские стены приняли его, похоже, и не заносило сюда.

Внутри комната оказалась просторнее, чем можно было предположить, но обстановкой она тотчас напомнила К. комнату в участке, в которой он был с пантагрюэльшей: кожаный диван, кожаные кресла, пальма в бочке, музыкальный центр с большими черными динамиками, картины на стенах, так что рабочий стол человека с благородной осанкой в дальнем углу был и незаметен.

Во всяком случае, не бросался в глаза.

Дверь за спиной мягко всхрапнула электронным замком, человек с благородной осанкой, словно любуясь К., проиграл по нему взглядом и указал на одно из кресел:

– Располагайтесь. – Сел сам, дождался, когда сядет К., и, все так же словно любуясь К., повел вокруг рукой: – Нравится? Уютно? А вы не хотели идти! Экий вы!

– Чем обязан? – спросил К. А сам знал, что в глазах человека с благородной осанкой не стоит со своим показным самоуважением и гроша.

– А тем, а тем, а тем! – сказал человек с благородной осанкой, будто разгоняя себя. И помчал: – Что же вы делаете, что делаете?! Нельзя же так! То ректор, то вы… Мы же вас тянем, вы видите, как мы вас тянем? Помочь вам хотим, спасти вас, а вы!.. Ректор вон достукался… вы что, того же хотите? Вам предлагают, вас предупреждают, вам добра хотят… нет, как же так можно?

– Я за собой не знаю ничего, в чем бы мне следовало каяться, – сказал К.

Об этом, о чем еще, говорил человек с благородной осанкой.

То, что об этом, человек с благородной осанкой тотчас и подтвердил.

– Не знаете, конечно, – подхватил он, все с тем же отеческим увещеванием в голосе. – Конечно, не знаете, откуда. Мы себя не знаем. Мы же себя не видим? Не видим мы себя. Нам нужно зеркало. Зеркало чтобы нам поднесли, а мы бы в него глянули. Служба стерильности, она это самое зеркало и есть. Вы в нем отражаетесь. Такой, какой вы в действительности. Поверьте органам стерильности. Поверьте!

– Да как же верить. – К. позволил себе короткий смешок, хотя отнюдь не смешно ему было. Может быть, то продребезжали так нервы. – Ведь мне же никакого обвинения не предъявляется. В чем каяться?

Человек с благородной осанкой сокрушенно покачал головой. Ему было жаль К., ужасно жаль, он переживал за него, как за сына, вляпавшегося по неразумию в неприглядную историю.

– Верить! Нужно нам верить! Вера в основе всего. Разве не так? Ведь вы же вот, не спорьте, не спорьте – знаю, знаком с вашими взглядами, верите вы в Бога. Единого, Вседержителя, Творца небу и земли. Верите, ведь так? Верите?

– Ну, – проговорил К. – Скажем так. И при чем здесь служба стерильности?

– При том, что вы же не требуете от Бога доказательств его существования. Просто верите в него, и все. Вот так же и тут нужно верить.

К. снова непроизвольно похмыкал. Оказывается, его лекции слушали не только студенты.

– Нашли что сравнить, – сказал он. – И Кант, кстати, давно обнародовал доказательство существования Бога. Весьма убедительное.

Досадливая гримаса покривила лицо человека с благородной осанкой.

– Вот только не надо Канта с его звездным небом. Что за доказательство. Нашли тоже доказательство!

Он собирался продолжать – увещевать, сокрушаться, жалеть, – К., не поняв, как это получилось, оборвал его:

– Служба стерильности – не Бог. Можно разве сравнивать!

Что произошло с лицом человека с благородной осанкой! Казалось, слова К. сотрясли его подобно землетрясению: лицо его словно обрушилось, погребя под развалинами и отеческое сокрушение и сердобольную жалость к К., что были написаны на нем до того. Серным раскаленным дымом дохнуло на К. от рухнувшего лица человека с благородной осанкой.

– Все с вами ясно! – поднялся он. И помаячил К. рукой: поднимайтесь, поднимайтесь тоже. – Ваш жребий – ваш выбор. Сами избрали свою участь. Мы долготерпеливы, но не бесконечно. Жаждете бури – получите.

Так вот кто автор цидуль, осенило К. Стиль их подходил к образу человека с благородной осанкой идеально. Можно было бы еще сомневаться в авторстве, но цитирование последнего послания, было ли то случайным или намеренным, не оставляло сомнений.

А это не по вашей ли милости я оказался под подозрением, рвалось у К. с языка, но он обуздал себя. Ему предлагалось уйти, и он незамедлительно воспользовался предложением.

Заключительный удар ждал К. на кафедре. Секретарь кафедры, когда, помедлив мгновение, решительным движением распахнул дверь, сидела за своим столом с таким видом, словно только что получила известие о некой победе, к которой долго и целеустремленно шла. Распахнувшаяся дверь со всей очевидностью – это было в позе, игре лица секретаря кафедры – прервала ее разговор с завкафедрой. Завкафедрой тоже был за своим столом в дальнем углу комнаты у окна. И весь его вид также свидетельствовал о прерванном разговоре – который, должно быть, и доставил такое упоительное чувство победы современнице Древнего Рима.

– Добрый день, – входя в комнату и закрывая за собой дверь, поздоровался К. с завкафедрой. Кого он не ожидал увидеть сейчас здесь, так это его. Завкафедрой сегодня вроде не должно было

появляться в университете.

– Да-да, добрый. Скажем так, – покивал завкафедрой со своего места. Странно выглядело его приветствие.

– А я считаю, добрый, – с этой победностью, которая была во всем ее облике, подала голос современница Древнего Рима. – Очень даже добрый, и не скрываю своего мнения.

О чем она говорила, что имела в виду?

– Проходите, проходите, – позвал К., помаячил рукой завкафедрой. – Сядьте куда-нибудь…

И опять то, как он обратился к К., показалось К. странным. В несвойственной ему манере вел себя завкафедрой. Такая зыбкость интонации, смазанность жестов… А как правило – бритвенная артикулированность речи, внятность каждого движения руки, бровей ли. И непонятно смотрел на К.: будто не мог сконцентрироваться взглядом, смотрел на него – и мимо него одновременно. Никогда прежде не видел его К. таким.

Стул, что выбрал К., находился на равноудаленном расстоянии от столов завкафедрой и современницы Древнего Рима. Стол современницы Древнего Рима отталкивал от себя, как противоположный полюс магнита, но не притягивал к себе и стол завкафедрой. Непонятное опасение внушал ему сегодня завкафедрой. Ток недружелюбия исходил от него. Было ощущение – нужно ждать от него чего-то плохого.

К. не ошибся в своем ощущении.

– Вы завтра не приходите принимать экзамен, – сказал завкафедрой, все так же глядя на К. и при этом не глядя. Он, как обычно, был в своем светлом летнем пиджаке, надетом на темно-серую майку с круглым горловым вырезом, но что-то словно бы обветшалое было в его молодежном облике, потрепанность какая-то, дряблость. И даже его артистически распадающиеся на пробор посередине головы длинные волнистые волосы, хотя и были, как всегда, свежевымыты, не пушились, а скатались сосульками.

– Почему мне не приходить принимать экзамен? – спросил К. – подобно сдающему экзамен студенту, что не знает ответа и оттого повторяет за экзаменатором произнесенную им фразу почти слово в слово в отчаянной надежде выудить из того необходимые ему знания. А между тем все он уже знал, все ему было понятно. Неясно лишь, результат ли то его разговора с хозяином комнаты за бронированной дверью, воплощающим в жизнь свои угрозы с такой быстротой, или решение было принято завкафедрой вне всякой зависимости от этого разговора, и он так внеурочно прибыл на кафедру специально для того, чтобы объявить К. свой вердикт. Хотя для сути дела, что раньше, что позже, что за чем воспоследовало, и не имело значения.

– Отдохните, – коротко ответил завкафедрой на вопрос К., почему ему не приходить на экзамен.

– Но это мои студенты, это я должен принимать у них экзамены. – К. упорствовал, прекрасно осознавая всю бессмысленность своего сопротивления. Больно уж оглушающий был удар. К нему нужно было привыкнуть. Справиться с ним.

– Примет кто-нибудь другой, – не стал вступать с ним в пререкания завкафедрой.

– Под подозрением, а хочет, чтобы… молодое поколение ему учить! – не выдержала молчания секретарь кафедры.

Но К. не удостоил современницу Древнего Рима ни ответом, ни взглядом. Бедняжка! У нее под носом всколосилось такое дело, а ее даже не поставили о том в известность.

– Мне что же, – страшась вопроса, что собрался задать, но и невозможно было не задать! – мне вообще в университет не приходить? – спросил у завкафедрой К.

– Ну конечно, – сказал завкафедрой. Повторив, как если бы ему доставляло радость произносить и произносить это слово: – Отдохните.

В следующий миг К. обнаружил себя на набережной у парапета. Словно он самым волшебным образом перенесся сюда, непостижимо как проигнорировав все физические законы, властвующие над пространством и временем. Телепортировался. Не меньше получаса должен был занять путь от университета до этого места на набережной – почти того же, где получил первую цидулю, – но ничего он не помнил: как покидал кафедру, как спускался по гранитным ступеням университетского здания, крутил улицами и переулками, пересекая под носом рыкающих автомобилей перекрестки… Вот завкафедрой за своим столом: «Отдохните!», современница Древнего Рима: «Молодое поколение ему учить!» – и сразу белая линейка парапета, истончающаяся вдали в нитку, зелень склона, сверканье воды и, как всегда, отваливающая от пристани веселая ярмарочная игрушка речного трамвайчика, гладящий измятое водное полотно посередине реки белый утюг теплохода в несколько палуб, разбегающиеся на полреки пенные усы глиссеров. И почему его привело сюда? Какую задачу хотело решить подсознание, направляя его стопы к этой точке?

Позвонить другу-цирюльнику, вяло прошевелилась в мозгу уже вполне подвластная осознанию глухая мысль. Но зачем? Снова оросить ему слезами жилетку? К. и без того испытывал стыд, что другу-цирюльнику пришлось погрузиться в его проблемы столь глубоко. Не вчерашняя все же безвыходная ситуация.

Однако только он подумал о друге-цирюльнике, тот и объявился – звонком телефона, промолчавшего до того все утро. И, к удивлению К., друг-цирюльник попросил его подойти к нему. Хотя и в странной форме.

– Хочешь заглянуть ко мне? – спросил он. – Будет интересно, обещаю.

К. попытался выяснить, что такое интересное его ждет, но друг-цирюльник не пошел навстречу его любопытству.

– Не пожалеешь, не пожалеешь – только пообещал он. – Еще как будет интересно.

Ходьбы до салона друга-цирюльника было те же полчаса, что от университета, но вот эти полчаса К. еще как заметил, каждую минуту в них заметил, каждую секунду. Он шел, шел, шел, а время стояло на месте, ноги не двигались – волочились, такое усилие приходилось прилагать, чтоб сделать каждый новый шаг!

Но наконец он дошел. Вернее, еще не дошел, а лишь вывернул на улицу, где был салон. Метров сто оставалось до него. От перекрестка, с другой стороны улицы, он был прекрасно виден К., и только К. пригляделся, ему сразу стало понятно, что такое интересное обещал друг-цирюльник. Большие солнцезащитные зеркальные окна салона были разбиты. Не трещины, не сколы в углах, которые были бы и незаметны с расстояния в сотню метров, а большие звездоподобные зияющие дыры – провалы в мрачную преисподнюю, полученные от мощного броска увесистого камня.

Вблизи картина была еще ужаснее. Асфальт перед разбитыми окнами усеян осколками стекла, входные двойные двери, тоже стеклянные, но не из простого стекла, а бронированного, выворочены из стены вместе с рамой. Разбить стекло в них не удалось, и они, все в красной муке и щебне кирпичной кладки, целехонько дыбились в проходе, взгромоздясь одна на другую, подобием противотанкового надолба. Выкорчевать их так из стены – это нужно было основательно потрудиться, и с шумом, да с большим, без ломов и кувалд не обойтись, не одну минуту стоял тут этот шум – пожелай, полиция могла бы приехать раз десять. Судя по всему, не приехала. Или приехала?

Прижимаясь к стене, К. протиснулся мимо бронированного надолба (под ногами хрустело, трещало, хрупало) и ступил внутрь. Погром был и внутри. Место беспощадного, свирепого боя представлял собой дышавший раньше респектабельной буржуазностью холл. Свисающие лохмотьями порванные обои, поломанные стулья, опрокинутые бочонки с перерубленными стволами пальм, разрезанная обивка диванов и кресел, расхваченные ножом картины на стенах.

– Кто там? – крикнул из глубины салона голос друга-цирюльника.

К. отозвался и пошел на голос. Теперь под ногами мягко проминалось: то была рассыпавшаяся длинными языками земля из опрокинутых бочонков с пальмами. Рабочий зал салона, прежде сверкавший зеркалами, белым фаянсом умывальных раковин, ртутным никелем несущих конструкций кресел, напоминил К., когда он вошел в него, ощерившийся переломанными зубами после жестокой драки окровавленный рот: ни одного целого зеркала, ни одной целой раковины, ни одного целого кресла, и подзеркальные столики с вделанными в них мраморными досками тоже разбиты в щепье и щебень. На углоскулом подвижном лице друга-цирюльника, лавирующего ему навстречу между обломками бывшего имущества своего салона, стояла широкая, застывшая маской улыбка:

– Что, не обманул? Интересно тебе? Не ожидал?

– Не ожидал, – выдохнул К., подходя к нему и не решаясь подать руки. Чувство, что виной всей этой картины он, не кто другой, охватило его, только он, еще на улице, увидел разбитые окна.

Друг-цирюльник, однако, сам протянул для приветствия руку.

– И я не ожидал, – сказал он. – Уж не ожидал так не ожидал.

– Но ты же говорил… – К. споткнулся. – Ты говорил, что уже позвонил кому надо.

– Позвонил-позвонил, – согласился друг-цирюльник. – И мне было обещано… А утром мастера пришли на работу – такая картина. Причем сигнализация не сработала! Никакого сигнала на пульт в полиции. Неисправна в самый нужный момент!

– Правая рука не знает, что делает левая. Может такое быть? – спросил К.

– Маловероятно, – отозвался друг-цирюльник. Маска улыбки все не оставляла его лица. Словно он необычайно радовался случившемуся. – Я же сегодня тоже позвонил кому надо. И знаешь, что мне ответили? Тот же человек, что вчера: «Не может быть!» Я говорю, как же не может быть, когда налицо. И знаешь, что он мне тогда? – У друга-цирюльника вырвался быстрый нервный смешок, и маска улыбки наконец оставила его лицо. – Ты послание тебе прочел? – сказал он мне. Так прочти, прочти!

К. ничего не понял.

– Какое послание? Кому? Тебе? – спросил он.

Друг-цирюльник позвал его движением руки: следуй за мной.

К. двинулся за ним, повторяя все затейливые изгибы его пути. Под ногами снова завизжало, заскрипело, захрустело.

Друг-цирюльник привел его к себе кабинет, где он стриг

только близких, а также избранных. К последним, с несомненностью, принадлежал и тот, кому он звонил. В кабинете все было точно так же, как везде в салоне: сломано, разбито, обрушено на пол. Но одно из двух зеркал, висевших здесь прежде напротив друг друга и уводивших комнату в исчезающую бесконечность, осталось нетронутым. Оно было обрызгано какой-то белой порошкообразной субстанцией, и по этой субстанции чей-то неизвестный палец, расталкивая ее в стороны, начертал корявой вязью: «Ты, поц, со своим эсперанто, будешь следущий», – вот так, с пропущенной «ю» после «у».

В одно мгновение постиг К. смысл начертанного предупреждения. В большей мере, чем другу-цирюльнику, оно было адресовано ему. Будешь по-прежнему таким упертым, окружению твоему будет становиться все хуже. Таков он был, смысл.

– Но ведь тебе же предписали просто свернуть работу с сегодняшнего дня, – тупо произнес К.

– Видишь, позаботились, чтобы свернул наверняка, – словно бы шутил, ответил друг-цирюльник, но подвижное его актерское лицо шутки этой не выразило.

К. выругался. Он не ругался обычно, не любил, но тут вырвалось.

– Меня сегодня отстранили от работы, – сказал он. – Завтра экзамен. Будет принимать кто-то другой.

– Недурственно, – отозвался друг-цирюльник. – Я отстранен, – он повел руками вокруг, как мне тут работать, означал его жест, – ты отстранен. Родители твои отстранены. Ведь родители твои, можно сказать, тоже отстранены?

– Можно сказать, что так, – согласился К.

Лицо друга-цирюльника вдруг ожило. Была ничего не выражавшая маска – и неожиданно лицу вернулась его обычная выразительность. Расстроенным, угрюмым, рассерженным – вперемешку все чувства – стало его лицо.

– Давай, знаешь, заканчивай, хватит упираться. – Голос у него также изменился, это был теперь не насмешливый, ироничный голос, а недовольный, досадливый, и даже такая деревянная скрипучесть появилась в нем. – Говорил уже тебе, говорю снова: кайся. Что трудного? – Какой недовольный, досадливый, скрипучий был голос у друга-цирюльника! – Если необходимо! Или ты хочешь всех, кто вокруг, с собой в омут?

– В омут? – повторил за ним К. Одно дело было осознавать самому, что значило происходящее, и другое – услышать об этом от того, кого ты втягивал в кружащий вокруг тебя водоворот. – Не хочу я никого в омут, прекрасно же знаешь.

– Не хочешь? – не без патетики переспросил друг-цирюльник. – Так в чем тогда дело? – Но вопрос его оказался риторическим, он не стал дожидаться ответа, он внезапно задал новый вопрос: – Тебе привереда не звонила?

Он знал, как К. называет ее про себя, сам же К. ему и открылся, но это было интимное, глубоко личное прозвище, и друг-цирюльник не позволял себе называть ее так. Только что-то чрезвычайное могло заставить его обратиться к этому прозвищу.

– А что такое? – Словно бы дыбом встало все во мгновение ока в К. – Тебе звонила?

– Звонила, – подтвердил друг-цирюльник. – Я тебя для того и позвал, чтоб сообщить. Не из-за этого же, – снова указал он на погром вокруг.

– Да, да, – поторопил его К. Никогда не случалось такого раньше, чтобы привереда звонила другу-цирюльнику. – Почему, интересно, позвонила тебе, почему не мне?

– А потому что не знала, как тебе сообщить. – Холодная безжалостность обозначила себя в голосе друга-цирюльника. – Ее, по сути, тоже отстраняют от работы. Тебя, меня, родителей твоих, и вот ее.

– Что значит «по сути»? – Совсем не это интересовало К., совсем не об этом хотел он узнать от друга-цирюльника, но ввернутое им «по сути» создавало эффект приблизительности, некой неокончательности, порождало надежду на недостаточную достоверность информации, и он утопающим за спасительную соломинку ухватился за это вводное слово.

– А вот позвони ей сам, – с той же безжалостностью сказал друг-цирюльник. – Я свое дело сделал: передал тебе. А теперь ты сам. Син, – закончил он, что, должно быть, на эсперанто и означало «сам».

К., не сдвинувшись даже и с места, выудил из кармана телефон, набрал номер привереды – и через минуту он знал то, о чем она не решилась напрямую сообщить ему и о чем уже знал друг-цирюльник. Она сегодня, как и он, тоже побывала за бронированной дверью. Только, естественно, за другой, в мэрии. И там ей было сообщено о снятии с нее допуска к секретным документам. У вас там секретные документы? – удивился К. Каждый второй, сказала привереда. И у тебя был такой допуск? Разумеется, подтвердила привереда, как бы я иначе здесь работала. И что это значит, лишение допуска, спросил К. после провала в полную оторопи паузу. Это значит, что я не смогу исполнять свои обязанности, ответила ему привереда. А не смогу исполнять – в любой момент жди увольнения.

– Тебе как-то намекнули, что это связано со мной? – заставил

себя сложить рассыпающийся пазл фразы после новой паузы К.

– Да нет, не намекнули. Так прямо и сказали, – тоже после молчания проговорила привереда. До того долгого – К. так и почувствовал, как ей, чтобы выдавить из себя эти слова, пришлось собрать все свои силы.

11. День стерильного детства

Как сближает беда, как пронизываешься в ней друг другом! Почему ты не уговорил меня до сих пор жить вместе, всю ночь возвращалась и возвращалась к своему упреку привереда – вдруг проснувшись в один миг с ним и нетерпеливо отыскивая его в темноте руками. Ты должен был меня уговорить, должен был! Этой ночью они условились: вот только выберутся из этой ямы, что так неожиданно разверзлась у них под ногами, оставят позади все злоключения, так и свяжут свои жизни официальными узами. Отпадет унизительная необходимость всякий раз отчитываться перед этой всесильной службой, что ты не один как перст, не схимник-затворник, а нужен кому-то, делишь с кем-то свою судьбу – понятен, благонадежен, пристойный член общества.

Утром К. не мог ее добудиться. Оставь меня, что ты, я буду спать, ну зачем, сонно лепетала она сквозь сон, отмахивалась от него, отворачивалась, накидывала на себя одеяло, подтыкала под подбородок, и через мгновение, слышал он по ее дыханию, уже проваливалась в сон, как в обморок. Давай поднимайся, пора, принимался он снова будить ее через минуту-другую-третью, не тревожа ее эту пору, давая побыть в сонном забытьи, может быть, даже увидеть сон, чтобы ей представлялось, будто между пробуждениями прошло достаточно долгое время. Нет, сегодня суббота, никуда не нужно, оставь, бормотала она сквозь сон. Я буду спать, сколько влезет… Но тебе нужно на празднование Дня стерильного детства, решил он наконец быть с ней беспощадным. Суббота, но вас обязали прийти, транспарант даже выдали, отмечать будут.

– Какое стерильное детство… при чем здесь я… – заплетающимся языком, с закрытыми глазами ответила она, откровенно намереваясь и на этот раз ускользнуть от него в сон, и вдруг словно встрепетала, распахнула глаза, приподняла над подушкой голову: – Меня же лишили допуска! Мне теперь там не работать! Мне теперь все равно, я не иду!

– Идешь, идешь, – внушающе сказал К. – Вернут тебе допуск. Сегодня суббота, в понедельник я… как мы с тобой договорились… вернут тебе допуск.

В понедельник он, – к такому решению они пришли ночью, – отправлялся «виниться». Теперь он понимал, что имел в виду тот похожий на кощея человек с накинутым на плечи пальто в неприметном особнячке, утонувшем в густой зелени дерев и кустарника, когда сказал ему «не готов». Вот теперь он был «готов». Теперь дожарился, допекся, доварился – достиг

кондиции.

– Куда ты в понедельник? – опустила голову обратно на подушку привереда. Глаза у нее опять стали закрываться. – О чем мы договорились… – В следующее мгновение ее как подбросило, она сметнула с себя одеяло и села на постели. – А, мы же с тобой!.. Мне же, конечно… Который час?! – воскликнула она, стремительно опуская ноги на пол.

День разгорался весь укутанный мягкой золотистой пастелью – мережные облака, солнце сквозь них, то и дело стреляющее многострунными искрящимися лучами. На рассвете пролился звонко простучавший по жести оконного карниза крупными тяжелыми каплями быстрый дождь, одна из створок кухонного окна, к которому вплотную был приставлен стол, и они за ним завтракали, распахнута настежь, и снизу от земли веющим ветерком поднимало ее теплый волглый запах. На закрытой створке у стыка стекла с закрепляющей его рейкой штапика собрались и никак не могли сорваться вниз крупные прозрачные капли, и когда солнце выстреливало из-за облаков лучами, капли преломляли их под таким углом, что в них разноцветными люминесцентными огоньками вспыхивали маленькие радуги. Такой уютный, ласковый, славный занимался день – будто вторя минувшей ночи, подтверждая настроением, что создавал, все ночные решения, всю их верность и безошибочность. Сидели напротив друг друга, разделенные столом с главенствующим на нем бронзовым толстодонным чазве, дышащим из своего узкогорлого нутра ароматом крепкого кофе, подливали его себе в чашки, делали бутерброды – и было во всем этом новое, незнакомое прежде: ощущение преддверия той будущей жизни, которой должно было настать невдолге. И птицы, птицы, скрытые в зрелой, шелестящей зеленой листве за окном, невидимо пели многоголосым хором – свистели, свиристели, цвирикали, щелкали, – как освящая эту ждущую их впереди жизнь.

Магия золотистой мягкой пастели дня давала себя знать, и когда сошли вниз, вывернули со двора, двинулись зеленолиственным бульваром в шпалерах нестриженого кустарника, рассекавшим собой улицу, к площади перед мэрией. Все было одето ее флером, все виделось через него. Улица привереды, пусть нескоро, но прямиком выводила к площади, и по обеим ее сторонам, около домов, и тут, по центральной дорожке бульвара, все в одном направлении, не так чтобы потоком, однако и в немалом числе, шли одинаково одетые – белый верх, черный низ – школьники всех возрастов, те, что поменьше, с родителями. У некоторых мальчиков на груди родом боевого оружия топырились барабаны, у девочек были надеты на

запястья тарелки, время от времени какая-нибудь из них, не удержавшись, дотрагивалась перед собою тарелками одна до другой, и улицу прокалывал тугой звонкий звук вибрирующего металла. Те, у кого не было тарелок и барабанов, несли однодревковые транспаранты. К. тоже нес транспарант, только размером побольше, выданный вчера привереде на работе. Вчера она приволокла его из мэрии, теперь транспарант следовал с ними в обратном направлении. «Будь бдителен! Враг стерильности может быть рядом с тобой!» – белым по красному было начертано на их транспаранте. И однако же, несмотря на свирепость надписи, пастельный флер дня растушевывал ее смысл, затирал его, размазывал, как неотчетливым, нереальным казалось все, что случилось с ними и грозилось произойти еще.

– Ништяк! – вырвалось у К. вслух продолжением его внутренней речи – дворовое словечко из детства, когда еще никакой стерильности не было и в помине.

– Что? – не поняла шагающая рядом привереда. – Ништяк? Что это значит?

Она не знала такого слова.

– Это значит, – с удовольствием сказал К. – все же он был преподавателем, ему нравилось, доставляло удовольствие объяснять, наставлять, учить, – это значит «все чепуха», «все гиль», «ничего не стоит», «не следует обращать внимания». Как-то так.

– Ты имеешь в виду… – Привереда споткнулась, причем натурально: обратилась, спрашивая, лицом к К., и нога ее тотчас угодила в незаделанную выбоину на асфальте. К. подхватил привереду под руку, и они продолжили путь. – Имеешь в виду нашу ситуацию? – продолжила свой вопрос и привереда. – Тебя? Меня?

– Естественно, – подтвердил К. – Ништяк, ништяк! Будем вспоминать – и смеяться.

– Хорошо бы так, – вздохнула привереда.

Но магия стоящего пастельного дня действовала и на нее, К. явственно ощущал это; вчерашние ужас и потерянность оставили ее, так разве – легкий их след, вот как в этом вздохе, «хорошо бы так», и даже то и дело прорывалась так любимая им в ней, электризующая его игрунья.

– Будем смеяться, будем, до надрыва животиков, – сказал К. – Гляди, как все складно. Если бы мне сегодня пришлось принимать экзамен, я бы не смог пойти с тобой и тебе пришлось бы отправиться туда без меня.

– Ну, положим, я и сама бы могла донести эту штуку, – указала привереда на транспарант в руках К. – Донесла же вчера.

И вообще была бы без тебя, и все.

– Нет, как бы это ты без меня! – с усиленной серьезностью запротестовал К. – На такой праздник! И без меня? Уж нет, все сладкое пополам!

– А, ты шутишь! – сообразила привереда. И засмеялась. О, как счастлив был ее смеху К. – Я с тобой согласна пополам всякое, – добавила она затем быстро, обхватила на ходу его за шею, потянулась и, так же быстро, как произнесла свое признание, обожгла ему поцелуем скулу под ухом. – Согласна, согласна…

Разрозненные черно-белые фигурки на подходе к площади стали превращаться в поток. Из параллельных улиц, из переулков, из дворов на улицу с аллеей выворачивали и выворачивали одетые в белый верх, черный низ дети, подростки, девушки и молодые люди предвыпускного возраста, многих, как К. привереду, сопровождали – прежде всего младшеклассников родители, даже и вдвоем, – площадь обещала быть заполненной до тесноты.

Так оно и оказалось: на площади, когда К. с привередой вышли на нее, уже давилась толпа. Однако департаменту привереды было определено конкретное место, привереда, ведя К., направилась сквозь толпу туда, три минуты – и она отмечалась у ответственной за явку. Ответственная была толстобоко-мускулистой особой со встрепанными подобием разворошенного сеновала, протравленными пегими волосами, у нее был толстый крикливый голос, и этим заметным голосом, поставив в списке, что держала перед собой в руках, напротив имени привереды галочку и прострельно глянув на К., она погрозила: «Чтоб не отлучаться никуда! В конце снова поверка! И слушать команды! Когда следует, транспарант свой повыше!» – «Само собой», – сама шелковая смиренность, отозвалась привереда, забирая транспарант у К. Коллеги привереды здоровались с ней, что женщины, что мужчины бросали на К. любопытствующие взгляды, впрочем, особого интереса никто не проявлял: многие видели его и прежде, кое с кем он был даже знаком, пришлось раскланиваться: «Здравствуйте! Доброе утро! И я вас рад!»

– Побудешь со мной рядом, да? – просительно проговорила привереда. Никто из коллег еще не знал о вчерашнем лишении ее допуска, но у нее уже было чувство отсоединенности от них, инородности, и она нуждалась в К. как в опоре, поддерживающей силе.

– Я с тобой, – подтвердил К. – Как договорились. Пока не закончится.

Полчаса прошли в перетаптывании на месте, толпа вокруг густела, ничего вокруг, кроме нее, – колонны одетых в черное и

белое детей в центре площади были видны лишь тем, кого природа сподобила вымахать выше среднего роста хотя бы на полголовы. Только пустующая пока трибуна персон на пять-шесть, вознесшаяся над площадью образом капитанской рубки в частоколе микрофонов, и давала знать о непременности ожидаемого действа. Но вот наконец из одного конца площади в другой нарастающей и затихающей волной прокатила барабанная дробь, прокололи острыми звуковыми шпагами воздух тарелки. Транспаранты, поднять транспаранты, мячиком заметалось по толпе указание. Над головами тотчас вырос парусный лес, в просветы древков сквозь него можно было увидеть, как на трибуну одна за другой поднимаются фигуры в темном. Поднимавшийся первым занял место посередине трибуны, остальные устроились по бокам от него. Мэр, мэр, мэр, новым мячиком заметалось по толпе.

– Давай я буду держать, – берясь за древко ее транспаранта, предложил К. привереде.

– Нет-нет, я сама, – не позволила она забрать у нее транспаранта. И потянулась к его уху, понизила голос: – Все же смотрят, ты что. Это я должна держать. Если я отдам… ты что!

Сквозь лес древков было видно, как среди мужских фигур на трибуне возникла женская, растиснула их, припала к частоколу микрофонов – и динамики, расставленные по всему периметру площади, громыхнули ее голосом. Действо началось.

Речь женской фигуры была ковровой дорожкой под ноги мэру. Она расстелила ее – снова прокатилась отрепетированная волна барабанного боя, прозвенели тарелки, и мэр ступил на дорожку.

К. не слушал его выступления. Как и всех последующих. И не пытался, как почти все вокруг, привставая на цыпочки, увидеть, что там делают колонны детей. Он видел все это на репетиции. Да и не было там ничего, на что стоило бы смотреть. Барабанное действо под словесное громыхание динамиков длилось уже четверть часа, когда он увидел того конопатого оперативника службы стерильности, что испортил им тогда с привередой встречу в косихинской ресторации здесь же, на площади.

Конопень двигался сквозь толпу, словно ее тут не было. Всякий, оказавшийся на его пути, должен был отпрянуть, уступить дорогу, а если не успевал, того он отбрасывал в сторону, как, проломив, отталкивает в сторону кусок ледового поля ледокол. В фарватере его подобно ведомым грузовым суднам следовали двое таких же железноплечих, коротко и аккуратно стриженных молодцев, в них угадывалась готовность нерассуждающего подчинения своему ведущему – все же

конопень был у них начальником.

К. смалодушничал. Стоило ему осознать, кто рассекает толпу в их с привередой направлении, он тотчас с поспешностью отвел взгляд от конопеня со товарищи, чтобы не привлечь к себе их внимания, не быть ими опознанным. А опознали бы наверняка, в два счета, – эти двое из фарватера тоже были тогда вместе с конопенем в заведении Косихина.

Его конопень не заметил, как не заметили и те, которых он вел за собой. Но, прошивая собой толпу, они всё стригли ее направо-налево быстрыми острыми взглядами в стремлении выстричь что-нибудь неподобающее проходящему празднеству, дабы немедленно навести порядок, но выстригли хорошую знакомую конопеня. Это была не кто другая, как ответственная за явку из департамента привереды с сеновалом на голове. Увидев конопеня, она тотчас оставила вниманием действо в центре площади, вся потянулась в сторону их ледокольного каравана, замахала руками (сама она была без транспаранта), даже припрыгнула пару раз – сделала все, чтобы привлечь его внимание. Кого вижу, бурной мимикой ответил ей конопень, направляясь к ответственной с сеновалом.

Они сошлись – и ответственная с сеновалом заворковала, заворковала с конопенем, неравнодушна она была к нему, и очень, очень. У конопеня ответного чувства явно не наблюдалось, он похмыкивал, слушая ее, отвечал короткими отрывочными фразами и продолжал исполнять свои обязанности – стриг взглядом вокруг себя, стриг, стриг, натурально как ножницами. Продолжай он движение, лезвия ножниц могли бы и не задеть привереды, но он стоял, он выстригал пространство вокруг себя подчистую, какое там было расстояние между ним и нею – считаные несколько метров, и ножницы, полязгав рядом, хватили по ней. Замерли, как наскочив на камень, мгновение – и лицо его вспыхнуло удовольствием узнавания, он бросил ответственную с сеновалом на полуслове и, как до того рассекал толпу, не утруждая себя обходительностью, преодолел те несколько метров, что отделяли его от привереды, все сносящим на своем пути ледоколом.

– Кого вижу! – воскликнул он. – Массуем? Правильно. Надо поддерживать! А то не хватает людям активности, пассивничают. Показывать им пример… – Тут он заметил К., и бурное его словоизлияние в тот же миг прервалось. К. стоял рядом с привередой, странно, что конопень заметил его только сейчас. Хотя и понятно, почему не заметил раньше: увидев привереду, он не обращал внимания больше ни на кого, он превратился в играющую кольцами мышц анаконду, что ползла к кролику,

гипнотизировала его взглядом, но в гипнотическом трансе была и сама. – О-опля! – проговорил конопень после паузы, последовавшей за тем, как обнаружил К. – И этот здесь? Никуда, что ли, без него? Напрасно! Статус его знаете? Продвинулся! Теперь уже не «под подозрением». Теперь уже «в разработке». «В разработке» – ого! Портрет-то вон не случайно ободран, а? Гляди, и сами «под подозрением» окажетесь. А может, уже! Проверить, может? – принялся он шарить взглядом окрест – и нашел, кого искал: это был один из его фарватерных, они оба пробились следом за конопенем сквозь толпу сюда и обосновались в двух шагах от него. – Ну-ка, зайди на базу! – приказал конопень обнаруженному подчиненному.

Между тем коллег привереды, чем дальше он держал эту речь, тем стремительнее относило в сторону, они отпячивались от их троицы, шажок за шажком, шажок за шажком, обтекали вкопанно замерших подчиненных конопеня, – пустое пространство вырастало вокруг на глазах. Лицо привереды, принявшее было, когда конопень проломился к ней, то же испуганно-умильное выражение, что так неприятно поразило К. при их прошлой встречей с конопенем в косихинской ресторации, все явственнее исполнялось паники и ужаса.

К. лихорадочно прокручивал в голове способы спасения привереды в глазах сослуживцев, – и не мог ничего придумать. Может быть, конопень вовсе и не знал ее имени, и в эту их базу просто нечего было вбить, но он уже и без того скомпрометировал ее, без всяких сведений из их базы, замазал – не отмазаться, и виноват в этом он, К.! Виноват тем, что оказался с нею здесь, здесь и в этот момент!

– Тварь! – вырвалось у него. Он даже не понял, как это произошло. Одно слово – тварь! – и все. Будто внутренней речи стало тесно в нем – и она облачилась в звук.

Что произошло с напоминающим расширенную книзу трапецию жесткокожим лицом конопеня! Казалось, оно вывернулось наизнанку: таким оно стало вмиг по-мясному красным.

– Что? – ответно вырвалось у него, словно он не расслышал и хотел, чтобы К. повторил оскорбление. Но тут же он пришел в себя. – Под белы ручки – и упаковать! – скомандовал он своим подчиненным, указывая на К. И понукнул их, будто подхлестнув кнутом: – Живо, живо!

Время словно двинулось вспять. Словно К. вновь очутился на набережной, где на них с другом-цирюльником налетел скейтбордист и возникшие из воздуха полицейские повлекли их с другом-цирюльником к своим машинам. Только сейчас его

держали не под локти, как тогда, а как после, уже в участке: заломив руки назад, к самому затылку, отчего тело тотчас пригнуло к земле, сделало покорным воле подчиненных конопеня, и он послушно – что из того, что не желая, – заперебирал ногами туда, куда его направили. Серый шероховатый асфальт площади был перед глазами, срезы разноцветных широких и узких брюк на мужских и женских туфлях, икры полных и худых женских ног, обрезанные подолами юбок, рвал барабанные перепонки голос привереды, обращенный… к кому? – «Перестаньте! Прошу! Что вы делаете?!» – и, оттеняя ее крик, лиственно шелестели, сливаясь в невнятный ропот, множество других, чужих голосов.

Потом ноги, туфли исчезли из поля зрения, исчез голос привереды, остальные голоса, осталось лишь стремительно убегающее назад полотно асфальта, шаркающий звук собственных ног и ног увлекающих его с собой оперативников, в ушах гулко и мощно стучала кровь, голове было невероятно горячо – казалось, ее калило изнутри угольным жаром. Поворот, еще поворот, вылетевшая под ноги бордюрная строчка, о которую он закономерно споткнулся, но руки оперативников поддержали, зеленый лоскут скверно подстриженного мягко пружинящего газона, новая строчка бордюрного камня, с которого на этот раз – вниз, пыльная рубчатая шина в выемке веселого желтого автомобильного борта – и перед глазами оказалась раскрывающаяся навстречу К. дверь. Что-то приветливо-благодушное было в этом ее встречающем движении, и К. непроизвольно попытался разогнуться, увидеть расширяющийся дверной проем во всю высоту (для чего? желание, подобное инстинкту), но его уже принимали изнутри: сгребли на холке рубашку в горсть и вдернули к себе. Ноги у К. при этом рывке не успели за всем телом, он грохнулся коленом о ступени, – снизу в ягодицы уперлась широкая ладонь и с суровой неумолимостью подтолкнула наверх. «Не дергайся, если не хочешь, чтоб было больно», – сказал над ухом голос принявшего его внутри. Лязгнуло железо, маслянисто пропели петли – решетчатая дверь проплыла перед лицом К., и его, все такой же суровой неумолимой рукой, направили в открывшуюся щель. «Не дергайся, – снова сказал голос. – Сиди как мышь».

Автокамера это была. Передвижная тюрьма. Вот и он сподобился. Как те, с кем встретился тогда в травмпункте.

К. прошел вглубь и сел на скамейку. Голова все так же пылала, кровь в ушах била молотом по наковальне. Нет, сидеть было невозможно. Он встал и шагнул к зарешеченному окошечку в борту. Но стекло в нем было бугристо-рифленым, толстым, оно

только пропускало свет, и все – ничего было невозможно рассмотреть через него. Не дергайся, звучал в К. голос охранника, препроводившего его сюда. Он вернулся к скамейке, снова сел на нее, оперся за спиной на руки, вытянул ноги. И что дальше, что дальше? – вместе с молотом крови в ушах бил теперь в нем вопрос. Одиночным, однако, было его заключение, и некому было задать этот вопрос вслух. А если бы и было кому? Можно получить ответ?

Часа два – все время, что продолжалось празднество на площади, – провел К. за решеткой. Спустя какую-то пору соседи у него стали появляться, и набралось в конце концов человек пять, но все это была публика навеселе, двое, устроившись в углу на полу, сразу уснули, остальные – один говорил сам с собой, другой икал, измучился и никак не мог перестать, третий, не переставая, бубнил себе под нос какую-то невнятицу, все искал что-то в карманах, не находил, но снова искал… и К. так ни с кем и не заговорил.

После очередного стука в дверь, когда охранники, живо подхватившись со своих мест, отомкнули ее, наверх по ступенькам никого не втащили. Дверь снаружи открыли в полный раствор, впустив вовнутрь уличный свет и воздух. По абрису заслонившей свет фигуры, принявшейся всходить по ступеням, К. опознал конопеня. За ним, совсем перегородив доступ в автокамеру света и воздуха, возникла еще одна фигура – судя по всему, один из его подчиненных.

Конопень взошел, показав своему молодцу жестом остаться на ступенях, перебросился с охранником, что открыл дверь, короткими репликами, и ступил к решетке камеры.

– Что, свобода! – обращаясь к К., сказал конопень. Он был сама доброжелательность и сердечность. Даже как бы благодушное покаяние звучало в его голосе. – На выход. Прошу!

Охранник между тем уже вставлял в замок ключ и проворачивал его, открывая камеру.

К. смотрел на конопеня из глубины камеры, молчал и не трогался с места. С чего вдруг конопень так изменился? Он не верил конопеню.

– Да не бойсь, что ты там! Не сделаем ничего. Выходи! – крикнул со ступеней подчиненный конопеня. – Силком тебя на свободу, что ли?

– В самом деле. Не силком же, – все с прежним благодушным доброжелательством подтвердил конопень.

К. помедлил еще некоторое время и, преодолевая себя, двинулся к распахнутому выходу из камеры. Он все так же не верил конопеню. Но странно было упорствовать и оставаться в

камере, когда тебе предлагалась свобода.

Конопень, пропуская его к выходу вперед себя, похлопал К. по плечу.

– Только не спеши, не спеши.

К. всего передернуло от этого покровительственного похлопывания и снисходительной интонации конопеня. Однако он счел, что лучшим ответом будет молчание.

Подчиненный конопеня, стоявший в дверях автокамеры, пятясь перед К., соступил на землю, но когда К. хотел обойти его, тотчас загородил К. дорогу. Они были непомерно близко друг к другу, аура в ауре, неудобно смотреть в лицо, и тело чувствовало жар его богатого мышечной массой, натренированного тела, кузнечные мехи его легких обдували лицо на выдохе ветерком.

– Вот так взять и уйти? – укоряющее сказал подчиненный конопеня. – Свобода – вещь дорогая. За нее поблагодарить следует.

Сзади уже стоял, с грохотом слетевший по ступеням, и тоже едва не подпирал К., обжигал своей мускульной энергией конопень.

Автокамера, рявкнула мотором, сотряслась, проскрежетала и тронулась. Они остались на обочине дороги втроем. Улица была слепяще залита полдневным солнцем, пустынна, в меру зелена. Обыкновенный июньский день, обыкновенная улица.

– И как же я должен поблагодарить? – спросил К. запирающего ему дорогу подчиненного конопеня.

– Во-во-во, – отозвался вместо того конопень за спиной. – Хороший вопрос. Погорячились мы, признаем. Но ведь и не просто же так погорячились, а? Мы тебя отпускаем, но ты тоже… навстречу нам. Мы тебе – ты нам. Проставиться надо. Чтобы заполировать. Чтобы и нам не обидно.

Проставиться! Они хотели, чтобы он в обмен на освобождение купил им спиртного! Чувством ликования захлестнуло К. Спиртного! Всего-то! Тут же, однако, ему вспомнилось, что денег у него в кармане, как и обычно, не густо.

– Двух бутылок… – Он споткнулся. У него чуть не вырвалось «хватит вам?», но с их тонкой душевной организацией такую форму вопроса они с легкостью могли счесть оскорбительной. – Две бутылки – нормально будет? – перестроился К. на ходу.

– Две? – с ласковостью в голосе, даже как бы проворковав, переспросил конопень. – Мы звери, что ли. Одной хватит.

На одну – этих денег в кармане у К. должно было достать с лихвой.

– Знаете, где здесь магазин? – решил он как можно скорее исполнить предъявленное требование.

– Проведешь? – посмотрел конопень мимо К. на своего подчиненного.

– Да рядом тут, что, – как подтверждая то, что уже сообщал, отозвался тот.

– Веди, – повелел конопень.

Откуда-то из воздуха соткался и обрел материальность другой его подчиненный, ходивший в фарватере. Он молча присоединился к ним, и все вчетвером, посмотреть со стороны – дружной компанией, К. посередине, они двинулись путем, которым повел их молодец, что запер К. дорогу после его освобождения из автокамеры.

До магазина и в самом деле оказалось совсем близко: пять минут – и вот они уже стояли у крыльца. Это был один из магазинов самой дорогой в городе сети, К., раз как-то по случаю побывав в таком, никогда больше в магазины этой сети не заходил.

– Ну, ты иди. А нам зачем. Мы здесь подождем, – благославляюще проворковал конопень.

– Не-не, – остановил К., сделавшего было шаг, фарватерный, что не позволил ему отойти от автокамеры. – Куда? А поинтересоваться нашим пожеланием?

– Да уж! – фыркнул другой фарватерный. – Пошел он… Банку водяры, что ли, хотел нам поставить?

– Нет? Не водки? – с нарастающей тревогой начиная понимать, что их согласие обойтись всего лишь одной бутылкой – это какая-то каверза, подвох, уловка, посмотрел К. на конопеня, – все же он был у них старшим.

С жестокой удавьей веселостью во взгляде смотрел на него конопень.

– Водяры мы себе и сами купим… – похмыкивая, произнес он.

Фарватерный, заперший К. дорогу у автокамеры, похмыкал в пандан конопеню.

– Коньячка баночку, – сказал он. – Одну, мы не звери, больше не надо. Но уж без нее… не выходи! Шесть лет выдержки, ноль семьдесят пять, увидишь там, где коньяки стоят…

Следом он назвал марку, и К. стало ясно, в чем состоял подвох. Коньяк, который они требовали с него, стоил его месячную зарплату. Зарницей, сверкнувшей у горизонта, мелькнула мысль о друге-цирюльнике и, как та пропульсировавшая зарница, погасла. Как было обращаться к другу-цирюльнику после погрома в его салоне.

– Да нет, – сказал он. – И близко к такому коньяку я вам ничего купить не могу.

– И близко нет?! – возопил фарватерный, заступивший К.

дорогу у автокамеры и сейчас огласивший их требование. – На свободу по дешевке?! Ты свободе цены не знаешь?!

Жестокая удавья веселость стояла на равнобедренной трапеции веснушчатого лица конопеня.

– Пардон! – проговорил он. – Так просто ты от нас уйти не можешь. Долг платежом красен. Нет денег – значит, без денег. Иди тогда, бери – и выноси нам.

– Без денег? – недоуменно переспросил К. – Как без денег… Вы мне что предлагаете? Своровать?

– Ничего мы тебе не предлагаем. – Конопеню было как лень произносить слова, он доставал их из себя – каждое будто из глубокого колодца. – Сам решай. Хочешь свободы – потрудись.

– Давай-давай, – сказал фарватерный, что не позволил К. уйти от автокамеры. – Не ты первый, не ты последний. У них там досмотр не особо. Возьмешь – и там справа от касс, проход там, кассиры спиной к нему… все проходили, не было еще случая, чтоб не проходили.

– Все проходили, не было случая! – подобием эха подтвердил другой фарватерный.

– Не может быть, – сказал К. – Видеокамеры там везде.

– Где не надо, там есть, а где надо, там нет, – как если бы угрожал, провещал фарватерный, загородивший К. путь.

– Не может быть, – повторил К. У него было чувство ирреальности происходящего. – Чтобы в винном отделе не стояло видеокамер?

– В винном есть, – согласился с ним конопень. – Кто же говорит, что не стоит. А где проход – нет. Специально оставлено. Для таких случаев.

– Давай-давай, – с нетерпеливостью снова сказал фарватерный, задержавший К. на выходе из автокамеры. Подступил к К. и, выпятив живот, подтолкнул его тем к крыльцу. Этого, посчитал он следом, мало, и, цепко взяв К. за руку у локтя, принялся разворачивать его к магазинной двери. – Хватит телиться. Иди, наконец!

– Иди, иди! – понукнул К. и конопень все с тою же ласковой удавьей веселостью.

К. дернул плечом, высвобождая руку из тисков подчиненного конопеня, и стремительно шагнул к входу в магазин. Спасительная мысль осенила его: выйти из магазина через черный ход. Зайти в складское помещение, сказать там… неважно что, попроситься – и пусть конопень со своими молодцами ждет его здесь.

Магазин, оправдывая свою репутацию дорогого торгового заведения, встретил К. свежестью прохлады от честно

работающего кондиционера, даже излишней для нынешнего пастельного дня. Народу, то ли по причине субботы, да лето, то ли всегда здесь так, было немного – три-четыре фигуры на весь зал в поле зрения. Продавцов в зале не видно ни одного. К. прошел вдоль заставленных продуктами стеллажей в одну сторону, повернул, продефилировал обратно. Стеллажи в магазине стояли поперек зала, витринные окна не загорожены, и, посмотрев на улицу, он увидел конопеня с его молодцами. Они сместились от крыльца на позицию напротив окон, стояли поодаль и, как он на них изнутри, смотрели на него снаружи. Один из молодцев держал у уха трубку мобильного, что-то говорил в нее. Конопень, заметив, что К. увидел их, вскинул вверх руку с оттопыренным большим пальцем и потряс ею. Что значил его жест? Хорошо смотришься в магазине? Но, подержав палец флажком, конопень поджал его и понукающе помахал рукой. Двигай, двигай, делай то, зачем ты там, означало это его движение.

К. повернулся и направился в глубь зала. Нужно было найти вход в складское помещение, в подсобку. В ушах снова стоял гул крови, она бухала в барабанные перепонки этим неопрятным, неряшливым словом: подсобка! подсобка! Он пересек один ряд стеллажей, другой. За третьим зал расширялся, как бы такая пазуха возникала в его вытянутом длинном теле и еще она отходила вбок, отгораживалась от остального зала стеной – если вход в складское помещение был здесь, увидеть с улицы, что зашел туда, было бы невозможно.

Колбасно-молочно-сырный отдел располагался в пазухе. За прилавками, в готовности обслужить отсутствующих покупателей, скучали одинаково подвязанные белыми холстяными передниками несколько продавщиц, мужчина-продавец с острым карандашным носом, подняв крышку витрины со стороны зала, выкладывал внутрь из большой решетчатой тележки прозрачные упаковки нарезанного кусками сыра.

Ускорив шаг, К. свернул за стену, отгораживающую пазуху от главного зала. Вход в складское помещение открылся его взгляду, только он зашел за нее. Это была не дверь, это был широкий проем в стене, целые ворота, чтобы въезжать-выезжать погрузчику, асфальтового цвета занавесь из толстых пластиковых полос ходила на проеме медленными волнами, как бывает от сквозняка, что с безусловностью свидетельствовало об открытой двери черного хода.

Времени на то, чтобы собираться с духом, не было. К. метнулся к занавеси, решительно откинул в сторону ее колеблющиеся полосы и вошел внутрь.

Оранжевый погрузчик с горой картонных коробок на вилах, ведомый животастым лысым усачом в синем комбинезоне, катил навстречу, но в тот самый момент, как К. оказался внутри, круто свернул вбок, будто освобождая для К. проход. Взгляду представилась вся даль склада, так же уставленного шпалерами стеллажей, как в торговом зале. Только не пакетики, коробочки, кулечки стояли на них, а картонные коробки – высокие, низкие, длинные, узкие. Растрепанная сырая баба в узком ей сером халате, будто разрывающемся на груди и подоле, осушала рогожной тряпкой большую лужу посередине широкого прохода, по которому только что прокатил животастый усач на погрузчике: обмакивала в ней тряпку и выжимала в стоявшее у ног красное пластмассовое ведро. В паре метров за спиной у бабы другой грузчик, в таком же синем комбинезоне, как лысый усач, но в отличие от него той худобы, про которую говорят «как щепка», устроившись на дощатом ящике, с меланхолическим видом ел банан, спустив с него кожуру несколькими языками. В дальнем конце прохода за письменным столом в таком же сером халате, как у бабы с тряпкой, сидела, склонившись над разложенными перед нею в беспорядке бумагами, начальственного облика крупная тетка, делала в них пометки.

Все это К. схватил за тот краткий миг, когда, оказавшись в подсобке, невольно остановился, осваиваясь в ней, а в следующий миг все тем же внутренним побуждением, что привело сюда, его уже стремительно бросило по проходу в направлении осушающей лужу бабы и грузчика на ящике.

– Прошу вас, прошу вас, прошу!.. – вырывалось из него на ходу. Прежней решительности, чувствовал он, в шаге убавилось, и своим горлодерством он подгонял себя, заставлял не сбавлять темпа движения. – Мне срочно нужно… выведите меня! Через ваш выход! Покажите, куда идти! – И наконец у него произнеслось то, что не получалось раньше: – Мне угрожает опасность!

– Э, э, э! – принялся подниматься похожий на щепку грузчик, торопливо дожевывая то, что было во рту, и закончил этот процесс вставания уже пружиной – подскочив с резвостью, бывшей в резком диссонансе с меланхоличной покойностью, в которой только что пребывал. – Ты куда! – заблажил он следом, заграждая К. путь в глубину помещения. – Обратно! Это зона материальной ответственности… здесь… Обратно! Обратно, говорю! – И наступал на К., выпучивая от крика глаза, так что они сделались одним круглым облупленным яйцом, с круглым пятнышком сине-серой радужки посередине.

Баба с тряпкой, оставшаяся было за спиной К., вдруг объявилась рядом и принялась толкать К. мокрыми руками в

живот.

– Брысь! Брысь! Пошел! – визжала она, брызжа К. в лицо слюной. – Тебе говорят! Охрану сейчас…

И уже шагала от своего стола, как молотком брякая каблуками, начальственного вида тетка, и подскочил, бросив свой погрузчик, животастый лысый усач, присоединился к коллеге, вскинул подбородок:

– Оборзел совсем? Не понимаешь, где покупателю место?

– Вон! – подошла, встала за спинами грузчиков, уперев руки в боки, начальственная тетка. – Немедленно! Правила стерильности запрещают! Статья восемьдесят девятая, подпункт пять, точка, семь!

Нечего было и думать прорваться сквозь этот заслон. Если бы еще знать, где выход, куда бежать…

К. молча повернулся и тронулся обратно к завешенному пластиковыми полосами проему. Вслед ему взлохмаченным горячим хором неслись голоса всей четверки, продолжавшей высказывать свое мнение о его появлении в их государстве.

С другой стороны пластиковой занавеси, выставив вперед ухо, стоял прислушивался к происходящему в складском помещении тот остроносый продавец, что выкладывал из тележки в наполненные холодом витрины прозрачные упаковки нарезанного сыра. Видимо, он поздно услышал шаги К. и не успел переменить позы и отскочить, но в следующее мгновение, как К. откинул занавесь, отпрыгнул, будто получив щелчок, и воззрился на К. с сообщническим любопытством.

– Чего-нибудь не так? – с этим любопытством сообщника спросил он.

Недружелюбные отношения с владетелями складского помещения таились и не могли утаиться в сладострастном интересе, горевшем на его лице. Но что за дело было К. до его отношений с подсобкой?

– Где у вас винный отдел? – спросил он.

Получалось, ему не оставалось ничего иного, как принять условия конопеня с его молодцами.

– Да-а, винный… иди, увидишь, – неопределенно махнул рукой продавец. Не получив от К. ответа на свой вопрос, он не полагал нужным отвечать на его.

Выход К. из пазухи под взоры следящей за ним через окно компании конопеня был отмечен бурным приветствием. Правда, от компании осталось двое – один из подчиненных конопеня исчез, – но, чтобы явить эту бурность, хватило и двоих: конопень и оставшийся с ним молодец вскинули над головой руки и потрясли ими. После чего конопень с ласковой ухмылкой во все

лицо оттопырил большой палец, потыкал им вбок, как бы показывая за угол, – и К. понял его глухонемую азбуку: конопень имел в виду третьего из их троицы. Они всё знали наперед и всё предусмотрели. Третий сейчас дежурил у служебного входа, во дворе дома, где размещался магазин, и даже если бы К. удалось благополучно преодолеть подсобное помещение, то на выходе он был бы радостно встречен им.

Найдя на стеллаже с коньяками нужную бутылку, К. взял ее – и тут же поставил на место. Нет, это было невозможно. Он не помнил, чтобы когда-то в жизни взял чужое.

Однако, отступив было от стеллажа, он тут же вернулся обратно, постоял мгновение и снова взял бутылку с полки. Выйти без коньяка – это значило бы, что они его не отпустят, а то есть в понедельник он не сможет пойти с повинной. Может быть, даже если он вынесет им этот коньяк, они возьмут свое слово обратно, но если не вынесет – не отпустят наверняка.

Какая тяжелая была бутылка! Сколько она весила! К. нес ее перед собой обеими руками, и казалось, она сейчас вырвется у него из рук. Он шел в сторону касс, но не к ним, а туда, куда было указано – за спины кассирам, к проходу между стойкой, ограждающей кассы, и стеллажом со всякой хозяйственной мелочью: мылом, моющими средствами, зубной пастой, туалетной бумагой… И что, вправду там был проход? Он шел – и не верил до конца, что тот есть.

Но проход был. Узкая щель, чтобы протиснуться боком. Команда конопеня, похоже, и в самом деле знала этот магазин как свои пять пальцев.

Протиснуться в щель было делом мгновения. В ушах снова бухало, каждый удар сердца разносил виски вдребезги. Впереди лежало свободное пространство прохода между стеклянной стеной окна и деревянными спинками кассовых загонов, в которых, обратясь затылками к окну, костенели в ожидании покупателей кассирши. Ни единой души не было на пространстве прохода до самого выхода из магазина. Сдерживая шаг, чтобы не броситься опрометью к выходу, К глянул в окно – конопень с молодцем, что остался при нем, все так же наблюдали за ним, разве что в позах, в которых стояли, появилось возбуждение нетерпеливости.

Сзади за локоть К. крепко взяли. Он дернулся, освобождаясь, но уже его так же крепко держали и за другой, принуждая остановиться. Два магазинных охранника, одетые в серо-синюю пятнистую униформу, выступили у него из-за спины, перегородив путь. Откуда они взялись? Их и в помине не было здесь, когда приближался к кассам!

– Чек ваш предъявите, – потребовал один из них.

Виски разносило вдребезги, К. слышал – и не понимал, о чем говорит охранник.

– Чек? – бессмысленно произнес он. – Какой чек?

– На коньяк, – сказал второй охранник, указывая движением подбородка на бутылку в руке К.

– На коньяк? – с прежней бессмысленностью отозвался К. – Какой коньяк?

– Да вот тот, что у вас в руках, – пришел на помощь второму охраннику первый.

– В руках? – переспросил К., поднимая руку с бутылкой, чтобы увидеть, о чем речь. И наконец в голове прояснело – он осознал, что произошло. И что ему было делать? – Это вон меня попросили, – не нашел он ничего лучшего, как сказать правду, указывая кивком головы на конопеня с одним из его молодцев за окном.

Конопень со своим молодцем между тем стояли там, взирая на разворачивающуюся сцену с абсолютным спокойствием, как если бы их ничуть не волновало, что К. попался. Скорее их волновало что-то другое: наблюдая за К., они то и дело осматривались – будто ждали кого-то, а тот все не появлялся. Подчиненный конопеня еще при этом крутил в руках пластину смартфона, конопень повелительно бросил ему что-то, и тот тотчас перестал играть гаджетом, быстро протюкал пальцем по панели и поднес смартфон к уху.

Но он не ожидал ответа и пары секунд. Он отнял смартфон от уха и указал конопеню за его плечо – куда смотрел сам. Конопень оглянулся. Вся эта мизансцена с набором звонка и его отменой разыгралась так быстро, что охранники, повернувшиеся по кивку К. в сторону конопеня с его молодцем, прежде чем дать оценку словам К., смогли пронаблюдать мизансцену от начала до конца.

– Ну так даже если они попросили! – как сплевывая, сказал один из охранников, тот, что потребовал у К. чек. – Они, что ли, не заплатили? Нечего с больной головы на здоровую!

С дороги на тротуар перед магазином, подпрыгнув на бордюре, с форсажным ревом, слышным даже здесь внутри, на полном ходу влетела бело-голубая машина полиции. Затормозила, вскинув зад, и осела.

– О! – сказал второй охранник. – И полиция как раз подъехала.

Из машины не спеша выгрузились трое в форме. Перекинулись взглядами с конопенем и его молодцем – но нет, не поздоровались, догадывайся, случаен ли был этот зрительный контакт или свидетельствовал об их связи, – и так же неспешно,

как выгрузились, направились к магазинному крыльцу.

Около К. с охранниками объявился тот остроносый из колбасно-сырного отдела, что разгружал тележку с сырами.

– А спрашивал меня, где винный отдел! Специально туда шел! Сразу мне подозрительным показался. А нам за недоимку… рублем отвечай!.. – заблажил он.

– Рапорток сейчас на себя жди, – сказал охранник, потребовавший у К. чек. На остроносого продавца он не обратил внимания. – Составим сейчас на тебя рапорток! Нечего на кого-то там перепихивать! Слямзят – и кто-то у них виноват. Сам виноват!

Он уже не считал нужным обращаться к К. в уважительной форме. Он чувствовал себя хорошо поохотившимся, удачливым хищным зверем, К. был его добычей, его жертвой, какое уважительное обращение к жертве, у которой через мгновение будут перекушены шейные позвонки.

Ребята, вот деньги, все, какие есть, берите всё, отпустите, просилось у К. с языка, но он удержался. Жар, паливший его раскаленной печью, пропал, в барабанные перепонки больше не грохало, и виски не мозжило. Ему все наконец сделалось ясно – вот теперь. Он понял, в какую ловушку попал. Не нужен был конопеню со товарищи никакой коньяк. Они хотели, чтобы он попался с ним. Для того и направили сюда. Охранники работали с ними в сговоре – никакого сомнения. И тот лаз за спинами кассиров устроен специально – для таких штучек, что они провернули с ним. А молодец, звонивший по телефону, звонил в полицию, вызывал полицейских заранее, чтобы не томиться ожиданием, когда прибудут, а находились бы уже на месте. Должно быть, конопень не взял на себя ответственности доставить его в каталажку своей службы, но лишить себя удовольствия отправить его на нары было обидно, и он решил заменить одну решетку другой. Не имело смысла просить охранников отпустить, предлагать им деньги – долговременное сотрудничество представлялось, конечно же, охранникам интереснее сиюминутной копеечной выгоды.

Полицейские, шумно протеснившись в дверях, вошли внутрь.

– Что, как у вас тут дела? – без задержки направились они к охранникам, запиравшим К. путь к свободе. – Ездим вот по вверенной территории, проверяем.

– Да как раз заловили одного, – кивнул охранник, требовавший чек, на К.

– Ха! – воскликнул один из полицейских. – Попался, значит, да?!

Попался, попался, отозвалось в К. Начальное отчаяние в нем

сменилось глухой равнодушной бесчувственностью. Конопень со своими молодцами переиграл его, ни хода влево, ни шага вправо, ни взад ни вперед – шах и мат.

– Сукины дети! – вырвалось лишь у него невольно. – Сукины дети!

– А ну без мата! Матом он еще будет! – осадили его со свирепостью полицейские.

– Никак это не мат, – так же невольно отрефлектировал в К. преподаватель.

– Узнаешь, что мат, что не мат. Просветишься сейчас, – пообещали полицейские.

Когда четверть часа спустя, составив бумагу о задержании, охранники передали К. полицейским и те выводили его из магазина, конопень и оба его крепкосбитых, аккуратно стриженых молодцев, все трое, были уже вместе. Только переместились поближе к крыльцу. Конопень смотрел на К. с ласковой лихой улыбкой удачи.

– Ну чего? – благодушно проговорил он, когда К. проходил мимо. – Нехорошо! Коньяки из магазинов таскать, придумал тоже!

Один полицейский сел за руль, двое других, раскрыв заднюю дверь, подпихнули К. к открывшемуся проему, повелели:

– Давай, давай, не рыпаться! Чтобы без хлопот всем!..

К. и не собирался рыпаться. Их было трое, что он мог сделать против троих.

12. Голубчик!

Уже и привычно было К. оказаться в камере. Уже вид толстых прутьев бездушной решетки, отрезавшей тебя от свободного мира, не ужасал, не вызывал отчаяния, естественной принадлежностью мира была решетка, его обыденным элементом. Лишь в отличие от прошлого раза – в том, поддельном полицейском участке, – тут, в натуральном, К. был не один, еще несколько человек обреталось в этом ограниченном несколькими шагами в длину и ширину пространстве. И то, что сидел в ней не один, воткнут в нее, как в муравейник, одним из его насельников, странным образом, хотя само обитание в камере не страшило, – вот то, что был в ней всего лишь одним из безличных муравьев, это странным образом давило и угнетало.

Едва не десяток человек было в камере. Тесно для ее не слишком просторного чрева, тем более что трое, пересекаясь путями, беспрерывно мотались по ней, кто-нибудь замирал ненадолго – и снова принимался расхаживать, остальные, насколько могли подальше друг от друга, растолкались по ее разным углам, никто ни с кем не заговаривал без нужды, каждый был в своем, как в чехле. Даже и бурно пьяный мужик в расхлюстанной рубахе без единой пуговицы, что-то невнятно поорав первые минут пять, потом стих, ушел в себя и, устроившись в изножье решетки, крутясь там и маясь от сдерживаемых позывов что-нибудь разнести, стал помаленьку трезветь. К. тоже, как после оформления протокола его привели сюда, застолбил за собой место, которое другие обитатели муравейника признали принадлежащим ему, и сидел на уголке одного из топчанов у стены, вставал размять ноги и снова садился. Теперь он никуда не рвался, как в прошлый раз, когда оказался в поддельном участке, теперь оставалось смиренно ждать решения своей судьбы – он осознавал это с той же ясностью, с какой и то, что ничем уже не помочь привереде.

Один из тех, что шатался по камере, парень в коротком и узком ему, словно с чужого плеча, мятом льняном пиджачке, со стрижеными под ноль висками и коротенькой челкой, углом свисавшей на лоб, вдруг остановился около К., наклонился и проговорил тихо, но внятно, с тусклой интонацией скучного сообщения:

– Убью! Как только возможность – так тут же. Жди!

Разогнулся, хватив рукой по челке, будто она была длинной и лезла в глаза, и снова отправил себя выписывать по камере кренделя – с таким видом, словно ничего и не говорил.

Бритвенный ужас объял К. Что значили слова парня с челкой? Был он подсадным, и его угроза – не более чем провокация, попытка вывести К. из себя, лишить равновесия? Или же вполне реальная шпана, и ему в наслаждение держать чужую жизнь на острие ножа?

Кем бы он ни был, все теперь изменилось. Теперь К. сидел на своем уголке топчана и, кося глазами, беспрерывно следил за льняным пиджачком. Невозможно было освободиться от его слов – ни забыть, ни выдавить на периферию сознания. Отвлекшись было от слежения за ним, он тут же начинал искать его глазами и если тот задерживался около кого-то, а тем более они перебрасывались репликами, мучительно пытался догадаться, что за слова были произнесены.

Ночь он толком не спал. Сидел все так же на своем топчане, лишь позволив себе привалиться затылком к стенке, задремывал – и тут же просыпался, разбуженный неким внутренним толчком. Может быть, иногда и не тут же, может быть, спал и десять минут, и даже четверть часа, но чувство было – тут же. Парень в льняном пиджачке обосновался на ночь на соседнем топчане и вроде спал, но спал ли? А если и спал, никак это не значило, что он не проснется в следующую минуту.

Каким измученным и разбитым встретил К. наступившее утро. Но как рад был он ему!

Из далеких, невидимых из камеры окон пролегли по коридорной стене и полу солнечные струны, превратились в пласты лучей, заходили по коридору по своим суровым делам полицейские в форме и гражданском, пронеслось, словно бы соткавшись из воздуха, окрепло и обжилось на правах долгожданного каменное слово «суд».

– А есть когда дадут? – прокричал вслед прошествовавшему мимо решетки мясисто-вальяжному майору мужик в расхлюстанной, утратившей все свои пуговицы рубахе, что был вчера пьян. Сегодня он на манер персонажа из рекламы мужского журнала связал концы рубахи узлом и, несмотря на выкатившийся наружу живот, этого персонажа тщился из себя и выказывать.

– Ты смотри, ему пожрать! Вместо опохмелиться! На дармовщинку у государства! – всколыхнулась в едином порыве зубоскальства камера.

– Суд тебе пирожок выдаст, – не останавливаясь, отозвался майор.

Но в желудке и в самом деле пищало от голода.

– А не имеете права голодом морить! Должны накормить! Хоть чай-то с хлебом! – взорвалась камера.

Похмельный мужик, выказывавший из себя персонажа мужского журнала, был громче других:

– А не имеете! Остановись, урод! Остановись, говорю! Вернись! – прокричал он уже вслед майору.

– Непременно. Сейчас, – словно бы с приятельской приязнью обернулся к нему на ходу майор. – Вернусь сейчас.

Сам он не вернулся, но уже через пару минут около двери в камеру появились двое с сержантскими лычками, весело пробренчали ключами, мягко расщелкнулся замок, автоматным затвором звонко проклацал засов… еще через несколько минут похмельного рекламного мужика вернули в камеру, притащив его под руки, голова у него висела на плече, и когда он, посланный катапультным толчком, влетел внутрь, его пришлось подхватить под руки уже здесь и отволочь на лежак. Суки, простонал он с лежака, гады… Впрочем, особого сочувствия его появление в таком виде не вызвало. А не залупайся, как бы и с удовлетворением процедил парень в льняном пиджачке. Он не обращал на К. внимания, что был здесь К., что нет, и К. даже стало казаться, а не примн*и*лись ли ему вчерашние слова парня?

Каменнокрылое слово «суд» наконец перестало порхать по камере бестелестным духом, облекшись в плоть. Пробежали полицейские в одну сторону, пробежали другие в другую, «приехала», «подана», «давайте-давайте», затрепетали в воздухе, захлопали крыльями новые слова, около дверей решетки снова зазвякали-забренчали ключи, снова взлязгнула щеколда… один полицейский открывал и закрывал дверь, а двое выдергивали сокамерников К. по одиночке и уводили, чтобы через минуту вернуться и повторить операцию.

– Следующий! – ткнул в К. полицейский, несший свою вахту у замка, после очередного закрывающего бренчания ключей. – Готовься.

К. приготовился: подошел к двери, встал перед нею, как перед тем все остальные. Но словно бы некое броуновское движение произошло в этот момент в невидимой из камеры части участка, где был в него вход и сидел дежурный за пультом: донесся громкий стук множества замельтешивших шагов, как если бы там разом забегали туда-сюда несколько человек, громкие, явно чужие голоса донеслись оттуда, среди них, похоже, и женский, а спустя мгновение К. уже и смог увидеть обладателей голосов и удостовериться, что женский принадлежал той, о ком было подумал, но тут же и отмел свое предположение как невозможное.

Она это была, пантагрюэльша. В заломленном на ухо и вздыбленном над макушкой острым гребнем красном берете, она

шествовала в компании трех бравых молодцев в таких же красных беретах, и если они были в черно-болотной пятнистой форме, то она в знакомом переливчато-блестящем, отделанном кружевами, длинном черном платье, что в прошлый раз, – будто оно у нее и было формой.

– А, вот ты, голубчик! – еще издали увидела она стоящего перед дверью камеры К. – Сюда от нас задумал спрятаться? Хитрее нас, голубчик, решил быть?

С потерянностью и паникой смотрел К. на приближающуюся пантагрюэльшу. Если бы мог, он сейчас убежал от нее. Рванул как на стометровку, и пусть лопнет сердце – а и двести метров, и триста, и километр все не сбавляя скорости. Некуда ему только было бежать.

Мясисто-вальяжный майор, явно немалый чин в этих стенах, неожиданно объявившись перед кавалькадой красноберетников – словно выскочил из-под земли, – метнулся было ей навстречу, но кавалькада не умерила шага, грозя снести его со своего пути, и майор резво возглавил ее, зашагав, будто сказочная избушка, повернувшаяся к лесу задом, а к кому надо передом, вперед затылком, и, оглядываясь, ретиво замахал полицейскому, стоявшему на страже у замка решетки:

– Открывай, болван, открывай! Так рады вас видеть! Как солнцем осветили, – с той же ретивостью, с какой шумнул на полицейского у замка, успевал он на ходу выказывать свой респект пантагрюэльше.

– Да уж и дыра тут у вас. Освещать вас и освещать, – с брезгливостью отозвалась пантагрюэльша и, остановившись около решетчатой двери, точно как майор, шумнула на замешкавшегося с замком полицейского: – Что валандаешься, кота за хвост тянешь? Открывай, сказано!

И вот дужка замка, вылезая из петель, проскрипела визгливым дискантом, щеколда положенно звонко лязгнула, дверь описала дугу, выщербив в решетке щелястый зев, – но не свободой, нет, дохнуло из него на К. Не олицетворением свободы была стоявшая там красноберетная пантагрюэльша с подпирающими ее красноберетными преторианцами.

– Иди, иди, голубчик! – поманила она К. пальцем. – Хитрее нас, думал! Думал, как сом под корягу в омут!

– Ошибаетесь, – сказал К., не двигаясь с места. – И не думал я от вас прятаться. Наоборот. Собирался…

Он хотел сказать, что завтра у него было намечено пойти в тот особнячок под сенью ухоженных деревьев, признавать свою вину, но пантагрюэльша недовольно перебила его:

– Стоять долго будешь? Я с тобой не разговаривать сюда

пришла. Давай, голубчик, давай! – снова позвала она его к себе пальцем. – Не думал он! И поборзей давай!

Через мгновение, окруженный преторианцами пантагрюэльши, К. уже шел за нею к выходу, так и не узнав, кем был парень в льняном пиджачке и насколько была серьезна его угроза.

Машина, к которой подвели К., была большой черный минивэн с густо затененными стеклами – сильный зеркально-лакированный зверь, предназначенный рвать в клочья пространство, надежно оберегая принятых в его кожаное чрево своих ездоков от любого любопытствующего взгляда извне. В такой зверюге можно было бы и четвертовать – никто не увидит, а сквозь рев мотора и не услышит.

Однако К. всего лишь собирались куда-то везти. Пантагрюэльша просторно разметнулась на переднем сиденье рядом с водителем, молчаливые преторианцы, прихватив локти К. клещами – так крепок оказался захват их рук, – едва не внесли К. на заднее сиденье и устроились по бокам сами, тесно зажав его между собой, третий сел на откидное место у двери, запечатав к ней проход: захоти – не выскочишь. Дверь проехала вдоль борта, закрывая проем, и водитель, так же в берете и форме, как остальные, тронул машину с места.

Пантагрюэльша на переднем сиденье сдвинулась набок и обернулась назад.

– А это что это у тебя с фейсом? – лоснящимся от внутреннего смеха голосом спросила она у К. – Под ноги плохо глядел? Как с таким фейсом родину любить? – Задав этот загадочный вопрос, она не удержала в себе смеха, зафукала, зафыркала – весело ей было. – Как, а? Как ты намереваешься? Скажи!

– Куда вы меня везете? – вместо ответа спросил К. Да и что бы он мог ответить на ее вопрос?

– Родину любить везем! – снова фукнула-фыркнула в смехе пантагрюэльша. – Не понимаешь? Поймешь!

Куда он собирался ехать в понедельник, он оказался там сегодня. В том самом особнячке под сенью ухоженных дерев. Вот только не через тот вход, через который попал в него несколько дней назад, а через раздвинувшиеся ворота в каменной стене, что укромно жалась к одному из торцов особнячка, кутаясь в богатую кустарниковую зелень еще обильнее, чем сам особняк в зелень деревьев. Минивэн вкатил во двор, остановился, и – живо-живо! – К. был вновь подхвачен под локти, препровожден без всякой любезности внутрь через литую стальную дверь, хлестнул в глаза залитый белым операционным светом коридор с фигурой

дежурного на высоком, словно барном, стуле вдали, и уже дальше, дальше влекли К.: поворот, новая стальная дверь с кодовым замком, и – лифт, здесь был лифт, целых три, один даже и грузовой! Куда они доставляли своих пассажиров при двух имеющихся в особняке этажах: прямиком на небо?

Вниз, как того и следовало ожидать, ухнул лифт. С упругой кошачьей мягкостью, ударив через ноги в желудок вкрадчивой тяжестью скорости, цифра «8» высветилась на мигнувшем табло, а судя по кнопкам на панели управления, уровней дальше было не меньше, чем пролетели.

Преторианцы вели К., вводили, выводили, обращаясь с ним, как с куклой, и он не заметил исчезновения пантагрюэльши. То, что она в какой-то момент его этапирования пропала, он осознал лишь тогда, когда его – в прежнем бешеном темпе – протащили по бесконечному коридору в ряби многочисленных стальных и деревянных дверей, отомкнули одну из них и он, без единого слова со стороны преторианцев, оказался впихнут в просторное помещение, всем своим обликом для беглого взгляда напоминающее оружейный зал некоего средневекового замка. Доспехи, что ли, какие-то были развешаны по стенам, сабли и палаши, конская упряжь…

Дверь за его спиной с явственным металлическим лязгом закрылась. К., погасив инерцию полученного толчка, бросился обратно и зачем-то попытался открыть дверь. Но ручки у нее не было, полотно подогнано к раме стык встык – не подцепить и ногтем.

К. грохнул в дверь кулаком (так просилось!), ожиданно отбив руку, и повернулся лицом к своему новообретенному пристанищу. Теперь, при пристальном взгляде, оно удивило К. И чем дальше, тем удивление его лишь нарастало, переходя в недоумение.

Это была не зала средневекового замка, как ему показалось сначала. Это была вполне современная комната, и все в ней, хотя и находилась она под землей, имитировало обычную, нормальную комнату, в ней было даже два фальшивых окна, завешенных плотными длинными шторами, свисающими с круглых массивных карнизов. А то, что он принял за доспехи и оружие – это были всякие кожаные одежды – жилеты, поручни, ботфорты, – скрещенные сабли и палаши оказались высеребренными громадными фаллоимитаторами и разных размеров стеками и плетками, сбруя же, если и была конская, то больно уж странная: слишком короткая подпруга, слишком маленькая уздечка, какая-то карликовая шлея… Из всей возможной мебели в комнате имелась лишь невероятных

размеров квадратная кровать, стоявшая посередине, покрытая красным покрывалом вызывающей интенсивности. К. прошел к кровати, отвернул покрывало, где кровать холмилась подушками, – свежие, хрустящие накрахмаленные простыни, свежие наволочки, с тщанием натянутые на пружинящие взгорья подушек. Что за назначение было у комнаты? Догадки, что лезли в голову, выглядели одна другой нелепее. И зачем вообще службе стерильности понадобилось отнимать его у полиции?

У него, впрочем, не было сил додумывать до конца эти мысли. Он чувствовал себя совершенно обессиленным. А застеленная свежим бельем постель подействовала как катализатор, – ноги стали отказывать ему, и его достало лишь на то, чтобы набросить покрывало обратно на подушки, после чего он натуральным образом рухнул на кровать. Бессонная ночь дала себя знать – только тело оказалось в горизонтальном положении. Веки смежились сами собой, он провалился в сон, не заметив, как то случилось.

Проснулся он от вошедшего в его сознание чудовищным грохотом металлического лязга. К., собственно, не сразу и понял, что происходит, – он оглушенно, ничего не понимая со сна, вскочил на ноги, – от представшей его взгляду захлопнувшейся со звонким благовестом двери шла к нему танцующей походкой, играя царственно-покровительственной улыбкой, пантагрюэльша. Берет с головы у нее исчез, и была она не в своем черном кисейно-кружевном платье, а в лилового цвета, тоже, как платье, длинном, до щиколоток шелковом просторном халате. Полы халата на каждый шаг отвеивались в стороны, в распахивающийся разрез открывались черные шнурованные туфли на каблуке-шпильке такой высоты – стопа, должно быть, стояла там вертикально.

– Разлегся? Развалился уже? – таким же покровительственно-царским голосом, что и ее походка, вопросила она, приближаясь к К.

К., не отвечая, смотрел на нее – одна из тех догадок, что месили его, все отчетливее превращалась в уверенность, но и эта уверенность одолевалась сомнением: какой бред, для этого он сюда доставлен?

– Лежи, лежи, разрешаю, – продолжила пантагрюэльша, царственный короткий смешок снисходительно выпорхнул из нее. – Отдохни! Отдохни, говорю! – уже требовательно произнесла она и толкнула К. в грудь – коротким сильным тычком, от которого он потерял равновесие и полетел назад на застеленную огненным покрывалом кровать.

Очутившись на ней, он тотчас попытался вскочить вновь, но

не тут-то было! Пантагрюэльша, раскорячившись, уже сидела на нем, придавливая его всей своей огромной массой, и сколько же в ней было килограммов… да наверное, под полтора центнера было в ней – его так и расплющило ею. К. попробовал скинуть ее с себя, но это было все равно как если бы он попытался столкнуть лежащий на нем холодильник. Ударить ее по лицу, чтобы боль заставила ее саму скатиться с него, даже не пришло ему в голову. Как можно было ударить ее по лицу – она была женщиной.

Пантагрюэльша между тем в ответ на его попытки освободиться не задержалась с оплеухой. Случайно у нее так получилось или же нет, но удар пришелся на ухо, – К. показалось, в голове у него громозвучно взорвалась бомба. Тяжелая оказалась у пантагрюэльши рука, совершенно мужская. Оглушенный, К. на какие-то секунды утратил способность слышать и видеть, а когда пришел в себя, пантагрюэльша, все так же восседая на нем и плюща, распускала пояс на своем лиловом халате.

– Трепыхаться мне будешь? Отлынивать собрался? Не хочешь родину любить? – похихикивая, приговаривала она при этом. Еще попрыгивая на нем, будто скакала на лошади. – Не выйдет, голубчик! Будешь родину любить, заставим, голубчик!

Бешенство залило К. глаза. Стиснутое рычание вырвалось из него, он взметнулся корпусом к пантагрюэльше, подсунул руку ей под колено, свернул ее, сам не понимая как, набок и сбросил с себя. Вскочил на ноги и отпрыгнул от кровати. Изготовившись… к чему изготовившись? Что-то вроде боевой стойки принял он: расставил ноги, напружинился, развел в стороны согнутые в локтях руки.

Не удержавшаяся на кровати и съехавшая на пол вместе с огненным покрывалом пантагрюэльша поднималась с колен. Выражение высокомерного царского сожаления было написано на ее лице. Ну ты же и ответишь за то, что сделал, говорило это ее выражение. Халат пантагрюэльши, не удерживаемый больше поясом, широко распахнулся, и она была под ним… как тогда, при первой встречей с нею в поддельном полицейском участке, К. вдруг всего протянуло судорогой острого как бритва желания.

То, что он счел туфлями на шнуровке, были высокими, доходившими до середины могучих ляжек черно-кожаными сапогами-чулками. Поблескивая никелем пряжек, туго натянутые ряды черных резинок подобно дорическим колоннам, подпирающим архитрав храма, тянулись от чулок к кожаному же черному поясу, стрельчатые арки представляло собой пространство между колоннами резинок, и в центральную арку, жарко выпучиваясь пухлыми губами, с бесстыдной наглостью, искушающе смотрела исчезающая в тайне межножья оголенная

мурка. Черный кожаный лиф с портупеями бретелек, захлестнутых за плечи, повторял своими арочными вырезами пояс, открытые чаши его держали в себе груди пантагрюэльши лишь снизу, и коричневые соски грудей глядели на К. двумя подморщенными ягодами мелкого шиповника с тем же бесстыдством, что и ее мурка. Руки у нее от запястья до локтя были забраны черными кожаными поручами на шнуровке, сходной с той, что и на сапогах-чулках. И все это ее кожаное одеяние завершал инкрустированный самоцветными камнями черный широкий ошейник, перехватывавший ей горло родом тугого воротника от несуществующего глухого платья. Облик женщины-вамп имела пантагрюэльша, лишь больших кожаных очков-маски на пол-лица и не хватало ей для полноты образа.

– Что? Не хочешь родину любить? – снова произнесла пантагрюэльша. Проиграла плечами, прошевелила руками – и халат свился к ногам, оставив ее в одной кожаной сбруе. – Будешь родину любить, еще как будешь! – Она повернулась и зашагала к ближайшей стене (взгляд против воли тотчас же ткнулся в выглядывающие из стреловидных арок пояса скачущие полушария ягодиц), каблуки ее сапог-чулок кокали о пол на каждый шаг с гневностью забивающего гвоздь молотка. Несколько мгновений, подойдя к стене, она пребывала в раздумье, затем стала набирать. Что-то похожее на подпругу (во всяком случае то, что казалось подпругой К., никогда в жизни не видевшему настоящей конской упряжи) перекочевало ей в руки со стены, какие-то перепутанные сетью гужи и плеть, да, плеть, это была плеть, что она сняла со стены – трехвостая, змеисто-витая. – Поиграем в лошадку? – вопросила пантагрюэльша, направляясь к К. Коканье каблуков добавляло ее словам ту самую убойную силу вбивающего гвоздь молотка. – Поиграем, голубчик, да? Поиграем!

Вот для чего ей нужна была плеть: она собиралась стегать его ею! К. бросило пантагрюэльше навстречу – опередить ее, перехватить плеть, не дать даже взмахнуть той.

Руку ее с плетью ему удалось перехватить. Но это и все. Завладеть плетью К. не удалось. Пантагрюэльша была не слабее его. Да пожалуй, что и сильнее. А кроме того, она владела боевыми приемами… но это уже он осознал, лишь неожиданно для себя, непонятно как прянув в воздух и в тот же миг оказавшись лежащим на полу, от плеча до крестца, наискось через позвоночник, спину располосовывало выкручивающей болью – мышцы будто свивало, как мокрое белье, когда его выжимают. И вот почему это было так: заломив ему руку за спину и навалившись на него, пантагрюэльша безжалостно подтягивала

руку выше, выше – к самому плечу.

К. невольно застонал, попытался было напрячь руку, но куда! – и шелохнуться не смог он под нею.

– Больно? – довольным голосом, со смешком проговорила над ним пантагрюэльша. – Терпи! Раз в лошадку играть не хочешь. В лошадку играть не хочешь – верблюдом будешь.

– Пошла! – стиснуто промычал К., вывернув голову на сторону, лежа щекой на полу, около лица, перед глазами, – шмат перепутанных ремней, выпавших из ее рук. – Пошла!..

– Ох ты, ох ты! – все с тем же довольным смешком отозвалась пантагрюэльша над ним. – Терпи! Побрыкайся мне! – пригрозила она, качнувшись на нем вверх-вниз всем телом, как скакнув.

К. лежал под ней, елозя щекой по полу при каждом ее движении на нем, и чувствовал себя комаром, попавшим на обед пауку. Она недаром носила свой красный берет, кузнецом ей следовало быть в деревенской кузне, махать молотом.

Завернув К. за спину обе руки, пантагрюэльша дотянулась до шмата ремней у него перед лицом, растрясла над его головой их сеть (ремни, пружиня, прыгали, касаясь уха, касаясь и взлетая), заставила К. свести локти параллельно один другому, локтевой сгиб одной руки к кисти другой, и принялась накручивать на них ремень, виток за витком, от запястья до запястья, а в конце, безжалостно потянув руки вверх, набросила отходящую от этой оплетки петлю ему на шею. После чего, больно опершись о его позвоночник, освободила К. от своего груза – поднялась, прикокнув каблуками, вопросила сверху, все с тем же царственным довольным смешком:

– Не хотел быть мустангом, голубчик? Так и не будешь!

К., когда она перестала удерживать его руки, безотчетно расслабил плечевые суставы – руки, насколько то позволяла оплетка, тотчас повело вниз, и петля начала душить его. Он закашлялся и так же безотчетно, как опустил, поддернул спеленутые руки повыше.

– Ничего, терпи! – без труда разгадала пантагрюэльша причину его кашля. – Сейчас верблюду еще и ноги…

Еще и ноги! К. перекатился на бок, на спину, подогнул колени, напряг живот, сел… но как же трудно, оказывается, было подняться со связанными за спиной руками: не получалось, ничего не получалось!

Наконец ему удалось встать на колено, затем на другое, получилось поставить одну ногу на ступню… но пантагрюэльша уже ждала его. Ловко ухватила его за брючный ремень, и он вновь прянул в воздух, вновь осознав, что произошло, лишь очутившись на кровати – матрас вмялся под ним от удара, подбросил его и

снова подбросил. И только К. завозился, заворочался в намерении вскочить, пантагрюэльша, лежа поперек него, уже придавливала его своей массой.

Она придавливала его своей массой и расстегивала на нем ремень!

К. забил ногами, попытался дотянуться до пантагрюэльши пяткой, ударить ее… но она и в самом деле могла бы махать молотом в деревенской кузне: одной рукой она намертво зажала К. ноги, а второй продолжила начатое. Одной руки ей хватило, чтобы справиться с ремнем, выщелкнуть пуговицу из петли, раздернуть стрекотнувшую молнию, и с какой силой она рванула с него затрещавшие джинсы!

К. не верил в то, что происходило. Этого не могло быть, это происходило не с ним. Не с ним, не с ним!..

Как она спеленала ему ноги в лодыжках, он уже не заметил. Не с ним это происходило, не с ним! Потом он обнаружил ее лицо около своего, ощутил ее дыхание, – пантагрюэльша лежала на К., обтекая его грудью, животом, бедрами, он был погребен под нею, расплющен, теплокровная кузнечная наковальня придавливала его к упруго пружинящему матрасу кровати, обтянутому невиннейше белой простыней, пахнущей остывшим жаром трудолюбивого утюга.

– Голубчик, вот ты, голубчик, попался! – приговаривала она с закрытыми глазами. Выбритая ее мурка вытанцовывала на нем тягучее сладострастное танго – два шага вперед, два шага вбок, шаг назад. В голосе ее появилось жалобная беззащитность – она словно отдавала себя во власть К., просила у него снисхождения, рассчитывала на его великодушие. – Вот я тебя научу родину любить. Ты узнаешь. Я научу! – постанывающее жаловалась она. Подобрала под себя ноги и, приподнявшись над К., просунула руку между собой и ним. – Как тут у нас наш голубчик? Ну-ка, ну-ка… – Что?! – возопила она следом. – Что такое? Как смеешь? Почему такой?! Соколом! Ну-ка соколом! К солнцу! К солнцу!..

К ужасу, стыду, отчаянию К. его тайная, принадлежавшая привереде плоть противу желания отозвалась на прикосновение руки пантагрюэльши, эта плющившая его теплокровная наковальня возгоняла в нем что-то, лежавшее за пределами его чувств и сознания, бывшее больше его, неподвластное ему, не управляемое им. Сокол его воспарял все выше, выше к солнцу, и уже жаждал добычи, исходил нетерпением, сложив крылья, ринуться на нее.

Впрочем, участь добычи была уготована ему самому. Как затаившийся до поры охотник, заранее расставивший силки, настает миг – и выбивает подпорку, удерживающую сеть, так

пантагрюэльша завозилась, завозилась на К. – и подпорка отлетела, силки накрыли сокола своей тесной влажной сетью. Громкий стонущий выдох утоленного вожделения, изошедший из уст пантагрюэльши, обдул жарким ветерком лицо К.

– Вот так! – победно сказала она, поднимаясь над ним и опираясь руками на его плечи. – Узнаешь сейчас, как родину любить.

Глаза ее снова закрылись, улыбка счастливого блаженства разлилась по лицу, и она принялась мутузить попавшегося в силки сокола что было сил. Вот узнаешь, вот узнаешь, как бы говорила она каждым тяжелым шлепком своих увесистых ягодиц об его ноги.

Ключицам было больно, казалось, они сейчас треснут. К. едва удерживался, чтобы не застонать от боли. Спеленутые за спиной поперечиной креста неподвижные руки давили на позвоночник, нестерпимо просилось переместить их ниже, устроить на другом месте, но невозможно было и пошевелить ими – тотчас начинала душить петля на шее.

Потом – он не заметил, как это случилось, – боль перестала давать о себе знать. Она исчезла, он перестал чувствовать что-либо еще, кроме той овладевшей им силы, что была вне его, больше его, неподвластна ему, он исчез, растворился в ней… его сотрясло, и на какие-то несколько мгновений сила, которой он был наполнен, заставила его даже поднять над собой лупцевавшую его пантагрюэльшу, на что собственных сил у него недостало бы.

– Что?! – возопила пантагрюэльша, открывая глаза и оседая на нем подломившейся наковальней. – Ты как посмел? Ты!.. Я тебе… Поперед батьки!

Но того, чего она опасалась и на что надеялся сам К., не произошло. Владевшая им сила не отпустила К., он все так же был в ее власти – сокол не сложил крыльев, к солнцу, к солнцу стремился сокол… пантагрюэльша осознала это, на губах у нее снова возникла, стала растекаться по лицу улыбка блаженного удовольствия, и вот она уже вновь молотила К. в своих силках, узнаешь сейчас, узнаешь, узнаешь, шлепали его ее ягодицы.

И уже недолго, чувствовал К., оставалось ему до того, чтобы узнать обещанное пантагрюэльшей, все ближе и ближе становился этот миг, все стремительнее приближался. Как бы страдание появилось на ее лице, мучительное нетерпеливое напряжение… тихий сначала, но делающийся все громче жалобный скулеж вырвался из нее, перешел в вопль, и она упала на К. всей своей массой, забилась на нем, ударяя его пятками согнутых ног, словно он был лошадью, она наездницей и давала

ему шенкеля. Горячий воздух ее частого задохшегося дыхания, словно исходивший из кузнечной печи, влажно и отвратительно обжигал ему шею.

Наконец ноги пантагрюэльши медленно вытянулись вдоль ног К., она снова уперлась руками ему в плечи, приподнялась, освободив его от своих силков, и, перекатившись через К., упала на постель рядом. Громкий протяжный стон изнеможения вырвался из нее. К. лежал, глядя в потолок над собой, не двигаясь и не шевелясь, связанный, без единой нитки одежды на себе, но ему это было теперь все равно – что связан и обнажен; он был пуст и выжжен: безжизненная пустыня, вселенский вакуум, космический холод внутри, минус 273 по Цельсию. Стыд, ужас, отчаяние – ничего не осталось. И даже та сила, что помимо его желания еще только что безраздельно владела им, незаметно освободила его от себя, бесследно растворившись в этом ледяном пространстве.

Недолго, однако, было ему дано пребывать в ледяном покое. Пантагрюэльша рядом заворочалась, заколыхался матрас – и К. вместе с ним: вверх-вниз, – после чего лицо пантагрюэльши появилось в поле его зрения – так далеко, словно из другой галактики, словно мираж, переброшенный его взгляду через некие космические линзы.

– Что, знаешь теперь, как родину любить? – с лютым довольством спросил из этой другой галактики мираж пантагрюэльши. – Узнал, да?

К. молчал. Язык у него не шевелился. Какое шевеление при минус 273 по Цельсию.

«Тварь!» – вырвалось это из нее или ему послышалось? Перед глазами промелькнула ее обутая в сапог-чулок нога со стоявшей внутри вертикально стопой, мелькнуло могучее бревно ляжки в проеме между чулком и поясом в вертикальной штриховке резинок, и пантагрюэльша оказалась у него на груди – впрямь наездница на коне: вскинутые вверх коленями кожаные ноги, руки ухватили его за петлю ремня на шее, как за узду.

– Думаешь, всё? – вырвалось у нее понуканием – словно он и в самом деле был лошадью, она наездницей. – Всё, думаешь, да? Я тебе покажу! Ты узнаешь!

Что произошло следом, он понял, лишь оказавшись в полной, аспидной, непроницаемой темноте и начав задыхаться. Как если бы заваленный выскобленными потрохами, немытый рыбный прилавок опрокинулся на него – ослепил, давил своей невероятной массой, не давал дышать. Это пантагрюэльша, подтянувшись на «узде», подпрыгнула и села ему на лицо. Залитая горячим рыбьим соком мурка ее вобрала в себя нос К.,

принялась качаться на нем, ягодицы пантагрюэльши тяжело вжимались ему в лицо, не оставляя просвета для рта, чтобы вобрать воздуха им. К. начал терять сознание. Он начал терять сознание, и заледеневшее его тело ожило – завскидывались, забились ноги, его стало выгибать… но тщетно: он не мог сбросить с себя пантагрюэльши. Что же, что же… ведь я… я сейчас, пробила ужасом мысль, и все ощущения исчезли.

13. В кощеевом царстве

– Слабак, – сказал кощей, – волчья сыть… С бабой не сумел справиться. Тьфу!.. – Гадливая брезгливость была в его голосе. Казалось, произнося эти слова, он брал в руки, преодолевая отвращение, какую-то отвратительную осклизлую живность. – С бабой!..

К. не ответил ему. Он сидел перед кощеем на холодном, сплетенном из блестящих металлических трубок круглом табурете, всей одежды на нем было – трусы, не помнимо им как оказавшиеся на его чреслах, и еще полусъехавший носок на левой ноге, в комнате, где происходила их встреча, – температура градусов в двенадцать, его поколачивало от холода, а каждый вдох, побуждая к рвоте, овевал носоглотку запахом рыбного прилавка.

– Что молчишь? – повышая голос, все с той же гадливой брезгливостью вопросил кощей. – Отвечай! Баба тебя… Позорник. А так мнил о себе! Ну? Отвечай! Что было мнить? Я чище всех, я выше всех! По-прежнему так считаешь?

– Я не понимаю вас, – с натугой прошевелил языком К. – Откуда вы все это… Ничего я не мнил.

– Не мнил?! – откликнулся на его шершавое тугословие кощей. – Ох ты, не мнил! Не знаем, думаешь? Знаем, еще как знаем! Все знаем, все помним – то, что ты и сам забыл.

Он был речист на этот раз. Казалось, процесс говорения доставлял ему настоящее наслаждение – такого смака была исполнена его речь. Как и в прошлый раз, он был в пальто, наброшенном на плечи – словно в кавалерийской бурке, – но в отличие от прошлого раза не держал его за отвороты на груди, и руки жили свободной жизнью: костистые пальцы переплетены и все время шевелились, поигрывали по суставам, будто перебирали кнопки баяна. Что еще было по-другому: тогда он при всей холодности оказанного К. приема обращался к К. на «вы».

– Я не понимаю вас, – снова сказал К. – Ничего не понимаю…

Голос у него надломился. Он чувствовал себя так, как если бы все тело его было из чугуна. Как если бы умер и ожил, но, оживши, так и не вернулся *оттуда*. Смутно помнилась какая-то суета над ним, голоса, прошибающий насквозь запах нашатыря, болела грудь – делали, похоже, массаж сердца.

– Он не понимает! – Кощей перестал перебирать кнопки несуществующего баяна, расцепил пальцы, повел крутящееся сиденье кресла, в котором сидел, вбок и встал. Кресло его, как и табурет К., тоже было сплетено из блестящих металлических

трубок, только, конечно, в отличие от табурета – с теплым кожаным сиденьем. К. не сомневался, что у кресла кожаное сиденье, хотя видел лишь его спинку и ножки на колесиках в проеме между тумбами письменного стола. Не могло же у кощея быть такое же ледяное сиденье, как у табурета. Оттягивая пальто, чтобы крепче держалось на плечах, расставленными в стороны локтями, кощей обошел стол и остановился, не дойдя до К. каких-нибудь двух шагов. – Все понимают – он не понимает! – продолжил кощей свою инвективу, начатую в кресле. – Полагаешь, никто не видит тебя? Думаешь, обведешь всех вокруг пальца? Напрасно думаешь! – Его запавшие острые глаза вперивались в К. с той же беспощадной рентгеновской пронзительностью, что и при прошлой их встрече. – Корчи из себя дурачка! Докорчился уже. Зачем ты здесь, соображаешь? Что тебе твой интеллект подсказывает?

Интеллект К. не подсказывал ему ничего. В одних трусах, в одном то ли полуснятом, то ли полунадетом носке, поправить который недоставало сил, потрясываясь в ознобе на обжигающем холодом табурете… какой интеллект, не было у него сейчас никакого интеллекта.

– Не знаю, чего вы от меня хотите, – сказал он. – Вы это сами знаете?

Словно бы рябь пробежала по мертвому, повторяющему все контуры черепа, пигментированному лицу кощея. Двинулись даже, показалось К., его будто приклеенные к коже головы туго зачесанные назад редкие длинные волосы, как если бы ему мгновенной судорогой свело мышцы темени.

– Мразь! – изошло из безжизненных уст кощея. – Ты думаешь, мразь, тебя – чик и на крест? Нет, мразь, так легко не отделаешься. Мы тебя стерильным сделаем, мы от тебя, пока ты стерильным не станешь, не отступимся. Ты еще стерильней всех будешь!

Такая стылая бесстрастность была в его голосе, что К., и без того сотрясаемого ознобом, овеяло дыханием холода, что уже не раз за последние дни оковывал его ледяным панцирем, – и много же ниже температуры, стоящей в комнате, был этот холод, несравнимо. А и вся обстановка кощеевой комнаты способствовала дыханию того холода: не только табурет и кресло были из блестящих металлических полос и трубок, но и стол, из-за которого встал кощей, тоже был этот белый, зеркально поблескивающий металл, стеллажи с литыми корешками суровых папок на их полках были из сверкающих полос металла, и даже обжигающие своей стерильной белизной стены отделаны металлом: из одной точки внизу исходили и рассекали стены

лучами восходящего солнца слепящие глаз ледяным жаром полосы. Беспримесный стиль хай-тек господствовал в обиталище кощея.

– Я у вас здесь, прежде чем стану стерильным, околею. – Помирать – так с музыкой, и К. решил не стесняться. – Вы в пальто, я безо всего. Где моя одежда?

Ничто не переменилось на мертвом лице кощея. Как оно было бесчувственной, ничего не выражающей маской, так ею и осталось. Однако же когда он вновь раскрыл рот, кощей вылущил из себя совсем человечное:

– А холодно? Хотел бы согреться? Не прочь?

– Не прочь, – ответил К.

– Твое желание, – как если бы перефразировал евангельское «ты сказал», коротко ткнул в него пальцем кощей. Руки его наконец ухватили полы пальто крест-накрест – как это было при прошлой их встрече, – и он повел головой, предлагая К. подняться с его голо-железного табурета:

– Идем. Согреешься.

Слезть с табурета оказалось проблемой – мышцы отставали от полученного приказа, до того он окоченел. Кощей, с руками крест-накрест на полах пальто, отступив в сторону, смотрел на К. с нетерпеливым презрением.

Дал он невидимо для К. какой-то знак? Или за ними следили и в предусмотренный момент должны были поступить заранее обговоренным образом? Во всяком случае, в хай-тековском царстве, непонятно откуда взявшись, возникли двое горообразных преторианцев в бравых острокромчатых беретах, и вот уже К. был между ними, будто тощий кусок ветчины в увесистощекой булке, они держали его за локти и влекли вслед за кощеем – перестань К. переставлять ноги, они бы с легкостью вознесли его в воздух и понесли невесомой ношей.

К. были неприятны их пальцы у себя на руках, и он предпринял на ходу попытку освободиться от их рук, но безуспешно: в ответ береты сжали его локти своими железными пальцами так, что он тотчас понял всю бессмысленность своей попытки. Один же, слегка развернувшись корпусом, всадил оттопыренным большим пальцем свободной руки К. между ребрами, заставив его громко икнуть от неожиданной, горячо ударившей в голову боли.

А-а-ах, ах-ха-а, еще некоторое время звучно глотал на ходу воздух К., восстанавливая зашедшееся дыхание.

– Заткнись, позорник, – сдавленным голосом – будто сдерживал в себе некое сильное чувство – процедил тот, что сунул ему между ребрами пальцем. – Баба тебя… Рыпаться еще

будешь!

Как он попал к кощею, К. ничего не помнил, взгромождающаяся на него пантагрюэльша – и сразу ледяное сиденье металлической табуретки, покинул же он хай-тек кощея через явно не парадную дверь в одной из стен: она была убогой, как вход в погреб, пришлось, чтобы пройти в нее, пригнуться и самому кощею, и К., а уж направлявшим его шаг горообразным беретам – чуть ли не согнуться в поясном поклоне.

Нечто вроде погреба за дверью и оказалось. Полумрак, создаваемый рассеянным мерклым светом немногих ламп под неожиданно низким потолком – особенно придавливающим после высокого простора кощеева хай-тека, – царил в помещении за убогой дверью, глаза перестали видеть, плечи невольно ссутулило, голова вжалась в плечи. И душно, парно, тяжело дышать было тут – будто в джунглях. Озноб оставил К. во мгновение ока, он почувствовал, что поры начинают набухать потом. Кощей, однако, продолжавший, не оглядываясь, шествовать впереди, все так же оставался в пальто и только, судя по тому, как оно оттопырилось в стороны, перестал держать его за полы, разведя руки. Глаза стали привыкать к полумраку, и К. увидел, что с обеих сторон прохода, по которому шли, и справа, и слева, теснясь друг к другу, стояла разнообразная, грубо сделанная, тяжеловесная мебель: столы, стулья, кровати, непонятного назначения стойки, увенчанные клиновидными навершиями. Но не просто мебель это была: какие-то рычаги вздымались из ложа кроватей, у одного стула спинка торчала вверх под самый потолок, а на ее макушке громоздилось что-то подобное навесу, похожие на тележные, большие колеса, не касаясь пола, возвышались по боковинам столов.

Кощей, топыря пальто локтями, дошел до конца прохода, достигнув противоположной стены, остановился и повернулся лицом к К. с зажавшими его между собой беретами. Замерли тотчас на месте, затормозив К., и береты.

– Согрелся? – спросил кощей. Словно бы приветливая сочувственность прозвучала в его голосе.

– Зачем здесь такие тропики? – вопросом ответил кощею К.

– А не понятно? – все с той же приветливостью – и даже что-то подобное ласковости проточило ее – отозвался кощей.

– Нет, – сказал К., чувствуя себя истинно куском ветчины в сэндвиче между этими двумя молчаливыми горообразными беретами.

– Что же, по-твоему, рассуди, – сказал кощей, – должно быть в пыточной? Или холод, или жара. Иного не дано.

Пыточная?! Сквозь весь душивший его жар К. снова обдало

холодом. Они собирались его пытать? И тут он понял, что кровать – это была никакая не кровать, а натуральная дыба, и торчащие рычаги – рукояти для прокручивания ворота…

– Что вы от меня хотите, собираясь пытать? – Он старался взять себя в руки. А голос прыгал – не унять, голос, он чувствовал, выдает его.

– Пытать? – повторил за ним кощей, словно именно К. и подал такую идею, а до того ничего подобного не приходило ему в голову. – В самом деле! Чего бы нет?! На трон его, – тихим голосом, как бы с усталостью распорядился кощей.

К. не успел опомниться, как береты уже подвели его к одному из тяжелых массивных стульев, оказавшимся вблизи креслом с широкими грубыми подлокотниками. И подлокотники, и прямая спинка, и сиденье, и даже пространство между передними ножками, представлявшее из себя что-то вроде деревянного фартука, пришитого гвоздями к сиденью, – все было в многочисленных острых шипах, лишь йог и мог бы, пожалуй, счесть это колючее столярное изделие троном. К. было инстинктивно уперся, страшась оказаться на ощерившемся шипами сиденье, но куда! Один из беретов, что бил его пальцем под ребра, повторил свой нехитрый прием, другой, не выпуская из рук локтя К., пнул его под колено – и К. шмякнулся на шипы с такой живостью, словно страстно желал этого. В ягодицы, в ляжки снизу стегнуло болью, заставив его задергаться, но, задергавшись, он лишь умножил ее; замереть, проголосило все тело, – это единственное, что могло умерить боль. Замереть, не шевелиться… и он больше не сопротивлялся тому, что делали с ним береты. Пощелкивали в воздухе, обвивая его, ремни, накрепко притягивали к спинке, к сиденью, руки к подлокотникам, ноги к «фартуку» между ножками кресла.

Береты исполнили все, что было положено, и оставили К. в покое, исчезнув из его поля зрения. К., забывшись, тотчас попытался переменить позу, и тело, раздираемое впившимися в него остриями шипов, окатило новой волной боли. Глаза К. залило слезами. Слез было так много и так разом они переполнили глазные чаши, что по щекам на губы ему пролились два соленых потока. С минуту, возможно, К. ничего не видел. Когда зрение начало возвращаться к нему, в плывущем водяном тумане он разобрал струящийся силуэт стоящего перед ним кощея.

Кощей, видимо, понял, что К. наконец видит его. Брезгливо-гадливая складка его губ пришла в движение.

– Долго продержишься, как полагаешь? – услышал К. его голос.

– Скажите, в конце концов, что вы хотите от меня? – выжал из себя К. Простонал на самом деле – так получилось.

– Тебе уже объяснено, – с суровостью отрезал кощей. – Хотел бы услышать – услышал. Но ты ничего не слышишь.

От напряжения, с которым К. удерживал себя в неподвижности, у него задергались на спине мышцы. Он почувствовал явственное предвестие судорог.

– Снимите меня отсюда! – взмолился он. – Я хочу слышать… я услышу… снимите!

Какая долгая пауза разверзлась ответом на его мольбу. Казалось, ей не будет конца.

Потом одна из рук у кощея медленно пришла в движение, поднялась, замерла, как если б он тяжело решал, что с нею делать дальше, и вот, с той же медлительностью, с какой поднималась, рука нарисовала в воздухе перечеркивающий крест.

Береты, исчезнувшие из поля зрения К., как закрепили его на «троне», возникли около К. вновь. Замки проклацали, ремни просвистели, освободив руки, ноги, торс, – настала свобода. К. хотел подняться – и не смог. Тело не слушалось, отказывалось повиноваться.

Улыбка тайного довольства (которую он все же не смог скрыть) прозмеила губную складку кощея.

– Помогите ему, – приказал он беретам.

К. взлетел в воздух – так береты взяли его из кресла. Если бы они его сейчас отпустили – он бы упал: мышцы на ногах не способны были держать тела.

– Слабак, – сказал кощей. – Средневековые люди часами на нем сидели, пока пощады запросят!

У К. не было сил ответить. Он только старался не отвести взгляда от кощея. Может быть, я слабак, но ты на моем месте не был, говорил он кощею взглядом.

– Есть желание полежать, отдохнуть? – спросил кощей.

Подвох в его голосе был несомненен. Он торчал в кощеевом вопросе циклопической щепастой занозой, которую нельзя не заметить. Но К. счел возможным не обратить на нее внимания. Есть такое желание, согласно кивнул он в ответ на вопрос кощея. Лечь – это ему сейчас хотелось больше всего.

Шелковистая улыбка довольства снова прозмеила губы кощея.

– Исполним желание? – неторопливо переметнул он взгляд с одного берета на другой. И, сам себе отвечая, кивнул, отдавая тем самым беретам распоряжение: – Исполним.

Немедленно К. был стронут беретами с места и вынужден двинуться куда они его повели. Где боком, где выжимая его перед

собой, береты пролавировали между пыточными орудиями и подвели К. к просторно разметнувшейся среди других орудий широкой, поместительной дыбе. Она бы точь-в-точь напоминала собой грубо сколоченную из крепких плах, обнаженную до своего деревянного скелета кровать с отнятыми спинками, если бы не поперечные валы в изножье, посередине и изголовье этой «кровати» с отходящими от них длинными отполированными древками рычагов, косо взметнувшимися над страшным ложем, толстые, канатные веревки обвивали валы на концах в несколько оборотов и, пропущенные под настилом ложа, связывали валы в единый механизм.

Голос, только что не желавший слушаться К., вернулся к нему без приложения к тому каких-либо усилий. И такой силы голос, такой полноты!

– Вы с ума сошли! – взревел К. Забился в руках беретов – но лишь заставил их отметнуться в стороны. – Вы что! Нет!..

– Запел, – донеслось до его слуха брезгливо-довольное резюме кощея. – Соловей… Укладывайте, – последовало через секундную паузу новое его повеление.

Прекративший было сопротивляться К. возобновил свои потуги вырваться. Тщетно! Он натурально взлетел в воздух – чтобы в следующее мгновение уже распластаться на плахах и валах ложа. И вот его руки были закинуты за голову, притянуты веревкой к валу в изголовье, и, точно как руки за головой, ноги были накрепко привязаны к валу в изножье. Проклацали замки ремней, перехлестнувшие К. грудь и бедра, его притиснуло к дыбе так – не пошевелиться.

К. лежал затихший, ощущая всем телом деревянную твердость ложа, и не дергался больше даже внутренне. Он смирился. Оставалось принять свою судьбу и постараться, если от него это зависит, удержаться от какого-нибудь срама… он боялся недержания мочи, а то, может быть, и не только мочи. Это было бы уже совсем позорно.

Лицо кощея возникло над ним. Так близко, так отчетливо увидел К. во всевластном полумраке пыточной его обтянутый кожей костяк лица – каждая кость ясна, рельефна, и так на этой землистой коже внятны контуры пигментных пятен, густо обсыпавших лицо.

– Готов? – спросил кощей. – Захрустят сейчас суставчики. Полезут косточки из гнездышек. До тридцати сантиметров человек увеличивается в росте. Вон каким большим станешь!

К. смотрел на него снизу и не отвечал. Только теперь не потому, что язык не повиновался ему. Кощею хотелось вытянуть из него какие-то слова? Так он не должен был услышать от К.

никаких слов.

Лицо кощея в ожидании ответа еще повисело-повисело над ним и, двинувшись вверх, исчезло из поля зрения К.

– Давайте, ребятки, – услышал К. обращенные к беретам слова кощея. – Не торопясь. Чтоб проникся. Чтоб получил наслаждение! Чтоб в лучшем виде!

Должно быть, береты налегли на рычаги: К. почувствовал, как шелохнулся, стронулся с места, прошоркнул по коже вал под спиной. В предуготовлении к боли у К. вздернулся подбородок, глаза ему закрыло, словно кто-то незримый задернул веки, как шторки. Вал под спиной снова продрал кожу. Но странно: вытянутые веревками руки и ноги К. остались без движения, их не потянуло… Что это значило?

К. открыл глаза.

И тотчас над ним вновь возникло лицо кощея.

– Не опрудился, слабак? – спросил кощей. – Болван стоеросовый. Приготовился он… Не собирается никто тебе жилы рвать. Нужно твои вопли слушать! Недоумок.

Жизнь возвращалась к К. – будто просеивался через игольчатое отверстие песок в песочных часах. Тонкой сыпучей струйкой, почти незримой. И все же возвращалась.

– Благо-да-арствую, – проскрипел К. Каждое слово давалось так, словно язык весь был в заусеницах, как неопрятные ногти, и они цеплялись за нёбо. – По-олежал. От-до-охнул…

– Мразь! – снова вырвалось у кощея. Он отступил от дыбы. – Ты шуточки… шутковать решил? Дошутился!

Безмолвный кивок его головы означал команду беретам освободить К. от пут. Минута – и К. был развязан, поднят с дыбы, принят беретами под локти… Теперь он не оказывал сопротивления насильственному обращению с собой даже в душе. Он был покорен теперь, как последний фаталист, готов безропотно принять все, что пошлет судьба, – у него не было возможности ни переломить ее, ни переиначить, ни переиграть.

Орудие, к которому его подвели береты, – это был тот «стул», который К. заметил еще раньше; его невозможно было не заметить: так высоко возносился он своей странной, похожей на стойку спинкой, такой странный, непонятный навес-набалдашник высился на самом верху спинки. Вблизи сейчас стало видно, что «стул» напоминал медицинский ростомер с откидывающимся сиденьем внизу, чтобы измерять и в полный рост, и сидя, только сиденье здесь было не откидное, а как у обычного стула, разве что очень узкое и короткое, словно детское, и с него, как и со спинки-стойки, плоскими змеями свисали многочисленные ремни с бляхами металлических замков на концах.

Никакого впечатления не произвел на К. «ростомер». Что на него могло произвести впечатление после того, как побывал на дыбе?

Садись, молча направили его на сиденье, нажав на плечи, будто опустили на них по пудовой гире, береты. К. звучно плюхнулся на грубую плашку сиденья, и береты без промедления принялись опутывать его ремнями: приторочили за торс и плечи к спинке-стойке, пристегнули к сиденью, закрепили с особым тщанием ноги, завернули за спинку руки, связали их там, мертво спутав с другими ремнями, – как приварили. Часть набалдашника наверху оказалась подвижной муфтой. Береты спустили ее по стойке, и голову К. по надбровным дугам охватило тесное металлическое кольцо, вздернув ему подбородок вверх и закинув вверх лоб – не двинуть головой ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, даже не шевельнуть.

И снова появился перед ним кощей. Он все так же был в накинутом на плечи пальто, – как только ему было в нем не парно*?*

– Дошутился, – сказал кощей. Брезгливая каменная суровость, так знакомая К. еще с прошлого, добровольного посещения особняка, звучала в его голосе. – Сделаем мы тебя стерильным. Будь уверен. Еще таким стерильным станешь! Всем на зависть.

К. не ответил. Разве кощею нужен был его ответ?

– Ага, – посмотрев куда-то за плечо К., уронил кощей – как дал согласие. Там за плечом К. стоял, надо полагать, кто-то из беретов. Или они оба. Что значило его «ага»? Разрешение на некие действия?

Эти действия тотчас и воспоследовали. Над головой К. раздался сухой звонкий щелчок, как если бы откинулась какая-то заслонка – то ли металл о дерево, то ли дерево о металл, что-то скрипнуло – словно провернулся рассохшийся деревянный шарнир, и спустя мгновение о вывернутый кверху тесным кольцом лоб К. расплющилась увесистая капля. Он дернулся от неожиданности – и не смог дернуться: узы, что сковывали его, не позволили шелохнуться ни одной мышце. Лишь слегка шевельнулась в обруче голова, и острая боль тотчас же прострелила лоб – содралась, видимо, о металл кожа, – теплая струйка заточилась чуть погодя по переносице.

Кощей, стоя перед К., смотрел на него бесчувственным взглядом энтомолога, что изготовился со всем тщанием изучить реакции насаженного на булавку насекомого.

Новая капля тюкнула К. по лбу. Но теперь это было ожиданно, и нервная система К. восприняла легкий шлепок как жизненно необходимое действо над его плотью – ничто не

содрогнулось в нем, не отозвалось сопротивлением.

Потом стукнула еще одна капля. И еще… Накопившаяся вода просочилась под кольцо и, слившись с дорожкой крови, потекла по переносице, по носу, на рот.

Кощей разомкнул губы.

– Не страшно, да? Посиди, посиди. Так вот теперь и будешь сидеть. Захочешь пить – дадим. Есть захочешь – тоже дадим. Но все не сходя с места. Мочиться под себя. Кишечник опорожнять – тоже под себя.

В К., несмотря на то что обливался потом от жары и духоты, вспыхнул и пробрал его иголками настоящего озноба панический испуг. Он знал об этом китайском способе пытки и казни, как было не знать. Вода продалбливает кожу, изъязвляет рану, добирается до кости, человек сходит с ума… Но, оказывается, еще и это: под себя! А пить при таком истечении пота еще как захочется, терпи не терпи – жажду не стерпишь…

– Зачем вам… что вы со мной? – выползло из К. И жалобно же это у него получилось.

– Ты ведь стерильным хочешь быть? – не поспешив, отозвался все же кощей.

– Хочу, – подтвердил К. – ни на какой другой ответ он был уже не способен.

– Вот и станешь.

Очередная капля ударила и растеклась по лбу К.

– Прекратите, – попросил он кощея. – Отвяжите меня.

Шелковистая улыбка довольства, что уже появлялась на лице кощея, снова прозмеила ему губы. Он молча отвернулся от К., отступил от него, нашел взглядом береты и все так же молча, кивком головы сделал им знак: идем!

– Э-эй! – с отчаянием проблажил К. в их удаляющиеся, исчезающие из поля его зрения спины. – Вернитесь, эй!

Но шаги кощея с беретами делались глуше, глуше, смолкли совсем, донеслось тяжелое пение дверных петель (К. вспомнилось, какая низкая притолока у двери, ведущей сюда), пауза, повторное пение петель – и все стихло. Он остался один.

Сколько он просидел так в одиночестве, К. не знал. Его внутренние часы остановились. Шестерни перестали крутиться, стрелки не двигались.

Вода, просачиваясь под кольцом, давно уже залила лицо, текла по губам, скапывала с подбородка на грудь. Смешивалась с потом, и по животу у К., устремляясь в трусы, пролегла целая водяная дорожка. Трусы давно были мокры, мокро под ягодицами, освободи мочевой пузырь – не много что, наверное, и изменится. Разве что запах. Тело от неподвижности начало

онемевать, падение каждой капли на лоб отзывалось теперь в голове дребезжащими жестяными волнами боли. Зрение стало отказывать ему. Серая мутная пелена затягивала пыточную. Сознание выталкивало его из внешнего мира, заставляя целиком погрузиться в эту дребезжащую жестяную боль в голове. Несколько раз утробный, будто изданный кем-то чужим в нем, тяжелый мык вырывался из К. И уже просилось не сдерживать его, а выпустить из себя – и мычать не прекращая…

Неожиданно в глазах у К. просветлело. Он не стал видеть лучше, а вот как если бы в пыточной резко увеличилось освещение.

Следом за тем до слуха его дошли звучавшие неразборчивым эхом, доносившиеся с другого края вселенной голоса. Один, как рокочущая басовая струна, был наполнен неумолимой вельможной повелительностью, другой, казалось, обвивался вокруг него подобно хмелю округ несущего стержня, балалаечное обрывистое треньканье слышалось в нем. Однако же басовое рокотанье утопало в этом балалаечном треньканье, укрощалось им и тишало. Ко мне, ко мне, мысленно позвал К. Голоса позвать вслух изойти из него не могло. Ко мне, ко мне, молил он. Лишь бы ощутить около себя чье-то человеческое присутствие. Пусть это даже будут те же кощей с беретами.

Кощей с беретами это и оказались. И балалаечный голос, понял К., когда размытые тени двигавшихся фигур приблизились, принадлежал ему. Но басовая струна не имела отношения к беретам. Только К. своим сбившимся зрением никак не мог схватить в фокус колеблющиеся контуры басовой струны. В отличие от кощея и беретов человек был в белом, и что это за необычная одежда была… словно он завернулся в простыню…

К. напряг зрение изо всех сил, оконтурил белое пятно фигуры, что добавилась к команде кощея с беретами. Мутящееся сознание, похоже, мистифицировало его. Не простыня это была на человеке. Древнеримская тога! Со всем тщанием обвитая вокруг плеч, торса, бедер, и на левой полусогнутой руке он держал ее свободно свисающий край – точно как сошедшая с пьедестала, ожившая скульптура какого-нибудь римского патриция.

Но, с другой стороны, кощей с беретами выглядели, как и прежде, ничего в их облике не изменилось.

Группа остановилась перед К. Скульптура патриция и кощей все в так же наброшенном на плечи подобно кавалерийской бурке пальто – впереди, береты на шаг сзади. Патриций, с усердным любопытством ощупав К. взглядом, повернулся к кощею:

– Что это вы? Это зачем?

– Хотел испытать себя, – кощей своим балалаечным голосом продолжал густо обвиваться вокруг скульптуры патриция стелющимся хмелем. – Пришлось пойти навстречу желанию. Ужасно хотел, да? – глянул он через плечо за спину на торчавших там горными пиками красноголовых беретов.

Береты, не проронившие при кощее ни слова, вмиг ожили.

– Хотел ужасно, – подтвердил один.

– Требовал просто, – уточнил другой.

– Как было отказать, – завершил свое объяснение кощей. Поддержка беретов его явно удовлетворила. – Раз так хотел.

– И как теперь в таком виде? – недовольно пророкотал патриций. – И кровь… и вообще. Не комильфо.

– Почему не комильфо? Комильфо. – В увещевающем недоумении кощея была сама непритворная искренность. – В каком виде ему еще быть? Не во фраке же с бабочкой. Подмарафетят его – заблестит пятаком. Будет как новенький, в лучшем виде.

– Вот давайте, подмарафетьте, – одобрил предложение кощея патриций. – Поживее только, не затягивая.

Видимо, их непонятное К. обсуждение его дальнейшей судьбы было завершено: патриций повернулся и, с левой рукой на отлете, весь струясь и волнуясь складками, с величественной плавностью, как, должно быть, только и можно было идти в тоге, начал отдаляться от К., расплываясь в бесформенное, с каждым шагом все более бледное, исчезающее пятно, исчез, и только мягкий постук его затухающих шагов еще некоторое время сообщал о том, что он пока не покинул пыточную, а там исчезли и шаги, и несколько погодя донеслось дальнее двойное пение дверных петель, известив о том, что пыточная скульптурой патриция оставлена.

Между тем береты уже толклись вокруг К. – расстегивали, расщелкивали, развязывали, провернулся над головой с визгливым скрипом рассохшийся деревянный шарнир, раздался звонкий сухой щелк, металл ли о дерево, дерево ли о металл, какая-то заслонка, запор? – все в обратном порядке тому, как происходило, когда был усажен сюда, тощая капля после долгого перерыва клюнула его в лоб – и стала последней. Кольцо, зажимавшее голову и вздиравшее ее вверх лбом, с глухим пошоркиванием муфты о стойку понеслось к вершине стойки.

Освобожденные от пут, вывернутые назад руки упали вдоль туловища плетьми – К. не мог пошевелить и пальцем. Распеленутые ноги остались в том положении, в котором были, – онемевшие мышцы не могли сократиться. Береты расстегнули ремни, что прикрепляли его к сиденью, ремни, удерживавшие

торс у спинки, – и К. тотчас стал валиться на сторону: тело не желало его слушаться. Он бы свалился со своего лобного места кулем, если бы береты не поддержали его.

– Слабак, фу! – с омерзением сказал кощей. – Ведите его за мной, – приказал он беретам.

Но К. нужно было не вести, его нужно было нести. Он даже не мог перебирать ногами, они у него волочились по полу, и береты, закинув его руки себе на плечи, вынуждены были полностью принять на себя вес К. Он все слышал, все видел, но странное это было сознание: как замороженное. Видел, слышал – и все равно что был глух и слеп.

14. Под сосцами Капитолийской волчицы

Видимо, дело происходило в какой-то медицинской комнате. К. своим слепым зрением уловил, что невелика, в отличие от других помещений здесь, где уже побывал, стоят прозрачные стеклянно-хромированные шкафы, шкафчики, теснятся у стенок бело-лакированные аппараты… как сюда попал, он не понял: тащили коридорами, снова, кажется, был лифт, но опускался или поднимался? – сознание даже не ухватило.

Он лежал, то открывая, то закрывая глаза, на узком твердом ложе со слегка вздыбленным изголовьем – медицинская кушетка, должно быть, это была, – а над ним волховали ласковые женские руки… Протирали влажными ароматными салфетками, делали массаж ног, рук – каждую мышцу, проминая до последнего волокна, перевернули на живот – и снова руки, ноги, взялись за плечи, спину. К. лежал, подчиняясь всякому действию над собой, и чувствовал, как онемелость в мышцах проходит, тело вновь наливается силой, уже может сам и встать, и пойти. Так он и сделал, когда с массажем было покончено, разве что никуда не пошел, а всего лишь сел на кушетке. Куда ему было идти? Горообразные береты, исчезнувшие было с его горизонта, пока лежал, тотчас, как сел, нарисовались неподалеку, а вероятнее всего, никуда и не исчезали, были здесь все время. Заменой поднявших его на ноги массажисток явился некто маленький, серый, всем обликом напоминающий испуганного пронырливого мышонка, вместе с ним явилась одежда: брюки, носки, майка, рубашка и даже щегольского вида пиджак с закругленными бортами и двумя разрезами сзади – все не его, чужое. Трусы только и остались на К. свои. Все, однако, оказалось вполне подходящим по размеру. Возник в середине облачения, с твердой деревянной меркой в руках, еще один мышь, измерил ступню, исчез и спустя недолгое время явился с блестящими лакированными ботинками в руках, которые собственноручно и натянул на К. «Не жмет?» – с галантерейными ужимками вопросил он. Ботинки не жали, ботинки были впору; и вообще К. никогда прежде не носил таких туфель. «Не жмет», – сипло отозвался он. Гортань с языком еще не с большой охотой повиновались ему.

Кощей, все так же придерживавший пальто на плечах за борта, возник перед К. сгустившейся из воздуха нежданной забытой фигурой.

– Хорош! Красавец! – оценил он вид К. – Нет слов, меня душат слезы! Тронулись, – перекинув взгляд на беретов, повелел он.

Береты тот же миг оказались по бокам К. и крепко приложили свои деревянные ладони к его лопаткам: тронулись, было сказано! Впрочем, когда пошли, вновь следуя за кощеем, уже не вели его под локти, а просто ступали рядом родом опекающего эскорта, – словно, обретя одежду, он обрел и иной статус, понуждающий к большей уважительности.

И снова глухая тишина мертво-пустых коридоров – прямо, направо, налево, прямо, – полет на лифте – непонятно куда, вверх ли, вниз ли, – новый коридор, ничем не отличный от того, который оставили… Двустворчатая дверь, перед которой остановились, была широкой, хоть въезжай на автомобиле, и высокой – под потолок, инкрустированна сияющим желтым металлом, полосы которого вправлены в массивное ее полотно так, будто составляли с ним одно природное целое. Она словно сообщала всем своим видом, что за нею нечто особое, значительное.

Кощей, оторвав руку от борта пальто, приложил палец к ювелирно выразительной в своей простоте желтой кнопочке в стене рядом с дверью. Столь же ювелирно выразительная желтая гребенка динамика вертикально топорщилась над кнопкой звонка. И, одерживая верх в этом негласном соперничестве, являл свою неоспоримую выразительность черный укол микрофона между ними.

– Тут, – приблизившись губами к микрофону, коротко сообщил кощей в микрофон, когда динамик на удивление членораздельным голосом вопросил его: «Что?»

– Видим, – отозвался динамик с той же членораздельностью. Должно быть, кроме открытого взгляду звонка с переговорным устройством, где-то незримо присутствовал и глазок видеокамеры.

Последовавшее мгновение тишины пресеклось раздавшимся в дверном чреве мелодичным боем отщелкнувшегося магнитного запора. Створки медленно поначалу, но все ускоряясь и ускоряясь, начали отходить друг от друга.

И чем дальше они отходили, тем большее потрясение охватывало К. Ему вообще даже показалось сначала, что перед ним выход на улицу. Мягкий свет раннего вечера стоял за дверьми, легкие мережные облачка туманили садящееся солнце, воздух был наполнен теплой пастелью – лето являло себя глазу во все своей прелести и красоте. Шелест листвы помнился К., нежное журчание ручья, негромкий, словно притушенный, птичий гомон.

Но створки расходились шире, шире, открывающаяся картина стала ясна в подробностях, и стало понятно, что никакая это не улица. Однако имитация летнего раннего вечера была изумительна, и с изумительной достоверностью был воссоздан в возносящемся ввысь на добрый десяток метров просторном зале кусок природы: зеленое всхолмье, несколько пальм с обернутыми в серый лохматящийся войлок стволами, оливы с созревающими плодами. Светящаяся, летяще-ажурная мраморная ротонда стояла на вершине всхолмья, неутомимо трудился, сливая со своего распахнутого широкого лепестка звонкую завесу воды массивный римский фонтан. И птицы пели, да. Не запись из динамиков, настоящие, – перепархивали с дерева на дерево, простреливали воздух стригущими пулями. Густая, газонной высоты трава переливалась малахитовым шелком.

Но не первозданен и девствен был этот кусок природы. И не только ротонда с фонтаном свидетельствовали о том. А и присутствие людей. Сколько тут человек находилось? Десять, пятнадцать, двадцать? От двери и с первого взгляда точно не определить. Но все же скорее двадцать, чем десять, а может, и больше. Длинный низкий стол, застеленный белой скатертью, был накрыт полуподковой под оливами, и вокруг него, облокотившись о подушки, полусидели-полулежали люди в тогах – как тот, благодаря которому К. был извлечен из пыточной. В отдалении от стола, у разных его концов, обреталось еще несколько человек – эти были на ногах и одеты в туники, перехваченные на поясе широкими ремнями. Двое в туниках выдавали их общее назначение здесь: склонившись к возлежавшим за столом, они помогали им обслужить себя – справляя обязанности официантов. Но сейчас что они, что их собратья по обязанностям, как и те, что возлежали, будто застыли в том действии, в котором их застало открывание дверей, и все, как один, были обращены взглядами в одну точку: на расходящиеся створки.

Что это было такое? Кто были эти люди? Что за пикник древнеримских патрициев? И зачем его доставили сюда? Уж не для того же, чтобы накормить!

Створки дверей разошлись тем временем на расстояние, которое позволяло пройти вовнутрь, не толкаясь, хоть целой шеренгой. Кощей шагнул на малахит травы за порогом, сделал несколько шагов, остановился и повелительно оглянулся на береты за спиной К. Тотчас К. вновь почувствовал на лопатках деревянные ладони беретов и, подчиняясь их неумолимому напору, влетел внутрь.

Вдали со своего ложа у стола поднялся и двинулся по

направлению к входу один из тех, что были в тогах. К. казалось, это тот, который извлек его из пыточной, но, хотя очки у него на носу сохранились, понять наверняка не мог. Вот если бы на его месте была сейчас привереда с ее дальнозоркостью… Он подумал о ней, и его будто обдало кипятком: только этого не хватало, как такая мысль могла прийти ему в голову?!

Беретов за спиной у себя К. не чувствовал. Он оглянулся – впихнув его в это пространство с искусственным уголком природы, сами они остались за порогом. Створки дверей между тем уже шли навстречу друг другу, готовясь сомкнуться. От беретов в суживающемся проеме осталось по плечу и половине лица, вот лиц не осталось, вот уже не осталось почти ничего от плеч… и береты исчезли совсем. Створки сомкнулись. Только сейчас, изнутри этого пространства, наполненного птичьим пением, журчанием воды, дальним гомоном голосов у стола, мелодичного металлического боя магнитного замка, запечатавшего дверь, до слуха не донеслось.

Кощей стоял на шаг впереди К., не двигаясь, и даже словно бы вытянулся во фрунт – явно не смея идти дальше и ожидая, когда тот, что в тоге, направлявшийся к ним, подойдет.

Стоял, ждал, одетый во все чужое, но все подобранное точно по его размерам, как если б сшитое на заказ, и К. И это под землей?! – думалось ему. Да, конечно, он понимал: под землей. Но что за немыслимая фантазия – устроить под землей такой уголок природы? Немыслимая, невероятная фантазия!

Направлявшийся к ним с кощеем человек приблизился настолько, что К. своим близоруким астигматическим зрением видел наконец, как ему и казалось с самого начала, – это тот самый, что приходил в пыточную. Складки его тоги, подбиваемой на каждый шаг коленями, всколыхивались и ходили ритмичными легкими волнами, присогнутая левая рука, несшая на себе один из концов тоги, ходила вперед-назад с тою ритмичностью, с какой опытный всадник поднимается-опускается в седле вслед бегу лошади, – с удивительной привычностью и естественностью нес он на себе эту одежду древнеримских патрициев.

Оживший патриций остановился, не доходя до них нескольких шагов, и, манкируя кощеем, воззрился на К.

– Ну… ладно. Ничего, – проговорил он, осмотрев его с ног до головы. – А с рожей, рожей что? – словно лишь сейчас заметил кощея, перевел он взгляд на того. – Что это за рожа? Вы его мордой по бетонному полу, что ли, возили?

Коросту на лице К. имел в виду, несомненно, патриций.

– Понятия не имею, откуда у него эта красота, – сухо, но с отчетливой почтительной угодливостью откликнулся кощей. –

Таким поступил.

Словно бы тычок под диафрагму почувствовал К. Хотя, казалось бы, ничего уже не должен был чувствовать. Как о каком-то бревне говорил о нем кощей. О предназначенном для продажи товаре, поступившем со склада с таким вот, к сожалению, скрытым брачком…

– Ну… ладно, – снова изошло из ожившего патриция. – Идем.

– Идем, – скупо прошевелил бровями кощей, обернувшись к К.

К. тронулся за ними. Как он мог не пойти. Товар не может распоряжаться собой. Куда нужно владельцу, туда товар и перемещают. Пусть у этого товара две ноги, и он может перемещаться сам.

Стол и прислуживающие в туниках – все по-прежнему были обращены взорами в сторону их группы. К. все так же не мог разобрать лиц, но неудобные, не располагающие к долгому пребыванию в них позы, в которых застыли возлежащие у стола, свидетельствовали, сколь сильно они возбуждены. Жаркое, распаленное нетерпение читалось в неудобных позах возлежащих. Что за интерес представлял для них К.?

Трава проминалась под ногой на каждый шаг с ласковой бархатистой упругостью. Похоже, это была настоящая трава, не синтетическая. Постоянный полив, ежедневная имитация всей солнечной световой гаммы требовались для нее…

Кто эти люди, возлежащие за столом, почему они в тогах, не оставляла К. мысль. Расстояние до них все сокращалось, он наконец совершенно отчетливо различал их лица, и казалось, некоторые из лиц знакомы, если и не знакомы, то почему-то известны ему.

Сюда, сюда, вскинув руку, властно позвал их процессию мановением пальца один из возлежащих. Он был из тех, чье лицо казалось К. знакомым. Стоять, стоять, снова молча приказал он, не позволив подойти к столу слишком близко, – только теперь промаячил всей рукой, обращенной ладонью вниз. К., кощей, их вожатый в тоге остановились, К. – будто само собой так получилось – оказался между вожатым в тоге и кощеем, как со стражами по бокам, и позвавший их, похоже, главенствующий за столом, воззрился на К. снизу пристальным, изучающим и словно бы сочувственным взглядом выпуклых светлых глаз.

– Н-ну? – поизучав К., въедливо вопросил он. – И что же?

Это был вопрос к нему? К. не понял. О чем был вопрос?

Молчание затягивалось. Кощей, ступив к К., заглянул сбоку ему в лицо – каменно и мертво было его собственное.

– Отвечай! – процедил он – как потрепал К. в зубах.

Но К. не знал, что ответить на такой вопрос.

– Что – «и что же»? – вырвалось у него.

Недоуменное удивление выразило лицо главы стола.

– Это он что? Меня? – даже ткнув себя в грудь пальцем, посмотрел глава стола на кощея. Но отвечать кощею не пришлось; глава стола зашевелился на своем ложе, роняя на траву подушки, что лежали у него под локтем, нашел кого-то за столом взглядом и взорвался криком: – Это как он у вас такой преподает? Как себе позволяет разговаривать!.. Развращает студентов?!

– Ну, это… Я его… только приступил к обязанностям… не знаю его… – залепетал, приподнимаясь на локте, практически сев, тот, к кому он обращался.

– А должен знать! – вместо главы стола насмешливо ответил ему сосед главы, массивное лицо его также казалось К. знакомым, откуда, откуда? – Хоть только к своим обязанностям, хоть не только. Стал ректором – изволь, должность обязывает.

Это новый ректор! К. с жадностью вгляделся в него. Нет, его лицо было ему незнакомо, – возможно, новый ректор вообще был чужаком в университете, пришельцем со стороны. Но почему кажутся знакомыми этот глава стола, этот его сосед, кто они?

– Уже не преподает! – торопливо, как если бы прикрывал собой ректора, даже с такой ретивой торопливостью и громко, чтобы быть наверняка услышанным, проговорил, высоко поднимаясь на локте подобно новому ректору, человек с дальнего конца стола – на самом краю было его место, последнее.

И его лицо тоже было знакомо К.: эта улыбчивая складка губ, эта отчетливо выраженная юношеская мускулинность, эти распадающиеся посередине головы на два волнистых крыла длинные волосы со схваченными сединой висками… и скорее по голосу сначала, лишь потом по лицу, необычная, древняя одежда не позволяла связать знакомые черты с человеком, он понял, кто это: завкафедрой это был!

– Вы же сказали, чтобы я просто отдохнул, – осилил себя так же громко, как завкафедрой, произнести К.

– Уволен, уволен! – весь вытягиваясь вверх, едва не вставая, провещал завкафедрой.

По узкощекому, с глубокими заломами носогубных складок замкнуто-холодному лицу главы стола растеклось выражение ублаготворенности. Ему было приятно рвение завкафедрой.

– Ладно, ладно, чего там, – сказал он голосом доброго дядюшки (не отца!), что мирит рассорившихся племянников. – Чего уж так уж… Поговорить надо с человеком. Может, оступился человек. Помочь ему. Подтолкнуть на правильную дорогу. Осудить легче всего. Может, человек-то на самом деле

стерильный в основе. Тем более что не чужой человек… Знаешь, что я у твоего деда учился? – взгляд его выпуклых светлых глаз – словно бы сочувственный! – переместился на К. – Дед твой меня на научную стезю благословлял. А я уже тогда чувствовал: практик я, живую жизнь мне в руки! Уверен был, что мэром стану. Стал, видишь.

Так это сам мэр, осознал К. Вот кто! Неслучайно лицо его казалось знакомым: по портретам. До чего неузнаваемым делает человека одежда. Должно быть, и другие здесь, кто почудился знакомым, были так же людьми с портретов. К. непроизвольно глянул на соседа мэра, с такой надменной насмешливостью отчитавшего нового ректора, и его живой облик в тоге теперь незамедлительно связался с его официальным массивнолицым портретом, где он был в сером, туго застегнутом шелковистом пиджаке, белой шелковой рубашке, из-под воротника которой подобно форменной принадлежности сбегал к сретенью лацканов и исчезал под запахнутыми бортами сурово-пристойный шелковый серый галстук. Начальник службы стерильности возлежал рядом с мэром, не кто другой. И раз тут был мэр, был начальник стерильности, то, должно быть, и все остальные принадлежали к самому тесному кругу, самые избранные собрались, посвященные, вершители судеб. В святая святых привели его, место их тайных, сакральных сборов, их Олимп, недоступную обычному смертному заснеженную горную вершину. Помимо воли нечто похожее на восторг *приобщения* почувствовал неожиданно в себе К.

– В самом деле у деда учились? – пробормотал он. Надежда на понимание вспыхнула в нем, уважение к памяти деда.

– Учился, – подтвердил мэр. Благожелательность, расположение к К. слышались в его голосе. – Или ты думал, мы тут, – он воздел руку и повел ею вокруг – как бы объял весь стол, – от сохи, с церковно-приходской незаконченной?

К. так не думал. Он знал, что с образованием, с учеными степенями у обитателей Олимпа все по высшему классу – о том сообщали их публичные, многократно растиражированные биографии. Об этом он и сказал:

– Нет, не думал. Почему я должен был так думать?

– Па-ачему, па-ачему, – вместо мэра отозвался начальник стерильности, словно бы передразнивая К., хотя К. нисколько не акал. – Потому что все вы так думаете!

– Кто «все»? – посчитал нужным уточнить К. Слова начальника стерильности прозвучали неким обвинением, с какой стати он должен был проглотить его?

Мэр не дал продолжиться их диалогу.

– Ладно, чего там, – снова сказал он, осаживающе помахав рукой – показывая, что дело не стоит разговора. – Давай присоединяйся к нам, – позвал он К. следом. Дружелюбие и приязнь были написаны на его узкощеком лике. – Отдохни. Вид у тебя какой усталый. И с лицом вон что. Больно?

– Уже нет, – ответил К. Неожиданное расположение мэра было невероятно, невозможно поверить в него, и вместе с тем благодарная признательность жгла К., и чуть не до слез. Что-то вроде комка в горле стояло.

– Ну и хорошо, – подытожил мэр. Каким образом К. умудрился так ободрать лицо, он не заинтересовался. – Уступишь человеку свое лежбище? – посмотрел он на того, что вызволил К. из пыточной (не своей волей, как теперь было ясно К., и понятно чьей).

Вопрошение мэра было вопросом того рода, что следует принять как приказ. Незамедлительным согласием ответил освободитель К. Даже как бы и с радостью:

– Конечно, конечно!

Кощей, стоявший с другого бока К., проскрипел глухо, едва ли, кроме К., его услышал кто-то еще:

– Сожри мне хоть крошку!

– Тебе сделали предложение, молодой человек! – подкрепил приглашение мэра суровым понуканьем начальник стерильности.

– Пошевели ногами, – похлопал К. по плечу тот, что вызволил его из пыточной и должен был сейчас уступить место. Должно быть, в этом олимпийском синклите богов он занимал не слишком высокое положение.

Застольное его ложе было с другой стороны стола, во внутренней части «подковы». Подковообразная форма стола дала К. возможность, когда он опустился на определенное ему место, хотя оно отнюдь не приходилось на центр выемки, оказаться пусть и не прямо напротив мэра, но и не на большом удалении, как это было бы, будь стол вытянут в линию. И только К. опустился, со спины к нему подлетели двое в туниках, принялись обустраивать ложе, чтобы ему стало удобно: валик под спину один, валик другой, подушку, еще подушку – подсовывали, подпихивали и спрашивали с решительной заботливостью: удобно? так? может, передвинуть?

До того как оказаться за столом, К. не видел, что стоит на нем. То есть он видел, что стол весь уставлен едой – не найти свободного места, чтобы втиснуть новое блюдо, но вся эта еда была не различима им. За время, что его устраивали на ложе, он словно прозрел, накрытый стол сделался доступен его взгляду в деталях, и какое же изобилие являл собой стол! О, это был стол,

достойный Лукулловых пиров. Шафраново светились обильной обсыпкой трав нарезанные широкими ломтями куски птичьей грудки – и уж не из павлинов ли? Светящиеся пластины черно-шоколадного ростбифа соседствовали с буро-кофейными рыхлыми пластинами так же тончайше нарезанной буженины. Маслянистые, дырчатые, ноздреватые куски обычных сыров, игравших всеми оттенками желтого, лежали рядом с аккуратными кубическими кусками пористых мягких сыров, светившихся струйчатой паутиной серебряно-фиолетовой плесени. Громадные, с указательный палец взрослого человека нежно-розовые креветки обильно усеивали своими гофрированными округлыми бумерангами пышную салатную массу. Жирными лепестками лотоса светились кружки копченых осетра и севрюги. Маслянисто отблескивали глянцевыми фиолетовыми боками печеные баклажаны, увязшие в перемешанной массе фасоли и грецких орехов. И еще нарезанные кружочками баклажаны тушеные, нарезанные кружочками тушеные цукини, головки брокколли, головки артишоков. Влажно сияли, обдернутые пленкой рассола, соленья: крупные, как перепелиные яйца, оливки, мельчайшие, с ноготь мизинца, маслята, пупырчатые огурчики такой небритости, что, казалось: возьми в рот – будут колоться. Может быть, и соловьиные язычки – высший изыск Лукулловых пиров – были поданы здесь среди прочего? И вся сервировка стола была – серебро, ни единого фарфорового предмета. Серебряными были блюда с кушаньями, серебряными были тарелки, серебряными приборы около них, и даже рюмки с бокалами – серебро, серебро, серебро. Бутылки с шампанским стояли в заполненных льдом серебряных ведерках, бутылки с вином – в нишах двухъярусных серебряных горок. В центре же стола, напротив места, где возлежал мэр, на небольшом постаменте возвышалась достигавшая, пожалуй, полуметровой высоты, знаменитая Капитолийская волчица с набухшими сосцами. Похоже, что также отлитая из серебра. Только вот Ромула и Рема не было под ней. Пустое пространство под брюхом между твердо упертыми в основание скульптуры мощными лапами.

– Позволите вам предложить? – склонился к К. один из прислуживающих ему, когда К. был уложен, устроен – возлежи и вкушай. – Хотите птицу, говядинку, свининку? Овощи? Рекомендую начать с ухи. Стерляжья, тройная – прелесть, все с нее начали. Замечательно разжигает аппетит. Рождает ощущение полета, восторга жизни. Подаю?

Они тут, в хитонах, все были такими поэтами от гастрономии? К. почувствовал, что от гастрономической поэзии

прислуживающего в желудке у него засосало. Однако же угрожающие слова кощея – «сожри хоть крошку!» – надежно перекрывали путь любым чревоугодническим соблазнам.

– Нет, благодарю, мне ничего не надо, – сказал он своему искусителю в тунике.

– Отчего же, отчего же. – Упорен был его искуситель! – Уха просто необыкновенна, даже цезарь, уж на что прихотлив, и то изволил потребовать себе добавки…

Цезарь? Добавки? Кого это он называл цезарем?

– Кто это, цезарь? – спросил К. искусителя в хитоне.

– Как кто? – соблазнитель сбился. Казалось, благоговейный трепет вызвал в нем вопрос К. – А вы… вы сейчас… вот разговаривали с кем…

Он называл цезарем мэра!

Невольно взгляд К. тотчас устремился на того. И встретился с взглядом мэра. Не с теми неожиданными дружелюбием и приязнью, что были на его лице, когда посылал К. возлечь за стол, смотрел на него сейчас мэр, а вновь с тем ледяным бесстрастием в своих выпуклых светлых глазах, с каким встретил, когда К. был подведен к застолью. Любопытство энтомолога, собравшегося рассечь ланцетом не вызывающее никакой жалости насекомое сквозило в этом его ледяном бесстрастии. И как смотрел на него мэр, так смотрели на К. и все остальные, возлежащие за столом. Разве что любопытство некоторых было весьма живым. Азартным, так.

Все как будто ждали чего-то. Ждали – и оттого смолкли все до единого, внезапная тишина установилась за столом. И в этой будто свалившейся откуда-то тишине, сквозь растворенный в воздухе пересвист птиц и отдаленное журчание фонтана К., к своему удивлению, услышал бархатные звуки струнной музыки – как бы играла арфа. Но только звук был не так роскошно-протяжен, не так полно насыщал собою пространство, как получалось бы, будь то арфа. Он был тих, нежен, слаб – дуновение ветерка, сама эолова арфа, не удивительно, что раньше, до наступления тишины К. не слышал этой музыки. Он инстинктивно повернул голову в сторону, откуда исходили ее звуки, – поодаль, под одной из олив сидели одетые во что-то легкое голубое, просвечивавшее насквозь, так что была видна вся прелесть их тел, три девушки, перебирали струны стоявших у них на коленях инструментов, и были их инструменты… лиры это были, настоящие древнеримские лиры! Три материализовавшиеся лесные нимфы с лирами, призванные из дикой лесной чащобы на Олимп усладить своей музыкой слух богов.

– Куда это он смотрит? – услышал К. голос мэра. – Его сюда

не на баб пялиться позвали! Ну-ка налейте ему! Вина ему! И в рог, в рог! Пусть покажет, на что способен!

– В рог! В рог! Вот верно! Отлично, цезарь! Цезарь, как всегда, придумает так придумает! – вмиг взорвался стол ликованием, и музыка нимф тотчас исчезла в нем. – Виват, цезарь, виват! В рог ему, в рог!

К. не успел осознать предложения мэра и смысла охватившего стол ликования, как с одного боку около него оказался прислужник в тоге, который всовывал ему в руки рог – крупное, отливающее перламутровым блеском сероватое, в ветвистых белых прожилках изделие, вправленное сужающимся концом в серебряное чеканное основание, – с другого же боку, отскочив на мгновение, возник с непочатой, но уже откупоренной бутылкой вина тот, что так соблазнял стерляжьей ухой, и, придерживая в руках К. полученный им рог тылом своей ладони, чтобы не наклонялся, без промедления принялся вбулькивать вино внутрь.

– Достаточно! Хватит, все! – запротестовал К., когда содержимое бутылки наполовину перелилось в рог, и предпринял попытку поднять горлышко бутылки.

Искуситель, однако, не позволил ему сделать этого, отведя руку К. в сторону.

– Держите, держите, – настойчиво сказал он. – В рог входит и литр, а в бутылке целого стакана до него не хватает.

Искуситель отнял бутылку от рога, только когда в ней не осталось ни капли.

К. держал перед собой играющий перламутровым блеском наполненный рог и не решался взглянуть на мэра. По всему, следовало на него посмотреть – не просто же так велел мэр подать ему рог и наполнить тот, вот рог был наполнен, что дальше? – но некое боязливое щенячье чувство внутри повизгивало: не гляди в глаза лиха – и лихо не заметит тебя.

Однако же оно видело тебя! К. вздернул подбородок, повернул голову и устремил взгляд на лихо.

– Пей! – сказал мэр – будто удивлялся тому, что К. еще до сих пор не пьет. – Из рога, оценил?! Доводилось когда-нибудь из рога??

Как если бы необыкновенно высокой награды удостаивался К.

– Не доводилось, – сказал К.

– А тут такая возможность! Давай. Люди ждут. – Мэр обвел рукою застолье. – Заждались уже даже. Хотят посмотреть на героя.

– Почему я герой? – К. тянул время. Не было у него никакого желания пить. Такое ощущение было – цикута там, а не вино.

– Пей! – с повелительной интонацией, подняв голос, повторил мэр. – Тебе сказано – не перечь. Пей!

И все застолье зашумело разом, словно получило команду:

– Пей! Пей! Сказано – пей! Цезарь сказал – почему не пьешь?!

Что, и завкафедрой участвовал в этом хоре?

К. перевел взгляд на него – участвовал и закафедрой. «Пей, пей», – раскрывался его рот, напрягалась мускулистая шея, выструнивались наружу жилы… он не в поддержку другим кричал, а изо всех сил, с азартом, со страстью. Длинные его волнистые волосы, разделенные на пробор, упали от крика на лоб, он откинул их порывистым молодым движением руки назад, и рот его снова разверзся в азартном, горячем «Пей!».

К. поднес рог к губам и принудил себя сделать глоток. Не пилось, совсем не пилось, совсем! Какой-то жидкий наждак продрал нёбо, продрал глотку, покатился по пищеводу. Пересиливая себя, К. глотнул еще, еще. Наждак, наждак лился в него из рога! Наверняка вино было не дрянь, даже, скорее всего, очень хорошее, какого-нибудь такого года, когда было много солнечных дней, виноград вызрел, набрал высшую меру сахара – не могло у них быть тут другого, – но он не в состоянии был оценить ничего этого, какая-то политура, тормозная жидкость…

Сделав еще несколько глотков, К. счел, что достаточно погеройствовал. Он отнял рог от губ и перевел дыхание.

– Что, все?! – Произнесенное громким голосом насмешливо-надменное вопрошание было исполнено еще и угрозы. Словно бы К. только что совершил нечто дурное, ужасное и должен за то поплатиться. К. поискал глазами, чей это голос, – он правильно предположил чей: это был начальник стерильности рядом с мэром. – Тебе рог зачем дан? – продолжил свое суровое вопрошание начальник стерильности. – Не знаешь правило рога?! До дна! Досуха! И на стол вверх жалом!

– Нет, я не могу больше. Все. – К. оглянулся, чтобы найти искусителя и отдать рог. Искуситель стоял буквально в полушаге за ним. К. протянул ему рог: «Возьмите», – но тот с демонстративностью убрал руки за спину.

– «Не могу»! Не может он! Слово цезаря ему пустой звук! – Лавина возмущенных голосов снова обрушилась на К.

– Понятно? – дождавшись, когда лавина ослабнет, со своей угрожающей высокомерной насмешливостью осведомился начальник безопасности. – До дна! Без выбора. Или что?

«Или хочешь туда, где был?» – послышалось К. в этом его вопросе.

Нет, он не хотел туда, где был.

К. набрал полную грудь воздуха, выдохнул и заново поднес

рог к губам. Вино все так же имело вкус политуры и драло наждаком. Он отрывался от рога, передыхал и приступал к исполнению желания возлежащих за столом опять. Когда пауза между прикладываниями к рогу оказывалась, по разумению застолья, слишком долгой, оно снова принималось недовольно шуметь. «Тонка жила! Слабак какой! Противно глядеть!» – доносилось до К.

Допив рог, он несколько мгновений, не веря самому себе, что тот пуст, сидел со вскинутой головой, продолжая держать рог у губ. «Вверх жалом», вспомнилось ему указание начальника стерильности. К. опустил руку с рогом, перевернул его вверх окованным серебром запятком и так поставил на серебряную тарелку перед собой. Желудок с трудом удерживал в себе выпитое, оно просилось наружу.

– Вот, слава богу! Хоть с грехом пополам, да справился. – Мэр вскинул руки и пару раз одобрительно хлопнул в ладоши. Возлежащие за столом, следуя ему, тоже было начали хлопать, но тут же и перестали. – Справился – теперь можно и потолковать, – продолжил мэр. Он обвел своим приветливо-холодным бесстрастным взглядом застолье. – Прошу вопросы к нашему гостю. Давайте. Может быть, гость наш стерильней, чем… – взгляд его оживился, – чем все мы вместе взятые!

Затаившее дыхание в сделанную мэром паузу, застолье словно выдохнуло:

– Чем все! Ха-ха! Стерильней, чем… Стерильней он!

Ждать вопросов К. не пришлось. И первым был новый ректор. Он так и поспешил стать первым, прорвался сквозь общий шум голосов, когда тот еще не смолк:

– Что же ты имя деда позоришь? Полощешь прямо! В помойную тряпку превратил!

Ректор возлежал далеко от К., и ему приходилось, чтобы перекрыть шум застолья и быть услышанным К., едва не кричать. Но еще и каленая страстность была в его крике – он переживал за деда К., страдал за него. К. снова внимательно вгляделся в лицо ректора. Нет, лицо нового ректора было ему незнакомо. Или он тоже, как мэр, учился у деда?

– Чем, простите, я позорю деда? – спросил К.

– А ты сам не осознаешь?! – возглаголал ректор.

– Не осознаю, – отозвался К. – Подскажите.

Застолье взбурлило негодующими возгласами. Как вздыбившаяся внезапно морская волна обрушилась на берег, захлестнула его, пророкотала по нему вглубь и, облизав, побежала обратно к урезу воды.

Мэр сидел молча, лишь улыбался. Улыбка его была полна

ликующего куража. Он получал несомненное удовольствие от картины, что наблюдал.

– Своей мерзкой, подлой, гнусной нестерильностью позоришь! – обличающе прозвенел набатным колоколом новый ректор.

– Ай-яй! Ай-яй! – Теперь поторопился со своим восклицанием начальник стерильности. Будто выступил вперед и заслонил собой ректора, посчитав его нападение на К. неудачным. – Тебя сюда привели, есть-пить предложили – все, что мы сами едим-пьем, – а ты такое несешь… Недопустимо! Ты что, умнее других себя показать хочешь?

– Я? Себя? – Никак, никак К. не мог понять, в чем его обвиняют, что хотят – с того, самого первого раза, когда собственной волей явился в особняк, под которым они сейчас все и находились. – Как я себя показываю? В чем это выражается?

– Да вот в твоих вопросах таких! – не согласился стоять за спиной начальника стерильности, выступил из-за нее ректор. – Никто тебе не указ, никаких законов тебе!

– Да простите, – пробормотал К. Не понимал он ничего, ничего не понимал! – Мы с вами и незнакомы… вы меня не знаете. Как вы можете утверждать такое?

– Насквозь я тебя вижу, насквозь! – снова ударил набатным голосом ректор. – Ты у меня, как под микроскопом! Уволен! Подтверждаю: уволен! Забыл про университет!

– Вы бы меня лучше порасспрашивали о чем-то, – сказал К. – Вам же было предложено, – он кивнул на мэра, – потолковать, а не команды отдавать.

Непозволительна была ему такая наставительность, никак не позволительна, и, вздыбившись, новая морская волна обрушилась на него всей своей массой:

– Какой-то жалкий преподавателишко и ректор! Как можно?

– Потрясающая неуважительность к старшим!

– Нестерильный тип, мутный тип, темный, гадость!

– Избавляться, избавляться от таких, вон из общества!

– Поганой метлой, вверх тормашками!..

И был среди этих голосов, в этом хоре – К. услышал со всей явственностью – и голос завкафедрой.

Будто некий спусковой крючок щелкнул внутри К., и он потерял самообладание. Как если бы голос завкафедрой, которому не по чину было находиться здесь, а значит, готовился его (или только что состоялся) карьерный взлет, спустил этот стоявший на взводе крючок.

– Что вы хотите от меня?! – закричал К., обращаясь одновременно и к начальнику стерильности и мэру. А наверное, и

ко всему застолью с отцами города. Выпитый рог уже начал кружить голову, все вокруг плыло. Три четверти литра так разом и голый желудок – это было избыточно. – Скажите наконец: что? Четко, ясно, внятно!

– Чистосердечного признания вины, – четко, ясно и внятно – согласно желанию К. – ответствовал ему один из возлежащих. Знакомое лицо его за время, что К. провел тут, идентифицировалось сознанием, и только он начал отвечать, К. знал, кто это: глава суда.

– Виноват, виноват, призна*ю*сь! – прокричал К. Все плыло перед глазами, сделалось нереальным. – В чем только, чтобы знать, скажите!

– Сам должен знать, – с суровым спокойствием сказал судья.

– Не знаю! Не понимаю!

– Видишь: не понимаешь. – Дыхание заоблачного Олимпа было в укоре судьи. – Значит, упорствуешь. Твоя вина еще в том, что упорствуешь в отрицании.

У К. было чувство – ум отказывает ему. Он не мог ухватить мысли судьи, она была как тина на воде: при взгляде на нее – плотна подобно материи, попробуешь взять – расползается между пальцами.

– Слушайте! – обратился он к соседу по столу (ему показалось, тот грохотал голосом тише других. Может быть, потому, что расстояние, разделявшее их, едва ли было больше метра, однако же в том, что тише, уже чудилось сочувствие). – Слушайте, вот конкретно, вот если не все сразу, а по одному… в чем я виноват? Скажите, вы понимаете? Может быть, вы тут говорили об этом перед моим появлением?

– Это ты что, меня? – Сосед, похоже, никак не ожидал вопроса от К. и не был готов к разговору с ним. Он посмотрел куда-то вбок – К. проследил за его взглядом, и в наплывающем тумане опьянения определил, на кого посмотрел сосед. Мэр это был. Мэр, отзываясь, должно быть, на немое вопрошение соседа, покивал головой, как давая согласие, и взгляд соседа вернулся к К. – Так ты же из тех, кто аристократию отрицает, – неожиданно изошло из него. – Считаешь, что аристократия на особые прав*а* не имеет пр*а*ва. А она мерило стерильности! Эталонный метр! На аристократии такая ответственность… возьми меня, предпринимателя. Я работу даю, кормлю столько людей! Они что без меня? Ничто! И я не имею права?!

Ошеломленный инвективой соседа, грянувшей для него громом с ясного неба, К. растерянно перелопачивал в уме способы ответа ему. Подобного обвинения он не мог и предположить. Чего-чего, а подобного – нет.

– Это откуда вы взяли то, что сейчас наизрекали? – сумел наконец сказать К. – Почему это вы так думаете? Какие у вас основания? С какой стати… – Он осекся недоговорив. Он вдруг увидел, что его сосед не кто другой, как Косихин. Косихин это был, Косихин! Его налитое самоуверенным бесстыдством широкощекое лицо, его плоские бесцеремонные глаза, его узкогубый змеиный рот… Знал ли Косихин, кто такой К., что именно из-за К. опечатан гараж, в котором делались сырнички его имени? Но уж что точно, так точно: никогда он не видел К. прежде. А К. его видел – и на фотографиях, и даже однажды вживе. На самом Олимпе пил свою амброзию Косихин, вместе с его богами, в тоге, как и они, к ним был причислен. – Гнусь! – вырвалось следом из К. – Вор! Мошенник!

– Ты что?! – приподнялся на своем ложе Косихин. О, если бы они были сейчас не здесь, а там, наверху, и его обычные спутники, нерассуждающие телохранители, рядом, К. уже не возлежал бы, а лежал в землю носом, и на загривке у него с двух сторон стояло бы по ботинку. Но они были не там, а здесь, и Косихину только и оставалось, что угрожать голосом. – Ты отчет себе отдаешь, что несешь? Ты знаешь, кто я?

– Вор и мошенник Косихин! – громко, чтобы слышно было всему застолью, объявил К. – А вы должны знать! – Он посмотрел направо, посмотрел налево – все слушали его, даже и предвкушение удовольствия от предстоящего зрелища было отчетливо выражено на лицах. – Ваш мерило стерильности Косихин – вор и мошенник! – все так же громко повторил он явившиеся ему на язык слова. – Проходимец! Его знаменитые сырнички знаете? Их, знаете, кто делает? Мои мать с отцом. А Косихин их просто присваивает! Не дает матери с отцом открыть свое дело. Просто не дает! И знаете, где они для него эти сырнички делают? В гараже! В антисанитарных условиях!

К. смолк, будто налетев на стену. Нечего больше было ему сказать. Если только повторить все сначала. В нем, впрочем, и на это не осталось запала.

– Все? – с возникшей на его толстощеком лице теплой улыбкой спросил К. Косихин. Ответ, впрочем ему был не нужен, он тут же обратился к застолью: – Видите, какой я гад! Рабов содержу. Эксплуатирую. Вот так, оказывается, то, что ты людям работу дал, можно интерпретировать. Знакомьтесь, друзья: вор и мошенник. И этот, как еще… проходимец!

Застолье отозвалось на его речь взрывом веселья. Судья, ректор, завкафедрой, все прочие, со знакомыми К. и незнакомыми лицами, хохотали, откидываясь головами назад, пригибались, держась за живот, к столу, били в изнеможении рукой воздух.

– Проходимец, проходимец! – давясь смехом, дробя от смеха слова на слоги, колотилось в падучей застолье. – На лице написано! Всегда знали! Разоблачил тебя мальчонка! Проходимец-кровопивец!..

К. осознал с отчаянием, что замысел его провалился. Никому здесь не интересно было его обличение. И больше чем не интересно: оно звучало комично! Взгляд его заметался вокруг. Ему требовалось что-то сделать, совершить какое-то действие – он не мог оставить этот смех просто так, должен был ответить на него… Взгляд мазнул по стоящему перед К. на столе прибору. Стерляжьей ухи ему не подали, а опустошенный им рог был убран с тарелки, и служители в туниках за время, что К. выяснял свои отношения с тогами, успели услужить ему: на тарелке живым натюрмортом лежала рыба, птица, овощи, соленые грибочки, салат мясной, салат с морскими гадами, головка броколли, головка артишока… Чего только не навалили ему на тарелку!

Как его рука взяла тарелку, как оказался на ногах – К. того не осознал. Сознание вернулось к нему, лишь когда он стоял уже над Косихиным. Змеиный рот Косихина еще сохранял улыбку довольства от реакции застолья на его отпор К., но уже и гримаса опасливой растерянности начала проступать на лице, в эту истаивающую улыбку, в эту не успевшую сформироваться гримасу К. и всадил со всего маху живой натюрморт тарелки, так неосмотрительно подготовленный служителями в туниках.

Желанием К. было опрокинуть Косихина на его ложе, размазать натюрморт рукой по его просторному рылу, но этого он не сумел. Его схватили под мышки, и вот он, зажатый между двумя служителями в туниках, не представлял уже для Косихина никакой опасности.

Сбрасывая с себя ингредиенты салата, обмахивая лицо ладонью, вскочивший с ложа Косихин бросился на К. Громкий ревущий звук исторгался из его разверзшейся пасти. Несдобровать было бы К., но служители в туниках мигом развернули его к Косихину боком, уберегши от лютого удара в челюсть. Им было вменено в обязанность блюсти порядок, и мордобитие, согласно этой инструкции, входило в ту же категорию, что и бросок К. с тарелкой на Косихина.

А там Косихину пришлось и отказаться от своего намерения поквитаться с К.

– Отставить, отставить! – громко кричал, приложив раструбом руки ко рту, начальник стерильности. При этом он дергал головой, поглядывая на мэра, – очевидно, то было повеление главы стола, начальник же стерильности лишь оглашал его. Не мэру досталось салатом по физиономии, а

мордобитий на пиру он не желал.

Все застолье незамедлительно присоединилось к начальнику стерильности, каждый счел своим долгом дать указание Косихину, проявив солидарность с мэром:

– Оставь! Не трать себя на плебея! Не стоит он, чтоб ты о него руки!.. Он свое получит! Заплатит за все с лихвой!

Около Косихина между тем уже суетились с серебряной чашей воды и столовыми салфетками несколько служащих в туниках – обмывали, вытирали, приводили его в порядок.

Ведите сюда, приказал мэр мановением пальца служащим, что удерживали К. за руки. Хватка у ребят была железная, похоже, настоящая профессия этих ребят в туниках была далека от работы официанта.

Кощей, все так же в пальто, как в бурке, по-прежнему стоял там, где К. оставил его, отправляясь на указанное ложе. Младший из обитателей Олимпа, уступивший К. свое ложе, куда-то делся. К. повернул голову, посмотрел туда, где только что был, – обитатель Олимпа, уступивший К. ложе, устраивался на нем, подталкивались ему под спину и бок подушки, менялся прибор, и лицо его, увидел К., было исполнено блаженного довольства.

– Повеселил! – с улыбкой благорасположения к К. сказал мэр, когда К. был подведен к нему. Рук своих служащие в хитонах от запястий К., однако, не отняли. – Уж повеселил так повеселил. Не ожидал даже. Давно так не веселился. Спасибо.

– Пожалуйста, – автоматически вырвалось у К.

– Ух ты, ух ты какой! – мэр словно бы совсем развеселился. – Нужно, нужно из тебя достойного члена общества сделать. Совсем нестерилен. Нельзя тебя таким оставлять. Каждый человек – божий храм. Как же можно свой храм в такой грязи содержать?

К. помедлил с ответной репликой. У него было чувство – он сейчас поймет смысл сказанного мэром, вот уже почти уловил… но нет, подобно юркой мышке смысл мэрских слов прыснул в сторону и исчез.

– Но Косихин проходимец! – выкрикнул К. – Он негодяй, он подлец, он подонок!

На это мэр ему уже не ответил. Тень сдерживаемого раздражения опустилась на его лицо. Он поискал глазами стоявшего в отдалении кощея и указал на К.:

– Забирай. Уводи отсюда.

С лебезящей торопливостью кощей тотчас преодолел расстояние до К. и молча кивнул ему: давай за мной.

Начальник стерильности со своего ложа, широко и весело улыбаясь, приостановил их движением руки.

– Благодарность за спектакль, – с видом тайного знания,

открытого им двоим, выдал он кощею. – Знаешь, что делать.

– Само собой, – коротко отозвался кощей. И, снова не тратя на К. слов, так же как полминуты назад, повелел ему кивком головы следовать за собой.

15. Остров

Руки бывшего ректора, которые держал в своих руках К., дрожали. Бывший ректор тужился. Он был старый человек, у него были проблемы с дефекацией, и ему приходилось просиживать над выгребной ямой по четверти часа. Доски под его ногами потрескивали. Казалось, они сейчас переломятся, и ректор вместе с их обломками полетит вниз, в расквашенное зловоние. Доски лежали параллельно одна другой поперек ямы, они были слишком тонки для расстояния, которое перекрывали, и заходить по ним далеко от края было опасно. Кроме того что тонки, доски были еще и узки, сидеть орлом – ноги у ректора не выдерживали напряжения, его начинало болтать, он мог сверзиться вниз и сам по себе, и, чтобы этого не произошло, его приходилось держать с края ямы за руки.

– О-ох, извини… все, кажется, давай, – с хриплым скрежетанием, словно тяжело цеплялись друг за друга в неком заржавелом редукторе проржавелые шестеренки, облегченно выдохнул ректор, когда руки его в руках К. перестали дрожать и он весь будто обмяк (К. все это время старался смотреть поверх его головы на противоположный скат лиственно-жердяной крыши над ямой).

К. отнял одну руку и извлек из кармана щегольского пиджака, предоставленного ему в медицинском кабинете подземелья вместо его исчезнувшей одежды, смятый ворох порванных на куски лопушиных листьев.

– Я по одному, ты извини… – снова проскрежетал ректор, осторожно вытягивая из протянутого К. вороха верхний кусок.

Ректор стыдился. И того, что не может обходиться без помощи К., и того, что приходится совершать все действия у него на виду.

– Не спешите, не спешите, – сказал К. – И нечего извиняться, дело житейское. Завтра вы мне поможете.

Он все так же не глядел на ректора, чтобы меньше смущать его. Иногда, в другие разы, вот так же помогая ему, он думал, как бы себя чувствовал он, окажись в положении ректора. И ни разу додумать эту мысль не удавалось: сознание отказывалось представить себя на ректорском месте.

Ректор перестал брать у него из руки куски лопуха и закряхтел, пытаясь подняться на ноги. К. поспешно оторвал взгляд от лиственно-жердяной крыши и перехватил плещущую в воздухе свободную руку ректора. Теперь, с опорой на обе руки, ректор смог подняться.

– О-ох ты, о-ох ты… извини, извини! – приговаривал ректор, мелкими шажками выбираясь с досок на землю. Спущенные к коленям, собравшиеся гармошкой штаны, с топорщившимися внутри яркими красными трусами, не позволяли ему сделать широкого шага. – У-уф! – полным голосом вновь выдохнул он и выпростал свои руки из рук К. – Извини… спасибо. Не знаю, как бы без тебя!

– Вот я для того здесь и есть, – отделался шуткой К., выталкиваясь между жердями крыши наружу – и не мешать ректору одеваться, не смущать его, и самому поскорее оказаться за пределами туалета.

Он полагал, что туалет специально устроен таким первобытным образом. В нем не было даже разделения на женскую и мужскую зоны. Только эта жидкая крыша-шалаш, создававшая днем затенение, а ночью оберегавшая от случайного падения в яму. Ночью, впрочем, из опасения нечаянно соскользнуть вниз рисковали забираться в туалет только уж по очень сильной нужде. На его памяти (а он, кажется, пробыл здесь уже недели три, вести точный счет дням ему не удалось) одна женщина не удержалась на гнущихся досках, сорвалась, и о, каким криком оглашала она оттуда округу, какой силы, оказывается, узнал он, может быть звук, произведенный человеческим горлом. Потеряла она сознание, когда уже была вытащена наверх, а могла бы и там, в яме, и тогда бы, обмакнувшись в зловонный кисель с головой, просто в нем захлебнулась. Здесь на острове все было устроено так, чтобы ты почувствовал себя словно в начале создания. Цивилизация еще не возникла, общество не сложилось, человек гол, но, чувствуя свою голизну, не понимает, как справиться с неуютностью этого своего ощущения.

Ректор, раздвинув ветви, набросанные на жерди, протиснулся наружу, сбросил с головы пару начавших жухнуть листьев, зацепившихся за остатки его седых взбившихся хохлом волос, и шагнул к К.

– Какое унижение, какое унижение, – пробормотал он, глядя в ноги К. – Что они делают… зачем?

– Вы меня спрашиваете? – отозвался К. – Это мне вас спрашивать надо. Вы меня аж… на сколько? на три дня дольше здесь обретаетесь. Вы сами что обо всем этом думаете?

– Сам, сам… – снова пробормотал ректор, все так же пряча глаза от К. – Знал бы, что думать, мы бы с вами не здесь беседовали.

– Скорее всего, мы бы вообще не беседовали, – сказал К. – Вы бы все ректорствовали, до вас – как до неба… а я бы, похоже, в

любом случае здесь оказался.

К. держал себя со своим бывшим ректором с защитной щетинистой грубоватостью. При первой встрече, узнав, кто он, ректор тотчас попытался вести себя с К. как с подчиненным, мальчиком на побегушках, и К. пришлось осаживать его. Они тут были в равных правах, в одинаковом положении, какие еще тут табели о рангах.

– Может быть, и не оказались бы, кто знает, – после недолгой паузы ответил ректор. – Непонятно, кто, как, почему здесь оказывается. В их соображениях не разберешься.

Они двинулись от туалетного шалаша в направлении шалашей, что были их жильем здесь. Ректор шел тяжело – будто греб бедрами, – он жаловался К., что без массажа у него стали заедать суставы и ему трудно ходить. За время, что провел здесь, он очень сдал, стал старик стариком, старчески опустил плечи, старчески изнеможенно кривил от любого напряжения рот, старчески затрещал голосом. Да еще начавшая отрастать седая борода. По университету К. помнил его исполненным ядерной энергии человеком вне возраста, с густым ярким голосом, пролетающим учебными коридорами – во главе своей неизменной свиты из трех-четырех приближенных – все вокруг себя разметывающим торнадо.

– Вы у деда моего не учились? – неожиданно сам для себя спросил К.

– Нет, не учился, я же математик, вообще не гуманитарий, – тотчас, и даже с живостью, откликнулся ректор. Изменение разговора явно доставило ему удовольствие. – Но деда вашего хорошо помню. Непререкаемый авторитет имел. Я его как руководитель даже и держал перед внутренним взором в качестве образца. Поверял им себя.

– А мэр наш даже и учился у него, – просветил ректора К.

– А, мэр… – поминание мэра было, напротив, ректору неприятно. – Не виню вашего деда ни в чем. Мало ли кто у кого учился.

– Нет, я просто спросил, – сказал К. Он и в самом деле не знал, почему задал этот вопрос. Наверное, потому, что дед никогда не оставлял его, был с ним всегда, их страшная смерть с бабушкой в дачном домике саднила раной, которая не хотела затягиваться. – Дед был противником стерильности.

– Я помню, – коротко на этот раз отозвался ректор. Старый прожженный лис, даже и оказавшись с К. в одних обстоятельствах, он не позволял языку ничего лишнего.

– Мне досадно, что мэр был его учеником, – не смог, однако, удержать себя от просившегося наружу чувства К.

– Ну, Аристотель был учителем Александра Македонского, – с тою же сухой сдержанностью ответил ему ректор.

Они подошли к шалашу ректора и остановились. Длить дальше их общение – ни ректору, ни К. это не было нужно. Общая принадлежность к университету их только и связывала. Впрочем, никто здесь, похоже, не был близок друг с другом, – все двести, триста ли человек, что также обитали на острове в шалашах. Более точно число насельников острова К. не знал. Выходя по настойчивому звону рынды на столбе, подобно мачте парусника стоящем посередине вытоптанной большой поляны, к прикатившей походной солдатской кухне, веющей дымком подгорелой каши, он в первые дни пытался зачем-то подсчитать, сколько людей выходит из леса на раздачу мисок, но, получив свою порцию каши, все, как то полагалось, уползали есть обратно в свои шалаши, и К. не удалось справиться с поставленной задачей. После приема пищи (ячневой каши, если быть точным; не давалось, кроме нее, ничего, даже и хлеба) миски полагалось сдать, не сдать было нельзя: если на раздаче у котла не досчитывались хотя бы одной, следующий приезд кухни отменялся – пока не будет предоставлена миска, и можно было бы подсчитать, сколько людей возвращается и сдает их, но на это у К. уже не хватило терпения. В конце концов, не все ли равно, сколько таких, как ты, на этом острове: двести или триста. Или даже четыреста.

– Ну так вы сейчас продолжать ваше обследование? – спросил ректор.

– Завершать, надеюсь, – сказал К.

Ректор перехватил его, попросив сопровождать в туалет, когда он, выйдя из своего шалаша, как раз направлялся в ту часть леса, где еще не побывал. Он уже обследовал бо́льшую часть территории, остался совсем небольшой кусок терра инкогнита, и он надеялся, что белых пятен после сегодняшнего обследования для него не останется.

– И что, вот так, как утверждают: остров? Никакой тропинки через болота?

– Вот сегодня, надеюсь, к вечерней каше отвечу на ваш вопрос, – решил не лишать себя раньше времени последней надежды К.

– Все говорят: болото. Одно болото кругом. Все, кто до вас тут ходил, обследовал, – как уличая К. в утаивании истины, произвел заключение ректор. – Несомненно болото. Иначе бы нас не держали так – иди куда хочешь, делай что пожелаешь…

К. не стал отвечать ему на это. Не так много в нем было энергии, он чувствовал, что с каждым днем пребывания здесь ее

все убывает, и тратить запасы, что еще оставались, на не имеющие смысла рассуждения – это было глупо.

– До вечера, – попрощался он с ректором.

Шалаш его стоял в десятке шагов от шалаша ректора, но он не стал даже сворачивать к нему, сразу взяв направление, в котором сегодня собирался двигаться на обследование терра инкогнита. Да и что было делать у себя в шалаше? Ничего не было в шалаше, к чему следовало бы стремиться. Ни книг, ни единой вещи, что составляют в обычной жизни быт всякого человека, даже никакой одежды сверх той, что на нем, не было там. Как и у всех остальных. Кто в чем был, когда его взяли, в том здесь и оказался. Даже смены нижнего белья не имелось ни у кого. Все стирали белье в немногочисленных корытах с водой, расставленных по периметру пыльной поляны, стремясь поспеть к ним сразу по обновлении воды, и, постирав, тут же надевали на себя, чтобы белье никто не украл. Что было делать в шалаше – только лежать. Лежать и ждать, что с тобой будет дальше. Лежать, лежать, лежать. Сходить два раза в день за ячневой кашей, сходить в туалет и снова лежать, лежать, лежать, истощаясь силами. Большинство, заметил К. за свои три недели пребывания здесь, это и делали: лежали, и с каждым днем, судя по их движениям, принимать вертикальное положение тела становилось им все труднее. У К. было чувство, что день ото дня и он все ближе к этому состоянию, страшился его и стремился быть постоянно чем-то занятым. Единственное, впрочем, занятие, которое он мог себе выдумать, заключалось в исследовании территории своего нынешнего обитания. Сегодня, вероятней всего, найденному занятию должно было завершиться, и, желая того, он в то же время ощущал это завершение как *рубеж*, страшился его – что там будет за ним? – и уговаривал себя не думать о том.

Тут, около поляны, и метров на сто вглубь, где через каждые десять-пятнадцать метров натыкался на шалаш, лес был негуст, прорежен человеческим присутствием – с обломанным подростом, обтрепанным кустарником, вытертой травой, – но дальше становился могуч, глух, сумрачен – столетние ели деспотично властвовали в нем, давая, однако, обильно тянуться к свету подросту, в местах с проникающим солнцем раскидисто неистовали кудрявые заросли орешника. Хороший был лес, крепкий, здоровый. Казалось, так ему и тянуться – на многие километры, прерваться полем овса ли, пшеницы ли, проса ли или размашистой просекой высоковольтки, шмелино гудящей жилами проводов, прерваться – и снова длить и длить свой глухой зеленый покров… Но нет, через какие-то полчаса лес начал

редеть, хиреть, хвоя почти исчезла, сменившись шелестящим листом, все больше стало попадаться деревьев с кривыми, танцующими стволами, земля под ногами начала пружинить, а там впереди по ходу засквозило обнаженное пространство неба, под ногами запружинило сильнее, захлюпало, еще две десятка шагов – и К. вышел к болоту.

Изумрудная, радующая глаз весенней свежестью кочкастая хлябь уходила вдаль и терялась там, заштрихованная маревом жидких крон росших на ней хлипких берез, осин, ольхи. И как далеко она так простиралась: на сотню-другую метров, за горизонт?

К. определился, докуда он дошел вчера, и, ощупывая дорогу перед собой заранее припасенной палкой, пошел вдоль болота дальше. Угадать границу топи в кустящейся осоке удавалось не всегда, ноги то и дело проваливались в коричневую жижу, ботинки были полны воды. Он не знал, сколько времени он так шел – ни ориентироваться по солнцу, ни исчислять по нему время К. не умел. Что он знал, так то, что сегодня наверняка завершит свое обследование. Приметное место, откуда он начал свое обследование, было тремя елями, кучно стоявшими почти у самой болотной кромки. Уже напитавшаяся водой почва вдруг вздымалась здесь твердым отчетливым всхолмьем, и три крепких здоровых дерева среди тонкостволого хилого леса возвышались заметным отовсюду природным маяком.

Памятное место с тремя елями выпуталось из приболотной лесной чащобы навстречу взгляду так неожиданно, что впору было не поверить себе, действительно ли это то место. Но оно это было, никакого сомнения. Другого такого, хоть сколько-то похожего на него, не было больше нигде. Кольцо замкнулось. Да, это был остров. Остров на болоте. Болото окружало его со всех сторон, защищая от проникновения извне и не позволяя выйти с него надежней заполненного водой рва, опоясывающего средневековую крепость.

Разувшись, тыча перед собой палкой, К. ступил в темную хлюпнувшую воду – нога тотчас поплыла вниз, ступил второй – повело вниз и ее, словно некто оттуда плотно обхватил ноги, потянул с жадностью, как долгожданную добычу. К. выдрался на качающуюся неверную кочку, весь облитый холодным потом прошившего его с макушки до пят ужаса. Может быть, и была тропа через болото, можно пройти, но как ее отыскать?

Выбравшись на твердь, К. обтер ноги травой, натянул носки, надел свои лакированные туфли, полученные в той медицинской комнате, где его приводили в порядок для отправки на пир под сосцы Капитолийской волчицы, и двинулся в обратный путь.

Остров, остров! Он подтвердил для себя то, что знали другие. Кто так же, как он, собственным опытом, кто приняв на веру чужие слова.

К. прошел, судя по времени, уже не меньше половины обратного пути, когда, остановившись перевязать ослабшие мокрые шнурки и перестав заглушать своими шагами окружающие звуки леса, услышал отчетливое, похожее на костяное, звонкое острое постукивание. И был этот стук никак не природный, – что могло так стучать здесь в лесу? – человек производил его, никто, кроме человека, не мог создавать такого звука.

Не разогнувшись до конца, оставаясь в полусогнутом положении, К. огляделся. До человека, сидевшего верхом на поваленном дереве, равномерно вскидывающего и бросающего вниз руку с неким темным предметом, зажатым в ней, было не больше десятка метров. Тем предметом, что был у него в руке, он бил по другому, что прижимал к дереву, их соударение и порождало звук. И скорее это был все же не костяной стук, а каменный. Да-да, это у него было два камня в руках, и он одним бил по другому.

Что это был за человек, что он здесь делал? К. стоял в положении подглядывающего в замочную скважину, только с вывернутой вбок головой, и не знал, как ему поступить: продолжить свой путь или, наоборот, привлечь внимание человека? Ни разу еще за все дни, что нарезал клиновидными лоскутами территорию своего заключения, он не встречал в лесу никого. Человек в лесу – это было из ряда вон, это было событие.

В следующий миг К. понял, что человек принадлежит к той же категории обитателей острова, что и он сам. У человека была борода. Как у всех мужчин без исключения. Чем было бриться? – борода отрастала неизбежно. По длине бороды можно было судить, насколько долго человек находится здесь. К. невольно обмахнул ладонью свою помягчевшую, переставшую несколько дней назад быть щетинистой бороду. У человека борода была куда основательнее. Это была настоящая борода, кустистая, длинная, закрывавшая всю шею, – с такой бородой К. никого здесь и не видел. Человек, по бороде, выходил старожилом, патриархом, давнишним насельником острова.

Это обстоятельство заставило К. принять решение. Он отольнул от невидимой замочной скважины, разогнулся и двинулся к мужчине.

– Э-эй! – позвал он того, чтобы не испугать, еще издали. – Э-эй, э-эй!

Мужчина вздрогнул, перестал стучать камень о камень и,

быстрым движением перекинув ногу, вскочил с дерева.

– Привет! – подняв руки, показывая, что ничего в них нет, намерения его мирны, прокричал К. – Мы с вами, наверно, из одного места…

Мужчина стоял в напряженной стойке, ждал. У него в руках были камни, если что, он мог пустить их в ход, и это рождало у К. надежду, что, чувствуя себя защищенным, мужчина позволит подойти к нему достаточно близко.

По мере приближения к нему, однако, поза мужчины становилась все менее напряженной. И когда их отделяли друг от друга уже всего несколько шагов, лицо мужчины неожиданно выразило нечто, похожее на приветливость, и он сам шагнул К. навстречу.

– Я тебя знаю, – сказал он К. – Ты дружишь с хозяином парикмахерского салона. – Мужчина назвал имя друга-цирюльника. – Что, нет?

Ого! Это была неожиданность так неожиданность. К., замерши на месте, вгляделся в лицо мужчины. Нет, оно было ему незнакомо. Разве что борода так изменила его.

– Откуда ты знаешь? – ошеломленно спросил К. Языку было неудобно такое амикошонство, но и произнести «вы» при столь запанибратском обращении к тебе – нелепо же это было бы.

– Он тебя стрижет всегда сам, в своем кабинете, – словно не услышав вопроса К., продолжил большебородый. В голосе его прозвучало ублаготворение, что может выложить К. эту информацию о нем, как если бы та имела некий интимный оттенок, скрывалась самим К., а большебородому вот была известна.

К. снова вгляделся в него. Большебородый был худ, костляв, с ввалившимися щеками, отросшие нестриженые усы, чтобы не закрывали рта, закручены и висели подобием веревки по сторонам рта. Может быть, ему было лет сорок, а может быть, все пятьдесят – не понять. Нет, К. все же не знал его. Следовало предположить, что большебородый просто видел К. в парикмахерской у друга-цирюльника.

– Точно-точно, там, – ответил большебородый на вопрос К., где им пришлось встречаться. Радостное ублаготворение не оставляло его голоса. – Тоже там стригся. Но у друга твоего – никогда. Друг твой берет, наверно… а? Мал мир! Друг-то здесь, вместе с тобой?

К. отрицательно покачал головой:

– Нет.

– Ну ничего, ничего – с неотчетливой интонацией, то ли порицания, то ли одобрения, провещал большебородый. –

Глядишь, с тобой разберутся, и его пора настанет. Он ведь эсперанто, я знаю, увлекается? Эсперанто – это не может быть стерильно. То есть, может быть, сегодня еще ничего, а завтра точно будет нестерильно!

Направляясь к нему, К. опасался возможной враждебности большебородого, а он, если не считать первых мгновений, напротив, оказался весьма расположен к общению. Не особо и удивился появлению К., словно это было нормальное дело – встретить посреди леса товарища по участи. Но за все дни блужданий по лесу большебородый был для К. первым встреченным человеком, и сомневаться в том, что лес безлюден, не приходилось.

И все же странность его поведения не означала, что следует отказаться от своего намерения, ради которого К. и рискнул обнаружить себя.

– Я понимаю, вы давно здесь? – спросил К. – Судя по бороде.

– С весны. – Большебородый воздел бороду вверх движением, от которого пахнуло кичливостью. – Я здесь одним из первых. Из тех, кто со мной были, не осталось уже никого.

– И где же они? – чувствуя, как все в нем обмерло, спросил К. Ответ вспыхнул в сознании сам собой, но принять его было невозможно.

– Кто знает, – снова тем же, словно кичливым движением дергая бородой, отозвался большебородый. – Но никто, никто не выдержал. Я единственный, кто удержался.

– Что значит «выдержал»? «Удержался»? – потеребил его К.

Большебородый будто придавал себе значительности загадочностью своих высказываний. Почему было не сказать в простоте?

Большебородый помедлил с ответом. Казалось, ему не хочется отвечать – чтобы не расставаться с ощущением своей значительности.

– Раскаялись, – заставил он себя все же ответить. – Все раскаялись. Признали свою вину. Кто через три дня. Кто через три недели. Пали ниц, лбом об пол… бум-бум, бум-бум. Это и надо. И чтобы искренне, без фальши! Признал вину – забирают. Утром сегодня с ним вместе кашу из котла получал, а к вечеру – все, нет его, забрали.

– Куда? – вырвалось у К.

– Я ведь говорю: кто знает, – сказал большебородый. – Отсюда не видно. Отсюда – дотуда, – он помаячил рукой, указывая в сторону, где должно было находиться болото, – все равно как из мира живого – до царства мертвых. Есть оно, это царство, нет?

Странно он говорил, этот большебородый. Мысль его нужно

было разгадывать, расшифровывать, как ребус, сшивать из рваных лоскутов.

– Царство мертвых? – спросил К. – Вы что, Вы считаете, что их, кого забрали… – слово, которое должно было произнести, не выговаривалось. – Их, значит… их туда? – ткнул он в конце концов вверх, на небо, сквозившее между гуляющими верхушками деревьев яркой солнечной синевой.

– Не исключено, – подтвердил большебородый.

– Не исключено? – с невольным потрясением переспросил К. Тут же, однако, свойственный ему скептицизм заставил его и усомниться: – Но зачем нужно тогда, чтобы покаялись? Почему не сразу?

– А может, и не туда, – ткнул вслед за К. в играющее синевой небо большебородый. – Кто знает. Никто не знает. Никому неведомо.

– А предположить что-нибудь можешь? – нетерпеливо понукнул большебородого К.

Большебородый вдруг заозирался, будто опасался, что кто-то может находиться поблизости, наблюдать за ними, ступил к К. поближе, вытянул к нему шею и, понизив голос, торопливо посыпал:

– Возможно, из них делают других людей. Нейролингвистическое программирование. Покаялся – согласился стать другой личностью. Стирают старую память – как они прежде и не жили. Вот будто только сейчас на свет появились. Неизвестно откуда, раз – и возник. Сразу тридцатилетним. Или сорокалетним. Выдают документ на новое имя – и иди живи. На новом месте, новым человеком. Высшей стерильности, стерильнее не может быть. Никакой связи с прежней жизнью. Никакой памяти о ней.

Он смолк, и у ошеломленного К., напрочь не готового услышать такое, вырвалось:

– Это предположение? Или есть факты, известно что-то?

На лице у большебородого проступило выражение той кичливости, что была перед этим во взмахе его бороды. Он отступил от К. и сильно ударил один о другой камнями, что по-прежнему сжимал в руках.

– Я догадываюсь. Я хороший аналитик. У меня очень сильный аналитический ум. У меня много фактов, очень много. Пусть другие… а я не хочу терять свое имя. Я им не упаду – бум-бум – в ноги!

Черные его и без того яркие, будто горевшие изнутри глаза заблестели, как если бы у него внезапно подпрыгнула температура, он вскинул прежним движением голову, взодрав

бороду, рот его искривился в пренебрежительно-надменной гримасе, – К. явственно увидел перед собой безумца.

Безумец, он был безумец! Спину К. пробрало морозом. Что можно было ждать от безумца с тяжелыми камнями в руках?

– И ты, значит, решил своим путем? Не каяться? – так же отступая от большебородого, как мгновение назад тот от него, спросил К. – Но сколько можно жить в шалаше? И сейчас-то ночью… А там осень, зима придет?

– Это у них летний выпас. А есть, я понимаю, зимнее стойло. Но, думаешь, я здесь задержусь до него? – Глаза у большебородого горели отчаянной решимостью. Словно бы готовность к некоему прыжку означила себя в паузе, которую он держал. Однако медлил, медлил с прыжком, как не был уверен в его целесообразности. И прыгнул. – Меня уже здесь не будет, к их зимнему стойлу, – снова ступая к К. и снова понижая голос, сказал он. – Понимаешь?

– Нет, – отозвался К.

– Могу тебя взять с собой. Ты ведь тоже не хочешь – бум-бум им в ноги?

– Не хочу, – признался К.

– Тогда гляди. – Высокая суровая значительность залила переменчивое лицо большебородого, и он, раскрыв ладони, протянул к К. руки с камнями. Это были корявые, вытянутой формы, темно-серого цвета со слюдянистым блеском булыжники, один конец их был весь в чешуйчатых сколах и заострялся к вершине; тот булыжник, что побольше, – с заостреньем плоским, что поменьше – округлым. – Видишь?

К. глядел на булыжники в руках большебородого и не понимал, что такое он должен увидеть в них.

– Да, камни, булыги, и что? – сказал он.

– Это кремний, – с торжественностью произнес большебородый. – Минерал, сделавший человека человеком. С его помощью мы вырвемся отсюда.

Рубила! Булыжники в его руках – это были первобытные инструменты, какими неандертальцы и кроманьонцы добывали себе пищу и обустраивали свой быт! Что с их помощью хотел сделать большебородый? Использовать как орудия нападения? Против автоматов, с которыми приезжали на раздачу неизменной ячневой каши их караульщики?

– Как вырвемся? Что ты имеешь в виду? – спросил К.

Большебородый помедлил. Видно было, что он колеблется. Собравшись открыться К., он все колебался, открываться ли?

– Идем, – сказал он наконец.

Идти пришлось недалеко. Метров сорок, пятьдесят,

шестьдесят. Около орешниковой чащобы большебородый остановился. Оглянулся на К., торжественность, не покидавшая его лица, полыхнула разгоревшимся огнем, он отдал рубила К. и, наклонившись, сунулся в орешник. Залез туда весь, ветви кустарника заходили ходуном, застреляло изнутри треском валежника. Выпячиваясь задом, большебородый появился из кипящего листвой орешникового буйства. За собой он вытягивал наружу лестницу. Нет, не лестницу, что-то вроде плетня это было, его звена, приготовленного для соединения с другими в целое. Только оно было странно узким для плетня. Сантиметров шестьдесят в ширину, чуть разве больше. И слишком уж грубо сплетено, поперечные прутья торчали по бокам, как зубья в выщербленном гребне.

– Вот, – сказал большебородый, вытащив из зарослей наружу все звено и бросая на землю. В длину в нем было метра два с половиной, около трех. – Видишь?

– Да? – недоуменно вопросил К. – Что это?

Большебородый с торжествующей победностью вскинул бороду.

– Это наш путь отсюда. Это гать. Знаешь, что такое гать? – Но ждать от К. ответа он не стал. – Гать – это дорога через топь. Из чего она делается? Из дерева, естественно. А как дерево добыть на гать без инструмента? Вот инструмент! – воскликнул он, указывая на рубила в руках К. Потребовал движением руки отдать их ему, взял и вознес на открытых ладонях перед собой. – Сначала их нужно было найти. На острове среди болот – камни из кремния! А? О, как я их искал! Я их нашел. Я их обработал! Ими нарублено все дерево, из которого сделаны эти штуки, – он указал на плетеную дорожку у себя в ногах. – И надо же: два дня назад я наткнулся на новый камень! Случайно ли? Судьба вела тебя ко мне! Вдвоем дело у нас пойдет вдвое быстрее. Втрое! Вчетверо!

– И много уже таких наплел? – кивнул К. на звено гати.

– Метров сто, – ответствовал большебородый. – А сколько нужно? Километр? Два? Неизвестно! Чем больше, тем лучше. Но мы же теперь вдвоем? Ответь, вдвоем?!

Лицо его переменилось, лютой угрозой дохнуло от него. К. невольно прыгнул взглядом на камни в его руках. Как знать, может быть, и в самом деле он был безумен? Но даже если и безумен. К. готов был присоединиться к нему.

– Вдвоем, – сказал К. – Готов делать что угодно. Прямо хоть сейчас.

Угроза, которой дохнуло лицо большебородого, понемногу втягивалась в себя, как в воронку, исчезала, и вот уже лицо его

было залито чистейшей радостью. В чрезмерной форме находили выражение чувства, что он испытывал.

– А прямо сейчас, конечно! – воскликнул большебородый. – Я это пока закончу, – показал он К. рубила у себя в руках, – а ты… Ветки заготавливать будешь?

– Почему нет, – принял его предложение К.

Как упоительна была эта простая физическая работа, какое наслаждение давала, каким смыслом было исполнено каждое действие! Чувство полноты жизни, насыщенности, значения, возникло у К. Кожа на правой ладони от постоянного трения о пятку рубила ссадилась и лопнула – он долго не замечал этого, понял, что случилось, только когда рубило начало от крови липнуть к ладони. К. зализал рану языком (как зверь, подумалось ему в этот момент), замотал ее носовым платком, что обнаружился в кармане пиджака, который теперь был его пиджаком, и продолжил работу.

Они с большебородым работали без перерыва до той поры, как солнце круто пошло под уклон, в лесу потемнело – свидетельство, что скоро должна была приехать кухня с кашей. Пропустить раздачу было нельзя: и хватились бы, да и сколько времени прошло с утренней трапезы! – есть уже хотелось немилосердно. По пути к поляне большебородый посвящал К. в тонкости своего плана, объяснял ему, как предстоит настилать гать, какие опасности подстерегают и как их избегнуть. У него все было обдумано и продумано, он предусмотрел такие нюансы, которые, на взгляд К., были даже и чудны.

– Первые два десятка метров у меня уже уложены. Почему?! – восклицал он, хватая К. за рукав, словно собираясь остановить, но не останавливая. – Почему всего два десятка метров? Потому что больше нельзя. Почему нельзя? – не выпуская рукава К., снова восклицал большебородый. – Могут увидеть с вышек крепости. Там уже лес не закрывает, могут видеть сверху. Я, во всяком случае, с последней секции, что уложил, крыши этих вышек разглядел. И вертолет еще. Когда вертолет летит, сверху вообще все отлично видно. На болоте какой лес, не лес – елки-палки, гать сразу заметят, она с высоты так и прорисуется.

– У крепости есть вышки? – удивился К.

– Есть, есть, – подтвердил большебородый. – Прямо как настоящие башни. Похоже, на каждой по крупнокалиберному – далеко достанет.

Невдолге, как оказался на острове, знал К. из его обмолвок, когда они плели и рубили, большебородый взобрался на вершину одной из самых могучих елей – до чего К., например, не додумался, – обозрел с нее все окрест, и тайн, что еще есть на

острове, кроме их шалашей и поляны с наполненными водой корытами, для него не осталось. Точнее, он собственными глазами увидел ту тайну, о которой были осведомлены все, но лишь осведомлены; тайна имела название – крепость, так ее обозначали при разговоре, знали о ней: где-то она в той части леса, что с другой стороны поляны, но это и все.

Теперь из обмолвок большебородого имел представление, что такое таинственная «крепость», и К.

Это была бетонная городьба метрах в ста от поляны – второе лысое место на острове, только в отличие от поляны оно было застроено: взметывалась к небу металлическая вышка, увешанная антеннами, стояли, прижимаясь к земле, несколько барачного вида строений, бетонная вертолетная площадка большой квадратной заплаткой лежала на земле поодаль за ними – вот и вся крепость. Но о вышках с пулеметами большебородый помянул только сейчас, до этого он о них не говорил. От макушки по позвоночнику, до самого крестца, у К., как это у него случалось в предощущении опасности, пробежала волна ознобного колючего ветерка. Пулеметы – это не Броунова проволока, что заржавело-ажурным колючим рукавом тянулась по краю леса с той, другой стороны поляны. В проволоке были всего лишь запрет и устрашение, стоящий невидимо для всех пулемет на вышке – это было ледяное дыхание тартара.

– Но как же тогда укладывать гать? Когда? – спросил К.

– В сумерках, – сказал большебородый. – Когда уже издали ничего особо не разобрать, а вблизи, это я о нас говорю, все еще видно. И быстро, быстро вязать, плеть к плети, плеть к плети.

– И успеем до темноты? – К. удивился. – Не успеть.

– Не успеть, кто говорит, что успеем? – Большебородому не понравилось, что К. решил, будто он способен предположить такую глупость. – Зададим направление при свете и будем затем вязать всю ночь. За ночь нам нужно пройти болото до суши. У нас на все про все одна ночь. Оставлять побег на вторую – значит, не убежать.

– А если не выдержим направление? – Сомнение – залог будущего успеха, говорила К. его профессия. – Дадим кругаля вместо того, чтобы прямо?

– Не имеем права, – отрезал большебородый. – Будешь знать, что не имеешь права, и никакого кругаля не дашь. Еще, знаешь что? Нужно будет быстро идти, нельзя медленно. Если бы один – ничего, а мы вдвоем пойдем, рядом друг с другом, чтобы, если что, помочь, а это какой вес! Двойной. Гать у нас все же какая? Не бревна, хлипкая. Чтобы тонуть под нами не стала! А быстро, быстро – так, думаю, удержит. Потренироваться нам следует. На

том куске, что я положил. Потренируемся?

– Потренируемся, – согласился К.

Если большебородый и был безумцем, то это было безумие одержимости. Что же, К. готов был разделить с ним его умопомрачение.

Вдали возник и, быстро нарастая, стал приближаться вертолетный рокот. Перерос в грохотанье, и в скудных прогалинах начинающего тускнеть неба над головой пронеслась и исчезла черная тень. Вертолет пролетел едва не над макушками елей. Он собирался садиться, до вертолетной площадки в «крепости» ему оставались какие-то секунды лёта. Следовало поспешать. Вертолет обычно прилетал незадолго до раздачи вечерней пищи. Скоро на поляне должна была появиться полевая кухня с кашей.

– Были бы часы, можно по нему точность хода сверять, – сказал К., кивая вслед вертолету, когда его клокочущий грохот удалился. – Хоть восхищайся: какая пунктуальность.

– Восхищаться ими? Тьфу! – сплюнул на ходу большебородый. – Не дождутся от меня.

– Наверное, новых поселенцев нам в компанию доставили, – предположил К.

Он сам прилетел на остров как раз этим же вечерним вертолетом. С наручниками на запястьях, с глазами, туго завязанными непроницаемой для света черной повязкой, свист останавливающегося винта над головой, прокалывавшие полную, пустую тьму голоса неизвестных людей: «Ступенька! Еще ступенька! Теперь земля. Иди, как тебя ведут», – и снова ступеньки, теперь вверх, всхрап заработавшего автомобильного мотора, неуютная качка недолгой поездки с бьющими в позвоночник подскоками и уханьем вниз, судорожный скрип тормозов, остановка, стук отъехавшей двери, следом за чем возня за спиной, хруст металла – и рукам предоставлена воля, подергивание головы под чужими руками, развязывающими узел повязки, обжигающий глаза свет, заставляющий щуриться и снова натыкаться на все вокруг: угол сиденья, металлический поручень на пути к открывшейся двери небольшого автобуса, – и вновь вниз на землю, уже без всякой поддержки. «Обосновывайся!» – произносит голос за спиной, и начинающим привыкать к свету глазам открывается пыльная поляна среди леса, десяток людей, толкущихся в непонятной очереди… Все они, насельники шалашей, прилетели сюда вертолетом. С той лишь разницей, что кто-то не вечерним, а утренним. Вертолет был единственным способом связи острова с миром, из которого они были изъяты. Два вертолета в день – сюда-обратно, топливо, эксплуатация

техники, зарплата пилотам… недешево обходился остров бюджету.

– Что же, одни мешки с ячневой крупой, что ли, возить, – отозвался на предположение К. о поселенцах большебородый. – Нужно же, чтоб было и кому эту кашу из нее есть!

Своеобразный у него был юмор.

На подходе к шалашам К. с большебородым разошлись. Не следовало, согласно решили они, показываться вместе. Подумают еще, что мы тут какую-то организацию создаем, сказал большебородый. Так оно в некотором роде и есть, похмыкал К. Тем более, сурово заключил большебородый.

* * *

Когда К., миновав оживавшую полосу шалашей, добрался до поляны, на ней уже стоял, выстроив около себя очередь десятка в два шалашных насельников, толстобрюхий зеленый котел полевой кухни, крышка его была воздета, и раздатчик в белом поварском переднике большим половником с длинной ручкой, торчавшей у него за плечом из подмышки, отлаженным движением, выцепив порцию каши из котла, плюхал ее в подставленную жестяную миску, которую шалашный насельник получал из рук помощника раздатчика перед тем, как подступить к кухне. Два красных берета со свисающими с шеи автоматами стояли по ее бокам; у каждого из колес военного вездехода, к которому кухня была прицеплена, точно так же с автоматами в положении «к бою», топталось еще четверо. От дальнего конца поляны, только что миновавший ворота в колючем рукаве Броуновой проволоки, катился в сторону кухни потрепанного вида светлый автобусик – тот самый, который три недели назад привез сюда с вертолетной площадки и К.

К. примкнул к концу молчаливо-угрюмой очереди, заложил руки за спину, вскинул голову, чтобы глаза смотрели в небесную бесконечность. Вечереющее небо набухало облаками. Половина его еще была чиста и ясна, лишь несколько золотисто пронизанных садящимся солнцем прозрачных перышек невинно висели на склоне, другая же половина непроницаемо плотно затянута громадными клочьями сизой ваты – должно быть, шел грозовой фронт, хотя вспышек молний пока не было видно и раскатов грома не доносилось.

Судя по всфырку умолкающего мотора, автобусик, катившийся по поляне, подъехал совсем близко к кухне. К. сделал шаг за двинувшейся очередью, оторвал взгляд от неба и

посмотрел в направлении звука. Дверь автобуса была уже открыта, и из нее, осторожно нащупывая ногой ступеньку, щурясь и прикрывая глаза рукой после тьмы под повязками, спускались один за другим и соступали на землю, как он и сказал в лесу большебородому, новые обитатели острова. Их было трое. Двое мужчин и женщина. И женщина эта была… К. не поверил глазам, всмотрелся пристальнее – нет, он не ошибся: это была секретарь кафедры! Жидкие блекло-йодистые букли ее распустились, растрепанные волосы торчали клоками пакли во все стороны – она имела вид безумной. Когда современница Древнего Рима отняла руку от глаз, вглядываясь в открывшийся ей мир, К. увидел: безумны у нее и глаза. Казалось, они так же встрепаны и разметаны в стороны, как волосы.

Сзади за К. уже наросло несколько человек, он стоял, смотрел на современницу Древнего Рима, не двигаясь вслед за очередью, и стоявшие за ним нетерпеливо зашумели: «В чем дело?! Пошевелись, эй! Думаешь ноги переставлять?!»

К. автоматически сделал пару шагов за ушедшей вперед очередью. Взгляд его, однако, оставался прикованным к современнице Древнего Рима – он не мог оторвать его от нее.

Поднявшийся гвалт привлек внимание секретаря кафедры. Безумные ее глаза, ошалело обшаривавшие окрестность, устремились на место шума, мгновение – и их взгляды с К. сошлись. Молниевая вспышка, треск разряда – взгляд ее стал осмысленным: она узнала К. В тот же миг современница Древнего Рима бросилась к нему.

– Это вы! – воскликнула она, вцепляясь в руку К. – Как хорошо! Где я? Что здесь такое?

– Я – ладно, – сказал К. – Мне здесь, предположим, самое место. А вы-то как здесь?

– Да-да! – возопила секретарь кафедры. – Почему я здесь? Что за место? В наручниках! С черной повязкой на глазах! Как преступницу! Меня! Туда же, где вы!

Автобусик затарахтел мотором, закрыл дверь и тронулся, переваливаясь на кочках, обратно к воротам в сквозящей лесом проржавелой трубе Броуновой проволоки.

– Конечно, мне здесь самое место, – повторил К. – А вы агнец невинный?

Он сумел освободиться от ее рук, буквально отодрав их от себя, но только он это сделал, она схватила его за полу пиджака.

– Я ничего! Я стерильна! Я абсолютно! Я ни словом, ни делом… У меня только похвалы и поощрения!

Очередь больше не обращала внимания, что К. стоит на месте, она обтекала его стороной, образовав около него петлю,

никто ему ничего больше не говорил. Очередь нашла решение возникшей проблемы – и К. никого уже не волновал: стоит и пусть себе стоит.

Секретарь кафедры, удерживавшая К. за полу пиджака, вдруг зарыдала. Слезы потекли у нее из глаз двумя обильными, похожими на небольшой водопад потоками. Она рыдала и говорила сквозь рыдания, рукой, не занятой пиджаком К., раскатывая слезы по старческим дряблым щекам блестящим болотом:

– Но я про вас никогда не думала… Я вашего деда помню… Я о вас никогда нигде… Поверьте, поверьте! Я чиста перед вами… вы не по моей вине… понятия не имею по чьей… поверьте!..

Невыносимо жалка была современница Древнего Рима. Брезгливое сострадание переполняло К. Противное, гадкое, отвратительное создание… но бедная, бедная!

– Предположим, – сказал он. – Не вы. Но давайте пока поедим. Ячневая каша. Без выбора. Другого не будет. Поесть надо. Даже если не хотите. Без еды долго ли протянете?

– Ячневая – это ячмень, – прорыдала секретарь кафедры. Она словно обвиняла в том К. – У меня аллергия на ячмень. Я вся начну чесаться!

– Ячневая или голодная смерть, – терпеливо ответил К. – Выбирайте.

– Но ведь так нельзя, нельзя! – воскликнула современница Древнего Рима – как если бы это он, К., ставил ее перед таким выбором.

– Заткни старуху, – со злобой проговорил мужской голос за спиной у К. – Заткнись, эй! – крикнул голос, адресуясь уже к современнице Древнего Рима.

Секретарь кафедры тотчас смолкла. Будто в ней что-то выключилось. И рыдания оборвались тоже. Слезы прекратили свое извержение. Похоже, у нее была собачья природа: только прямые приказы доходили до ее сознания. Видясь с ней чуть не ежедневно на кафедре, К. о том и не подозревал.

– Так чего, как нам, вы очередь свою что, пропустили? – спросила она К. голосом, исполненным деловитости.

К. оглянулся. Очередь сзади наросла человек до сорока. Едва ли, однако, кто-то их пропустил бы сейчас перед собой. Следовало отправляться в конец, занимать очередь заново.

– Идемте, – позвал он современницу Древнего Рима.

Миновав человек семь, К. увидел покорно томившегося в очереди бывшего ректора. Взгляды их пересеклись, К. невольно подался к нему, и ректор, скроив отрицательную мину, отрицательным жестом развел руками. Тебя одного, может быть,

и мог поставить, но двоих никак, означали его мимические действия. Едва ли секретарь кафедры была ему знакома, едва ли и она узнала в этом седом старике бывшего ректора, и К., волоча за собой современницу Древнего Рима, державшуюся сейчас сзади за полу его пиджака, прошагал мимо ректора не останавливаясь.

Небо, когда они получили по своей миске каши, было уже все застлано облаками, резко потемнело, и в стороне, откуда шел грозовой фронт, начало просверкивать неслышными пока молниями.

– Что… пойдемте ко мне, – позвал секретаря кафедры К.

Он – против воли – чувствовал себя уже ответственным за нее, думал о том, что после еды нужно будет поспешить, кровь из носу – поставить для нее до грозы шалаш: найти место повыше, наломать ветвей для каркаса, установить их, закрепить, надрать лапника на крышу, покрыть ее, и еще лапника для подстилки, чтобы не спать на голой земле – ночью земля заметно остывала, от нее шел холод.

– Жить в шалаше?! – опять так, словно это от него, не кого другого зависели условия ее жизни здесь, вопросила современница Древнего Рима, когда они устроились с мисками на пороге его хвойного жилища и он объявил ей, чем придется заниматься им после каши.

– Альтернатива – под открытым небом.

– Да нет, не может быть, есть какое-нибудь помещение, не может быть! – Современница Древнего Рима, поглощая кашу, начала приходить в себя, обычная ее заносчивая самоуверенность вернулась к ней. – Вы просто не знаете.

Никакого желания тратить себя на то, чтобы переубеждать ее, у К. не было.

– Я вам покажу кой-что еще, чтоб вы были в курсе, – сказал он. – Туалет, я имею в виду.

– Да уж непременно, – ответствовала современница Древнего Рима.

К. не успел показать ей туалета. Первые капли дождя упали, когда они вышли на поляну. К. оставил секретаря кафедры под прикрытием деревьев, побежал с их мисками к кухне, отдал, и, еще не успел вернуться обратно, над головой проблистало, грохнуло рассыпающейся горой камней, стихло, и в этой наступившей тишине с неба хлынуло.

– Бежим, – схватил К. современницу Древнего Рима за руку.

Бежать она не могла, она ковыляла за ним, издавала стоны, взвизгивала скрипуче: «Ой, же я!..» – пыталась остановиться, но К., не обращая внимания на ее сопротивление, неумолимо тащил современницу Древнего Рима за собой. Еловые лапы еще не

намокли, удерживали извергающуюся на них с неба воду, и до земли долетали лишь отдельные капли.

– Забирайтесь! – указал К. современнице Древнего Рима, когда они наконец достигли его убежища.

– Как? Как? – пытаясь пригнуть голову, приседая и все равно не сравнявшись даже с макушкой шалаша, заскрипела современница Древнего Рима. – Как это? Я не могу!

– На коленях, как еще! – прикрикнул на нее К.

– Как это на коленях, как? Я на колени должна встать?!

– Залезайте, залезайте, вымокнем ведь! – рявкнул уже на нее К. Наклонился, влупил ей ребром ладони по ямке между ляжкой и голенью, и современница Древнего Рима рухнула на колени. – Внутрь, живо, живо! – приказал К.

Забираясь в шалаш вслед за нею, он чувствовал, как по спине, по ягодицам часто и сильно зашлепало – лапы елей намокли и уже пропускали дождь.

Места двоим в шалаше было мало, они лежали рядом, с трудом не касаясь друг друга, – секретарь кафедры на спине, К. на боку, из опасения обрушить шалаш не решаясь перевернуться на другой бок, затылком к ней, – неприятная физически близость давила неуютным чувством злого раздражения. Дождь пробил лес навылет, за пределами шалаша под вспышки неожиданных молний и катающиеся камни грома шумело и плескало, струи воды с громким шуршанием лупили по лапниковой крыше, но внутрь не просачивалось ни капли. Крыша была гордостью К. Он настелил ее так, что вода скатывалась по верхним слоям, совершенно не добираясь до нижних.

Потом он услышал, всхлипы: современница Древнего Рима плакала. На этот раз без рыданий, почти беззвучно. Еще немного погодя он услышал ее шепот. Она лежала, всхлипывала и шептала с отчаянием:

– За что? За что?.. Не за что, не за что!.. Я верой и правдой… верой и правдой… почему, почему?! За что это мне, за что?! Нет на мне вины, никакой вины… за что?! Не за что, абсолютно не за что!..

К., забыв о своих опасениях обрушить шалаш, сотрясши его, перевернулся на спину и сел. Быть еще свидетелем и соучастником ее страданий!

– Слушайте, прекратите! – сказал он резко, глядя на нее через плечо вниз. – Ищите лучше свою вину! Думайте, ковыряйтесь в себе, вспоминайте! Чтобы так раскаяться – как кожу с себя снять. Никто отсюда без этого не выберется! И вы тоже, вы тоже, вы тоже!

Ей ли он говорил? Не себе ли? К. поймал себя на этой мысли

– и словоизвержение его разом иссякло. У тебя есть другой выход, прозвучало в нем.

– Что? Как вспоминать? Какую вину? В чем раскаиваться? – лепетала, швыркая носом, пытаясь сдержать слезы, современница Древнего Рима.

– Я вам потом объясняю. – К. отвернулся от нее. – Обживитесь здесь. Привыкните. А так не поймете.

В открывшемся взгляду пирамидальном проеме шалаша рушилась кипяще-стеклянная стена дождя. Воздух выхолодился, земля не успевала поглощать воду, и в низких местах вода собиралась словно бы трясущимися под ударами струй светлыми озерцами. К. смотрел на вывешенную разверзшимся небом водяную стену в каком-нибудь метре от себя – а сам не тронут ею, будто вырезан из нее, – и как бы чувство самоуважительного довольства владело им. Ему удалось поставить шалаш на взгорке, лапник внутри он настелил во много слоев, – вода скатывалась вниз, не застаиваясь, а той, что все-таки подтекала в шалаш, было так немного, что она не могла промочить подстилки. Сухо было в шалаше, хорошо.

Дождь лил с четверть часа. Едва он закончился, уходя вслед за раскалывающими воздух ослепительными молниями и катающимся громом, К. выбрался наружу. Находиться лишнюю минуту с секретарем кафедры в тесноте шалаша вместе было невыносимо.

Современница Древнего Рима выбралась из шалаша следом за ним. Она вся сжалась, втянула голову в плечи и обнимала себя за них руками.

– Холодно, – блеющим голосом, дрожа, выговорила она. – Невероятно же холодно. А ночью? Можно тут попросить какое-то одеяло?

К. расстегнул, снял пиджак и подал его современнице Древнего Рима.

– Держите. Это все, на что вы можете тут рассчитывать.

– Спасибо, спасибо, я возьму. – Она не стала отнекиваться, схватила пиджак и жадными движениями принялась вталкивать в него руки, натягивать на себя. – Так холодно. Я вся продрогла. Прямо до костей.

К. огляделся. Все вокруг было мокро: сверкало, сияло, блестело. Нечего было и думать отправляться на заготовки для шалаша. Как складывать шалаш из мокрых лап? Словно бы стон прозвучал в нем внутри. Получалось, что придется ночевать с современницей Древнего Рима в его шалаше вместе.

В стороне поляны раздался колеблющийся острый звук рынды. Колокол выдержал паузу и заколотил быстрым, частым

боем, как обычно звал к приехавшей кухне. Что значил этот бой? Раздача каши давно закончилась. Или кто-то не успел вернуть до грозы тарелки, и сейчас требовали прийти и сдать их?

Следом за умолкшей рындой, однако, волглый воздух расцарапал скрежещущий звук динамика. Гигантская серебристая груша динамика висела на той же мачте, что рында, на самой вершине ее, но ни разу еще К. не доводилось слышать, чтобы он звучал. Должно быть, ради какого-то чрезвычайного сообщения он ожил, не иначе. Динамик поцарапал воздух звуками своей внутренней жизни и задребезжал человеческой речью. Понять эту жестяную речь было невозможно. К. не разобрал ни слова. Кроме одного. Ему показалось, что в сцеплении невнятных жестяных звуков прозвучало его имя. Могло ему послышаться? Конечно.

Но динамик произнес его имя и в третий раз, и в десятый – и в дополнение к своему имени К. расшифровал еще несколько слов: получалось, что от него требовали немедленно выйти к этой мачте с громкоговорителем. И что это значило? Что тому причиной? Из-за их сегодняшних занятий с большебородым? Но тогда бы потребовали того же и от большебородого, а его имени не прозвучало.

– Слышали? – посмотрел он на современницу Древнего Рима

– Да? Что? Ничего не поняла, – отозвалась она.

– Я вас покину пока, – сказал он. – Возвращайтесь в шалаш. Мокро как, видите. Сегодня мы вам уже ничего не поставим. Завтра.

– Нет, но как же?! – воскликнула она кисло. Современница Древнего Рима была недовольна им.

К. не ответил ей. Он тронулся и пошел по мокрой траве, не выбирая дороги, в направлении поляны. Что было выискивать дорогу посуше, бессмысленно. Ногам предстояло промокнуть – выбирай не выбирай.

– Но вы поскорее, прошу вас! – крикнула ему вслед современница Древнего Рима.

Выходя из леса, он увидел стоящий у мачты армейский вездеход и двух дятлоголовых беретов около него. Ноги у К. тотчас заватнели. Береты, браво диссонируя своими красными макушками с окружающим миром мокрой зелени, нетерпеливо прохаживались перед вездеходом, шаря взглядами по полосе леса, но пока они не заметили К. Дать обратный ход, исчезнуть в спасительной путанице стволов и ветвей… искушение было почти непреодолимо. Но сколько можно скрываться? Не выходить к кухне, перейти на ягоды… Сколько можно протянуть на ягодах?

К. заставил себя вместо пары шагов назад сделать два шага вперед, окончательно отделяя себя от полосы леса. Сократ

вспомнился ему. Раз чаши с цикутой невозможно было избегнуть, следовало принять и выпить ее со всем возможным достоинством.

Береты увидели его. Сначала заметил один, вгляделся, повернулся к напарнику, сообщил тому. Один из них, оставаясь на земле, исчез по пояс в распахнутой двери вездехода, показывая всем положением своего тела, что разговаривает с кем-то внутри.

Оттопыренный зад его, обтянутый зелено-пятнистыми форменными штанами, еще торчал наружу, когда громкоговоритель, прервавшись на полуслове, смолк. Следом за чем берет отпятился от машины и появился из нее целиком. Чуть погодя их стало трое: третий возник из глубины вездехода, спрыгнул на землю, выпрямился, натянул берет на коротко остриженную голову и стал подобен тем двоим, что поджидали К. около машины. Видимо, это он, сидя в вездеходе, и вещал по громкоговорителю.

К. шел по направлению к ним – и не чувствовал, что приближается. Так медлителен стал шаг, так короток – не шел, а сучил своими ватными ногами…

Береты, он видел, перебросились односложными фразами, все трое заскочили в машину, и та, не закрывая двери, утино переваливаясь на неровностях земли, покатила навстречу К. Не доехав до него метров пяти, вездеход остановился. Он еще останавливался, береты уже начали выпрыгивать из него – словно и мгновения промедления не могли позволить себе.

– А пошевелиться, пошевелиться?! – двинувшись к нему, гаркнул один из тех, что высматривали его у машины. – Как волчья сыть, травяной мешок!

Остановившись, К. ждал их приближения. Что такое могло стрястись, чтобы он понадобился им? Ноги едва держали его.

Третий берет, задержавшийся за рулем, догнал сослуживцев, присоединился к ним, и они взяли К. в кольцо.

– Чего телился? – процедил берет, вещавший из громкоговорителя. – Тыщу раз повторять пришлось. Всю глотку надорвал!

– Вертолет там стоит из-за тебя, летчики улететь не могут! – обрушился на К. крикнувший ему про волчью сыть.

Вертолет? Стоит из-за него? Зачем вертолет может стоять из-за него?

– Вертолет? Стоит? При чем здесь я? – выговорил К., запинаясь.

– При том! – Берет, стоявший у К. за спиной, твердо и больно ткнул его раскрытыми пальцами под ребра. – Иди! Живо! Садись!

– Куда идти? Зачем садиться?! – воспротивился было К., но стоявший сзади вновь засадил ему пальцами по почке, так что та

будто прыгнула внутри, двое же других, без всяких слов, отработанными движениями одновременно захватили его руки и подвывернули их в суставах – не до боли, но на грани той.

– Иди! Не дергайся! Жив, и радуйся! – ведя К. к машине, сочли они теперь нужным каждый высказать ему свое пожелание.

Его должны куда-то везти на вертолете, осознал наконец К. Но его явно не вернут на остров сегодня же – не станут из-за него гонять вертолет туда-сюда. И если он не вернется сюда вообще? Большебородый будет ждать его. Будет искать ректор.

– Подождите же! – воскликнул он. – Мне нужно предупредить… сказать, что меня…

– Обойдешься, – ответил ему тот, что шел сзади. Пальцы его тупо упирались К. в почку, как бы напоминая своим давлением о возможности нового тычка.

И уже они стояли у разверстого нутра вездехода, и те, что держали К. за руки, неожиданно и вновь одновременно подхватили его под ягодицы, оторвав от земли, ловко метнули вперед, на сиденье. А он еще и сам, чтобы не впаяться головой в кромку крыши, моментом втянул ее в плечи, пригнулся, упростив их задачу.

– Устраивайся, – услышал К., отрывая лицо от жесткой кожи обивки и торопясь зачем-то скорее сесть на сиденье, как бросил ему насмешливо кто-то из швырнувших его, будто какой-то куль, беретов.

Черная повязка на глаза, «Не смей снимать!», вой мотора и прыжки вездехода на буграх поляны, бьющих через пружины сиденья в крестец, короткая остановка – должно быть, перед воротами в колючем витом заграждении – и вновь вой мотора, только дорога под колесами теперь по-асфальтовому гладка, поворот, разворот, задний ход, стоп-мотор, хлопок по плечу, как толчок: «Поднимайся!» – поддерживающая при выходе из машины недружелюбная рука, голоса вокруг, близко, далеко, громкие, на пониженных тонах, и вновь недружелюбная поддерживающая рука, подъем по короткой неудобной лестнице с трубчатыми поперечинами вместо ступеней, «Садись!» – нажимает на плечо рука (все та же, другая? одинаково недружелюбны), сиденье – холодная железная лавка, чьи-то пальцы, отдергивая голову назад, развязывают на затылке ослепляющую повязку, обвальный грохот закрутившегося винта, сотрясшего все вокруг мелкой отвратительной, проникающей до мозжечка дрожью, глаза заново привыкают к свету, и еще не успевают привыкнуть до конца – вертолет уже в воздухе.

16. «Мы ошиблись»

Тишина гудела умирающей люминесцентной лампочкой под потолком. Он сидел в том же помещении, где был в свое первое, добровольное появление в этом особняке под сенью аккуратно и чисто подстриженных деревьев, – два ряда светлой фанеровки столов со стульями, стол перед ними, черная доска на стене с разводами стертого мела, ни дать ни взять студенческая аудитория для небольшой группы. Он сидел здесь уже целый час – никто к нему не приходил, даже не заглянул. Первые два десятка минут, как его доставили сюда, он не слышал зудящего пения лампочки, было ли оно? Теперь оно казалось столь же оглушительным, как грохот вращающего винт двигателя, когда был замкнут в трясущемся вертолетном чреве.

К. встал из-за стола, за которым сидел (он уже насиделся за всеми), прошелся между рядами туда, обратно, протиснулся к окну, отвел в сторону плотную тяжелую штору. Ночная глухая тьма стояла за зарешеченным окном, и даже не видно фонарных огней, только несколько пушистых серебристых свечений там-сям свидетельствовали таким косвенным образом об их наличии, – первый этаж, растущие вокруг особняка деревья с кустарником охраняли его от уличного света с надежностью сторожевых псов. К. отпустил штору, пересек «аудиторию» и, подойдя к двери, подергал вверх-вниз ее удобно изогнутую для захвата ладони черно-металлическую ручку. Дверь была закрыта. Как и десять минут назад, и двадцать, как была закрыта с самого начала, когда его ввели сюда и, не произнеся ни слова, захлопнули за спиной, провернув в замке с наружной стороны ключ.

Оставив дверь, раскачивающимся шагом К. направился обратно к окнам, но, не дойдя до них, остановился, постоял, привставая на носках и со стуком опускаясь на каблуки, повернулся и шагнул к доске. До чего К. до сих пор не додумался, убивая время, – так до того, чтобы использовать в этих целях доску.

Он пошарил за ней, нащупал висящую там на крючке тряпку. Тряпка была засохшая и стояла колом. К. поплевал на нее, пожамкал и принялся расчищать меловые разводы. Разводы не исчезали. Тряпка была слишком густо пропитана мелом, ее следовало промывать под краном. К. бросил тряпку на полок, тянувшийся вдоль всей доски с фронта, взял с полка истершийся круглый мелок, постоял, раздумывая, что писать, и вывел: «Шопенгауэр». Он не сомневался, что все камеры, которые установлены в помещении, включены, он сейчас на всех

мониторах и, как ни хотелось, решил обойтись без кукиша. Шопенгауэр значился в числе стерильных. Почему? Вот поди ж ты пойми.

«Поистине некая невидимая, неподвластная человеку, непознаваемая им воля диктует миру свои условия, воплощает свой замысел, а независимый, свободный вроде бы в своих поступках и действиях человек, незнаемо для себя, лишь осуществляет его», – написал К. на расчищенном пространстве, как если бы диктовал студиозам свое изложение «Воли и представления».

Пространство доски, на котором хоть как-то можно было писать, закончилось. К. отступил от доски, перечитал написанное, ступил обратно, взял с полка тряпку, снова поплевал на нее, пожамкал и стер что написал. «Можно ли попытаться проникнуть в этот замысел, понять его и осознать, составить, выражаясь математически, его алгоритм, дабы человеческими руками что-то подправить, улучшить, убрать, добавить? – продолжил он свою лекцию. Теперь он писал мельче, чем до того, и видел, что получится написать ощутимо больше. – Нет, проникнуть нам в замысел, по всей видимости, не дано. Что, однако, не исключает попыток проникновения в него. Или, вернее, требует, – выводила его рука. – Это требование – в самом замысле. Вот что несомненно. А иначе зачем заложена в человеке жажда познания? Через попытку проникновения человека в свою тайну воля и овеществляет самое себя, становясь материальной. Человеческая выгода от этого – иллюзия отождествления себя с высшей вселенской силой, иллюзия собственного могущества, в чем, нужно признаться, нет ничего греховного: если то свойственно человеку природно, значит, он к тому призван».

Больше на доске не было ни одного приемлемого для записи местечка, чтобы продолжить лекцию. Следовало прибегнуть к операции уничтожения записанной мысли вновь. К. чувствовал в себе возбуждение, ему хотелось продолжать и продолжать, словно и в самом деле находился в студенческой аудитории, и, дописав последнее слово, которое уместилось на расчищенной площади, он тут же схватил тряпку, поплевал на нее, стер выведенную его рукой словесную вязь и стал писать дальше: «Проникнуть в тайну воли не дано никому. Но попытаться ответить на вопрос, что она собой представляет, не просто можно, а должно. – «Можно» и «должно» он подчеркнул двойной чертой, как если бы выделил их голосом. – Должно – дабы воля овеществлялась в представлении. – Рука быстро обмахнула «воля» и «в представлении» круговой обводкой, также выделяя эти слова. – Через представление воля поправляет свой замысел, вносит в

осуществление его необходимые поправки и изменения. Если, разумеется, ей это требуется. Если она этого хочет. Никакое представление, однако, согласно Шопенгауэру, никогда не бывает абсолютным и истинным. Оно может лишь в большей или меньшей степени приближаться к пониманию того, о чем свидетельствует воля. Но – вспомним! – и само наше представление – не что иное, как явленное волей ее желание».

Умирающая лампа под потолком молчала. Аудитория за спиной была полна, набухла вопросами и жаждала прорваться ими.

К. поставил точку, бросил мелок в желоб на полке и, отряхивая пальцы, повернулся к аудитории лицом, готовый дать ответы на любые вопросы.

Аудитория была пуста, никого за столами, и лампа под потолком, готовая умереть, гудела если и не вертолетным двигателем, то с одуряющей силой ноющего возле самого уха комара.

Поразительно, ему ведь и в самом деле помнилось, что он в университете, читает лекцию и зачем-то – непонятно зачем – вместо того чтобы студиозы конспектировали его речь, решил самолично записывать ее на доске!

Возвращение к действительности было сокрушительным. Он снова обхлопал пальцы, сбивая с них остатки мела, прошел к столам, составил на проходе в ряд несколько стульев и лег на них. Ему пришло в голову, что лучшим способом убить время будет для него прекратить ожидание: постараться заснуть – и пусть время течет без его присутствия в нем.

Похоже, ему давно следовало сделать что-то подобное. Только он лег, не прошло и пары минут, – в замке проскреб, вставляясь, ключ, провернулся и дверь раскрылась. К. приподнялся. В «аудиторию» входил кощей. На плечах у него, как на вешалке, по-обычному болталось пальто, и он по своему обыкновению держал его на груди за полы крест-накрест.

– Что вы тут устроили! – с несвойственной ему эмоциональной суровостью сказал он еще от двери. – Разлеглись тут. Встаньте!

«Вы»! Кощей говорил ему «вы»! Как при самой первой их встрече тогда!

– Устал ждать, – отозвался К., поднимаясь со своего жесткого ложа.

– Устали, подумаешь! Расставьте все стулья по своим местам. Здесь вам не спальное помещение. – Кощей, похоже, не просто негодовал, а ярился. Словно то, что К. лег здесь, осквернило этот «класс». Как если бы он нарушил сакральность некого храма.

К. взялся за стулья. Кощей той порой проследовал к столу, стоящему у доски, отодвинул от него ногой оставшийся не тронутым К. стул, привычным движением, не выпуская полы пальто из рук, подметнул пальто под себя и сел.

– Садитесь, – указал он на стол напротив себя, когда К. закончил расставлять стулья.

К. сел, как ему было сказано. Кощей смотрел на него своим бесчувственным взглядом рентгеновского аппарата, и у К., как то уже бывало у него с кощеем, по позвоночному столбу, по крестцу, до самых пят протек колкий озноб абсолютного нуля.

– Это тут Шопенгауэр при чем? – кивнул кощей себе за спину, на доску. Голос его приобрел обычную бесцветную бесстрастность, и так же по-обычному она была слегка приправлена брезгливостью.

– Так просто, – сказал К. – А что Шопенгауэр? Шопенгауэр в списке стерильных.

– Шопенгауэр в списке стерильных… – протянул кощей. – Да… – Он смолк, запавшие его рентгеновские глаза смотрели на К. без всякого выражения, ничего не прочтешь в них. Губы его были свиты в суровую нитку. – Зачем вы здесь, представление имеете?

– Нет. Откуда.

– Спросите меня – зачем. Вам же интересно, – едва размыкая губы, уронил кощей.

Он не мог не сообщить К., зачем тот доставлен сюда, но ему требовалось снизойти до него, оказать ему милость.

– Да, зачем я здесь? – спросил К.

– Мы ошиблись, – без всякого выражения, бесцветно произнес кощей. – Вы попали в поле нашего зрения по недоразумению. Недоразумение исправлено. Как видите, мы умеем признавать свои ошибки.

– И что же? – поторопил кощея К. Ликование, медленно, но неуклонно, нарастая от мгновения к мгновению, заливало, затапливало его – он начинал захлебываться им. Они ошиблись! А значит… Что «значит», он не в силах был додумать, он захлебывался ликованием. – Что дальше?

– Дальше вы должны подписать кое-какие документы, – сухо отозвался кощей. Под мышкой, оказывается, скрытую наброшенным, как бурка, пальто, он держал пластмассовую красную папочку на кнопочной застежке. Извлек ее наружу, положил на стол перед собой, расстегнул застежку, достал изнутри несколько листов бумаги. – Вот ознакомьтесь, – подал он К. верхний из них.

К. принял листок. Трехцветный знак службы стерильности

суровым напоминанием, что за бумагу он держит в руках, крупно глянул на него с макушки листа, а набранный на компьютере коротенький текст посередине извещал неизвестно кого, что он, К., обязуется никому, ни в каких обстоятельствах не разглашать информации, обладателем которой он стал во время своего нахождения под опекой…

– На башку вы мне капали – это я у вас под опекой был? – отрываясь от чтения, спросил К.

Кощей молча и пусто смотрел на К., не собираясь отвечать.

– Или три недели на этом острове? Все, считается, под опекой? – продолжил К.

Кощей не стал ждать умножения его вопросов. Он решил разомкнуть свою суровую нитку.

– Выходить отсюда намерены? – ответно вопросил он. – Если да – без вопросов. Подписал – и свободен.

– А если не подпишу?

Кощей под пальто пожал плечами:

– Как угодно. Хотите обратно туда, где были? Пожалуйста! Прямо утром.

О нет, нет, К. не хотел туда.

– Ручки вы мне не дали, – сказал он.

Кощей взял папку, заглянул внутрь, достал из ее глубины шариковую ручку, перекинул через стол К.

– И без выкрутасов, – уронил он. – Своей подписью, никаких изменений. Образец у меня вот. – Он покопался в листах перед собой и извлек один из них. – Видите?

К. посмотрел. Это была копия университетской ведомости на получение зарплаты, его подпись среди других в положенной графе была жирно выделена красным фломастером, взявшим ее в овал, – точь-в-точь, как только что выделял важные для смысла слова на доске сам К.

Обязательство о неразглашении того, что видел, что слышал, где был, что с ним делали, отказ от каких-либо претензий к службе стерильности, обещание в случае необходимости содействовать ей во всем и всячески – К. подписал все.

Кощей сличил подпись на бумагах с подписью в ведомости и остался удовлетворен.

– Должны быть благодарны службе, что она умеет признавать ошибки, – сказал он, отправляя подписанные К. листы обратно в папку. – Умеем-умеем, отдайте нам должное.

Язык у К. не повернулся согласиться с его утверждением.

По бечевочным губам кощея прозмеилась усмешка. Но больше он ничего не добавил. Бросил в папку вслед подписанным К. бумагам ручку, пошарил внутри папки и достал из нее белый

пухлый конверт. В конверте оказались удостоверение личности К. и его мобильный телефон.

– Держите – подтолкнул их по столу кощей к К. – Возвращайтесь к нормальной жизни. Но пусть вам все это будет уроком! Таким: на всякий случай.

«На всякий случай! Таким!» – гневно взорвалось в К. Но благоразумие одержало в нем верх, и он, беря со стола удостоверение с телефоном, лишь спросил:

– А ключи? Ключи еще были.

– Не знаю ничего про ключи. – Голос кощея вновь сделался по-обычному бесцветным, с едва уловимыми нотками брезгливости. – Что было, то возвращаем. Идемте.

Он шел по коридору впереди К., не оглядываясь, портновский метр его узкой спины был полон неколебимой уверенности, что К. по-собачьи следует за ним, – точно так же, как эта уверенность исходила от нее, когда К. шел за ним по этому самому коридору в свое добровольное посещение особняка; только тогда они шли в противоположном направлении. Перед дверью, ведущей в другой коридор – белый пластик, залитый режущим белым светом ртутных ламп, – кощей приостановился. Плечи его слегка двинулись в развороте, слегка повернулась в сторону К. голова.

– Напоминаю о бумагах, которые подписали, – со скупой бесстрастностью изошло из кощея. – Отнеситесь к своей подписи со всей серьезностью.

К. еще обдумывал, должен ли отвечать кощею, тот распахнул дверь – и оттуда ослепило полдневным кипением солнечного дня.

Кощей выступил в свет и остановился неподалеку от дверного проема. К., придержав дверь, вышагнул следом за ним. Дежурный в другом конце коридора в бритвенно заломленном красном берете, крутанувшись на своем высоком, похожим на барный белом табурете, вопрошающе воззрился на них.

– Выпусти его, – дал кощей распоряжение дежурному молодцу.

Молодец сполз с табурета и вытащил из заднего кармана пятнистых штанов связку зазвеневших ключей. Греби ко мне, молча, движением руки приказал он К. И пока К. шел к нему, подбросил, развлекаясь, бренчавшую связку вверх, поймал и снова подбросил и поймал.

– Да шевели ногами, что такое! – перестав подбрасывать ключи, недовольно прикрикнул он на К. – Волчья сыть…

Похоже, это у беретов была такая любимая приговорка.

К. и не заметил, что, так же как там, на поляне, когда вышел из леса, ноги у него не идут. Только сейчас они не идут из-за страха перед свободой. Он отвык от нее. Он забыл, что это такое,

свобода. Так же ли в ней нужно было дышать? Та же ли в ней была сила тяжести?

Он остановился и повернулся. Кощей не ушел, стоял смотрел своим рентгеновским взглядом ему вслед, ждал, когда он покинет особняк.

– Вы сказали «недоразумение исправлено». Это что же, меня – вот… а кого-то… взяли? – спросил К. – вопрос, что рвался из него все время, но так и не сумел задать раньше.

– А вы не виделись? – сухо осведомился кощей. К. лихорадочно обдумывал его непонятный ответ, и кощей закончил: – Тогда и не надо вам знать. Узнаете по ходу жизни.

Это была секретарь кафедры, современница Древнего Рима, осенило К.

– Да она ваш агент! – потрясенно воскликнул он.

– Не ваше дело, агент, не агент, – ответил кощей. – Правила стерильности одинаковы для всех. Идите!

– Шевели ногами! – тотчас включился дежурный, нетерпеливо встряхивая звенящими ключами.

К. старался шевелить изо всех сил, но ноги у него все так же едва шли. Комнату приемной с ее мерклым светом, зажженным дежурным, он преодолевал той же волчьей сытью. Тамбурных дверей выхода он достиг, когда они обе – и внутренняя и наружная – были уже отомкнуты и дежурный, став между ними, держал их руками нараспах.

К. протиснулся мимо дежурного – плоский театральный задник ночной тьмы в дверном проеме мгновенно расширился, залил собой все поле зрения, сделавшись объемным, и свежий колючий воздух ночи объял К. Силуэты кустов и деревьев, на которые смотрел через стекло зарешеченного окна, словно обнажились, подходи и дотрагивайся, – и все это была она, свобода.

– Подвинься, – пихнул его в спину дежурный, отодвигая от порога.

К. сделал по крыльцу пару шагов вперед, и наружная дверь за спиной, натужно проскрипев петлями, закрылась. Так же, вспомнилось ему, она скрипела, когда месяц назад он пришел сюда и, поднявшись по ступеням, открыл ее.

К. спустился с крыльца, миновал линию кустарника и деревьев, вышел на стелющийся вдоль дороги тротуар. Ноги начинали слушаться его, глаза понемногу привыкали к темноте. Свет горевших на столбах в вышине фонарей беспрепятственно распространял себя туманными, слабевшими к окраине круглыми облаками, и ночь представляла собой чересполосицу света и тьмы. Свобода, свобода, все более ликующе звучало в нем. Ночь

дышала покоем, безмолвие ее было наполнено счастьем возможности двигаться в любом направлении, куда угодно душе, – никаких ограничений, никакой Броуновой проволоки.

Но чтобы сообразить, в какую сторону двинуться, пришлось потоптаться на месте. Он не мог сориентироваться. Не мог вписать свое местоположение перед особняком в город. Лесные маршруты, проложенные по острову, – все это было в голове грифельно четко, а где в городе находится особняк – отлетело из памяти.

Но наконец ему удалось обнаружить себя в городском пространстве. И странное же это было чувство. Будто это здесь ты и не ты. Но ты это был, ты, ты!

Ноги его новому «я» подчинились теперь без всяких усилий. Как если бы наполнившее его чувство свободы расковало и его мышцы.

Он шел пустынной улицей от одного круглого фонарного облака к другому, стук его каблуков в тишине, усиливаясь и складываясь с эхом, звучал звонким двойным перещелком, и самое большое, с трудом осиливаемое им желание было – отправиться прямо сейчас к привереде. До нее и было отсюда ближе всего. Но как отправиться к привереде в таком виде: колтун в волосах, рубаха жеваным колом с черным воротником, такого же вида штаны в заломах и пузырях, и запах от него исходил, наверное, – могло бы снести с ног.

Из темноты возникла площадь с вавилонским зданием мэрии. Сама площадь, как и прочие улицы, была освещена лишь туманными фонарными облаками по периметру, а мэрия в одном из ее концов, подсвечена со всех углов прожекторами и сияла вырезанным из ночи плоским театральным задником. Отсюда, с этой площади, он был уведен конопенем три с небольшим недели назад. Три недели! Всего-то. Вечность назад это было.

Ближе к центру улицы стали светлее, на бешеной скорости проносились машины, то из одной, то из другой в ночную тишину вырывалось гулкое буханье динамиков. Начали попадаться гуляющие компании – одни выходили из ночных заведений, ярко выплескивавших в ночь из открывающихся дверей свой призывный электрический свет, другие подкатывали на этих бешено носившихся машинах, шумно вываливались наружу, и призывный свет ночного заведения втягивал их в себя. Кое-кто в компаниях обращал на К. внимание, пристально и с удивлением смотрел на него, – К. ускорял шаг, старался поскорее миновать шумное место и вновь оказаться в темноте, одиночестве, тишине.

Он и вообще спешил. Он гнал себя, его мучило нетерпением скорее сбросить с себя эту с чужого плеча доставшуюся,

обтрепавшуюся одежду, лечь в воду, отмокнуть, продрать себя наждачной мочалкой, ему, несмотря на ночную прохладу, сделалось даже жарко – так он шел, – и мысль, что промелькивала было несколько раз – а не помешал бы сейчас пиджак! – больше не посещала его. Наоборот, другое подумалось: как удачно, что отдал пиджак современнице Древнего Рима, в одном платьишке оказалась, ей он там понадобится.

– Эй, приятель! – окликнули его неожиданно из одной компании, когда пролетал мимо нее. Это была группа нарядно одетых мужчин и женщин, семь ли, восемь ли человек, они курили поодаль от дверей заведения, все с сигаретами в руках – дым, серебрясь в полосах света, падавших через щели в зашторенных окнах клуба, стоял вокруг них колеблющимся туманом, – довольство и упоение жизнью исходило от них, они были на ее вершине, черпали из распахнутой перед ними сокровищницы полными пригоршнями. – От кого так даем ноги?

К., не ответив и не снизив скорости, проскочил компанию, но словно некая преграда встала перед ним, остановила – и он, как отскочив от нее, с той же резвостью, с какой летел, проследовал в обратном направлении, к компании.

– Телефон позвонить, будьте добры кто-нибудь, – попросил он. – Мой не работает, разряжен. – Рука в доказательство сунулась в карман, вынырнула с возвращенным кощеем мобильником, он понажимал кнопки – экран не загорелся. – Вы, – обратился К. к одному, – или вы, – посмотрел он на другого, – можете дать? Мне нужно позвонить. Обязательно.

– Тебе телефон, и потом тебя догоняй, такого борзого? – отозвался тот, к которому он обратился первому.

– Свистел, как пуля, – с сигаретой у губ, хихикая, подала голос одна из женщин.

– Вы окружите меня кольцом – не убегу, – осенило К., как нейтрализовать их недоверие.

А что, идея, в самом деле, в целях безопасности, ха-ха, в кольцо, оживилась, загалдела, возбудилась компания – кто затягиваясь, кто выпуская изо рта дым, – и затолкались, запихали друг друга плечами – двигайся! окружай! – они смотрели на появление К. как на легкое приключение в своей благополучной, радостной жизни, как на забавное развлечение, от которого грех отказываться, и мгновение спустя он и в самом деле был уже в их кольце. Свежий веселый запах хорошего вина, перебивавший запах сигаретного дыма, овеял К., свежий запах хорошего коньяка и джина – как будто бы сама жизнь, которой они жили, дохнула на него.

Кто дал ему телефон, К. не разобрал. Кто-то дал. Он принял

его увесистую пластину в руку, натыкал номер и, поднеся трубку к уху, стал ждать. Произошло соединение. Появились гудки. И долго никто не отвечал. Потом гудки прервались, телефон ожил, и голос отца с хриплой сонной тревожностью произнес:

– Алле! Алле! Слушаю! Кто это?

Так много кричать в трубку ему пришлось, потому что К. никак не мог вытолкнуть из себя первое слово. Напереживались же они с матерью!

– Пап, это я, – сказал он наконец. Отец тут же заблажил что-то в трубке – неверяще, радостно, по-прежнему с тревожностью, – К. пресек его излияния. – Я иду домой, – сказал он. Через полчаса буду. – Отец снова что-то заблажил – К. вновь не стал слушать его. – Буду через полчаса, – повторил он. – Я жив-здоров. Пока. – И отсоединился, отдал трубку – кто протянул за ней руку. – Спасибо.

Кольцо вокруг него не разомкнулось. Компании не хотелось, чтобы их забавное, безопасное приключение закончилось так скоро.

– Так откуда такой? Что там у тебя – «жив-здоров»? – заспрашивали его одновременно в несколько голосов. – Скажи, откройся, тебе, может, помочь нужно? – Их было в компании несколько мужчин – существенный перевес над ним, они, не сговариваясь, согласно чувствовали себя превосходящей силой, кошкой поймавшей мышь, которой никуда от них не деться, и им хотелось с этой мышью вдосталь позабавиться. И активней всех были женщины, звенели, взлетая голосами, как на качелях: – Откуда, ну? Скажи! Не стесняйся!

– Из службы стерильности, – сказал К. – Славное местечко. Хотите, устрою по блату?

Какое молчание ответило ему! Нет, не молчание – как бездна разверзлась. Только без звезд. Но дна не было. Бесконечная молчащая тьма и замершие на месте от схватившего их абсолютного нуля, бездвижные атомы. Кураж радостной, полной сил безмятежной жизни исчез в этой бездне бесследно растворившимся в ней летучим парком, кольцо вокруг К. стало раздвигаться, расширяться – и распалось. Путь был свободен.

– Спасибо за телефон, – уже готовый сорваться с места и лететь дальше, еще раз поблагодарил К.

Но никто не отозвался.

17. Свобода

– Ты правда не бежал? – спросил отец.

– Правда, правда, – отозвался К.

– Нет, действительно правда?

– Да действительно же, действительно – с терпеливой покорностью ответил К. Он был готов к этим вопросам, заранее настроился вынести их, не раздражаясь и не позволяя себе недовольства, – настрадались же его родители! Промучиться три с лишним недели абсолютной неизвестностью, ничего не зная, не имея никаких сведений о нем – будто их сын растворился в воздухе подобно туману!

Последовавшая пауза означала лишь передых перед новым раундом.

– А почему они тебя отпустили? – спросил отец.

К. ждал, что отец спросит об этом. Странно было бы, если бы не спросил.

– Не знаю, – сказал он. – Самому бы хотелось знать. Сообщили, что произошла ошибка, и все.

Он лежал в ванной, уйдя в воду до подбородка, дверь в ванную приоткрыта, отец стоял за нею, с другой стороны порога, в узкой щели между дверью и косяком возникал то один его глаз, то другой. Мать держалась за отцом, и иногда, когда рука отца, державшая дверь, приоткрывала ту случайно чуть шире, он видел за плечом отца ее напряженно тянущееся к щели ухо.

– И теперь ты можешь жить как все, нормальной жизнью? – спросила она из-за плеча отца.

– Полагаю, что да, – сказал К. Бедные его родители, чего они натерпелись…

– Что значит «полагаю»? – перехватил у матери инициативу отец. Он приоткрыл дверь пошире – специально на этот раз – и смотрел на К. из щели обоими глазами – с взыскующей требовательностью. – У тебя есть в том сомнения, что можешь?

– Могу, могу. – К. постарался произнести это с убедительной твердостью. – Жить как все. Быть как все. Дышать, пить, есть. – Нормально ходить в туалет, едва не сорвалось у него с языка, и перед глазами тотчас предстала картина сегодняшнего утра: как он держит бывшего ректора, ставшего стариком, за руки. – Все могу, что все могут, – завершил он.

– А где это ты с Косихиным виделся? – снова подала голос из-за плеча отца, вытягивая шею, мать. – Как вас сподобило встретиться?

О том, что Косихин позволил родителям снова заниматься в

гараже сырниками, К. уже знал от них, как и то, что, разрешив, снизил плату – за гадкое поведение сына! – но им об обстоятельствах своей встречи с Косихиным ничего он не рассказал. А им это, конечно же, знать хотелось, и очень, еще бы у них не было такого желания.

– Там виделся, – сказал он коротко. – Где же еще.

– А он там что, – удивился отец, – он-то там что?

– В гостях он там был, – с прежней короткостью ответил К.

– Зря ты… Не следовало с ним… – сплетясь голосами, попеняли К. отец с матерью.

Теперь К. не поспешил откликнуться на их слова.

– Давайте, вроде я отмок, буду, пожалуй, вставать, мыться под душем, – сказал он затем. – А вы давайте ложитесь уже. Вам утром рано к себе в гараж. Ложитесь.

На самом деле ему хотелось побыть в воде еще, он не набылся в ней, не набрал в достатке ее первородной животворящей силы. Но разговору с родителями, наверное, не могло быть конца, и только прервать его.

– Хорошо, ладно, – проговорил в щели отец, – в самом деле… может быть, удастся заснуть… поспим.

Он закрыл дверь, К. дотянулся до пробки в сливе, выметнул ее на край ванны и с плеском, шумя бурно стекающей с тела водой, поднялся. Делать было нечего, раз сказал «душ» – следовало к нему переходить.

Когда он проснулся, солнце, бившее по утрам в сроки его обычного пробуждения прямо в глаза и заполнявшее собой всю комнату, переместилось уже в угол. К. чувствовал: на самом деле он не проснулся, он мог бы спать еще и еще… но солнце, ушедшее в угол, заставило его тотчас же скинуть ноги на пол. Такой большой день был впереди, столько предстояло сделать!

Отца с матерью, как того и следовало ожидать, дома не было. На завтрак ему на кухонном столе стояли в миске, закрытые прозрачной крышкой… что могло стоять? сырники, конечно, стояли, что еще! Сделанные руками отца с матерью косихинские сырнички…

Но прежде всего, почистив зубы и умывшись, К. схватился за телефон. Побывавший в чужих руках, исследованный, наверно, вдоль и поперек, мобильный его зарядился за ночь, экран загорался, кнопки от прикосновения к ним отзывчиво попискивали.

Номер привереды, однако, не отзывался. К. набрал его трижды, и каждый раз семплированный голос уведомлял с бесстрастной вежливостью: «Абонент не отвечает. Перезвоните позже». Что мог значить ее неответ? Ведь она же видела, что это

звонит он. Или не могла ответить? Или телефон был где-то, не с ней? Жар тревоги вспыхнул и начал заливать К. А если с ней случилось что-то вроде того, что с ним? Ведь она – он только сейчас вспомнил об этом! – была лишена *допуска*…

Торопясь, К. набрал ее рабочий телефон. Рабочий не ответил так же, как и мобильный. Он набрал его еще два раза – эффект был тот же. К позвонил ей на домашний телефон. Вероятность того, что она дома – почему-то не пошла на работу, заболела, лечится, а мобильный удушен упавшей подушкой, и она не слышит его, – была ничтожной, но вдруг? Однако надежда на «вдруг» оказалась напрасной. Домашний бил в ухо теми же длинными гудками.

Давясь, бреясь и одеваясь одновременно, К. позавтракал на ходу сырниками и выскочил из дома. Первым делом в планах его на сегодня было отправиться в университет, но теперь он переменил свои намерения. Теперь ноги несли его в мэрию. Подняться к ней на этаж, пройти прямо в ее комнату – это исключалось, его бы не пропустила охрана внизу, но оставалась еще одна возможность связаться с ней (если еще работала там) – ее внутренний рабочий телефон.

Фойе главного входа мэрии было огромно, как футбольное поле. Только в отличие от умиротворяющей глаз зеленой травы футбольного поля оно было выстлано белыми мраморными плитами, белым мрамором были отделаны стены – все сияло, сверкало, ослепляло, и даже стойка рецепции вдали тоже была из мрамора. Лишь четверо-пятеро посетителей с терпеливой унылостью сидели на палевых мягких банкетках, строчкой тянувшихся вдоль стен, они терялись в футбольных просторах фойе, и оно выглядело пустынным.

Двое охранников в зеленой камуфляжной форме с автоматами на животах, обретавшиеся возле рецепции, при появлении К. оживились, выступили вперед – словно заранее, хотя он и не выказал такого намерения, преграждали ему путь в глубь мэрии.

Телефоны внутренней связи висели аккуратным рядком в прозрачных пластиковых кожухах на одной из стен. К. прошел к кожухам, втиснулся в один из них и снял с аппарата трубку. Номер внутреннего телефона привереды, как и все прочие ее номера, был врезан в его память отчетливее заповедей на Моисеевых скрижалях.

Трубку сняли! Мгновение, пока трубка следовала к уху того, кто ее снял, К., не веря тому, что она поднята, боясь, что это не привереда, успел многократно повторить про себя, чтобы разочарование, которое предстоит пережить, не оказалось уж

слишком болезненным: ну и другой, ну что же, другой…

Но это была она, привереда. Ее голос. Слушаю вас, начав с добавления своей должности и фамилии, произнесла она с деловитой служебной сухостью.

Слова застряли у К. в горле.

– Говорите, слушаю вас! – уже нетерпеливо повторила привереда.

О, какая родная, какая любимая, какая головокружительная была, эта ее интонация. К. даже почувствовал в сердцевине той зернышко затаенного негодования – неслышное чужому и явное ему, – которым преисполнилась она в адрес своего затаившегося телефонного собеседника. И увидел, как строго поджались у нее при этом губы, как встала преддверием решительного действия над переносицей вертикальная складка. Привереда, это была она, привереда! Опустит сейчас трубку и, сколько еще ни звони, больше уже не поднимет, пусть это и внутренний телефон.

– Привет, – сумел выдавить из себя К.

Теперь молчание в трубке было ответом ему. Привереда узнала его, не могла не узнать. Но почему она молчала? Боялась говорить с ним, опасаясь своих коллег в комнате?

– Привет, – повторил К. – Это я. Я здесь, внизу. По другим телефонам я тебе не мог дозвониться.

– Да, и что? – прервала она наконец свое молчание.

Это было все, что она могла ответить на его сообщение, что он рядом с нею, всего лишь несколько маршей лестницы разделяют их, она не собиралась опрометью слететь к нему?

– Я здесь. Я хочу тебя видеть. Спустись ко мне, – сказал он.

– Да, ты здесь, и что из того? – она будто клонировала свой предыдущий ответ, лишь слегка изменив его.

– Я хочу тебя видеть! – шепотом, чтобы никто не мог услышать его, закричал К. – Я пытался до тебя дозвониться и не дозвонился, со мной ошибка, меня отпустили, ты что, не рада?!

– Рада, конечно, – тем же чужим, чуждым бесчувственным голосом ответила привереда. – Поздравляю тебя.

И смолкла. Новое ее молчание в трубке было как вызов, как брошенное ему недвусмысленное предложение завершить разговор, – и никаких объяснений.

Оторопь взяла К. Что-то чудовищное происходило, как бы разлом земной поверхности чувствовал он под ногами, и сам он находился на одной стороне трещины, привереда на другой, трещина становилась все шире, шире, все дальше и дальше относило их друг от друга.

– Рада, но видеть меня не хочешь? – произнес К. то, что она, не сказав, сказала, переложив обязанность произнести свое

признание вслух на него.

– Да, ни к чему, – тотчас, как подтверждая, что именно этих слов ожидала, отозвалась она, и ухо К. зажалило быстрыми частыми укусами коротких гудков.

Он стоял с трубкой в руке и не мог сообразить, что должно сделать с ней. Наконец К. повесил трубку на рычаг и медленно, вперед спиной, выдвинул себя из пластмассового кожуха. Повернуться лицом к футбольному полю фойе было все равно что взойти на Эверест. Он совершил усилие и повернулся.

Все было по-прежнему на мраморном футбольном поле. Дежурные в камуфляже с автоматами на животах, держа их обеими руками за цевье, смотрели на него от рецепции. Посетители на палевых диванчиках продолжали сидеть – никто не ушел, ни к кому из них никто не вышел. К. стронул себя с места и, слыша наждак своих шаркающих шагов по мраморному полу, медленно, как выпячивался из кожуха с телефоном, двинулся к выходу. Около высоких дубовых дверей входа висела доска объявлений, все ее полотно занимала изготовленная вручную цветная афиша, через весь лист наискосок, крупными буквами, с восклицательным знаком в конце было написано «Футбол!». К. миновал доску, потянул ручку двери – и оставил ее, отступил на несколько шагов назад, чтобы посмотреть на объявление о футболе еще раз. Что-то зацепило его в нем. Состоится футбольный матч женской команды мэрии, перечитывал и перечитывал он, с женской командой службы стерильности… В девятнадцать часов… сегодня. Стадион… Женской команды мэрии… Странно, почему не мужских, а женских команд? А, вспомнил К., это недавно служба стерильности опубликовала исследование, что женщинам стало трудно рожать из-за низкой родовой деятельности и призвала повсеместно вовлекать женщин в спорт, чтобы развивать мышцы. Настоящая стерильная женщина должна иметь хорошую родовую деятельность, как-то так, такими словами заканчивалось изложение исследования. Судя по всему, решили начать с себя. Подать пример.

За спиной зазвучали шаги. Приблизились и смолкли около К. К. повернулся. Перед ним стоял один из охранников с автоматом.

– В чем вопрос? – спросил он К.

Должно быть, поведение К. в фойе: нервическое топтание с трубкой у телефона, попытка покинуть мэрию, завершившаяся новым, непонятным топтанием около входа – все это показалось им с напарником чем-то подозрительным.

К. быстро ступил к двери, оттянул ее, ввинтился в образовавшийся проход, открыл вторую, вышагнул на крыльцо,

стремительно застучал по ступеням вниз. И тут, когда сбегал по ним, мысль, что зацепила его, явилась наконец ему в своем содержании.

Пойти на этот матч, вот что! На матче нужны болельщики – поддерживать свою команду, для того и висит афиша, чтобы напомнить всем мэрским: после рабочего дня – на стадион. Всю мэрию, наверно, туда не погонят, но молодых сотрудников – непременно, и привереда, разумеется, будет в их числе. Матч товарищеский, и вход почти наверняка свободный, а если и не свободный – сделать все, чтобы проникнуть. И уж когда они окажутся лицом к лицу, у привереды не будет возможности уйти от разговора.

Нет ничего хуже неопределенности. Принятое решение омыло К. свежей водой, он почувствовал прилив сил, бодрость и воодушевление исполнили К. – он был готов осуществлять намеченный план дальше.

Теперь, наконец, на очереди был университет. Числившийся сначала в его планах под номером первым и замененный на мэрию. Что ждало его в университете? Он действительно был уволен, как ему пообещали на том пиру под сосцами Капитолийской волчицы и завкафедрой, и сам новый ректор, или то были просто угрозы?

Университет, только вошел в него, обдал прохладой, тишиной, пустотой: сессия закончена, ни студентов, ни преподавателей – никого. Лишь далекий запах масляной краски витал в гулких коридорах слабым отражением идущего где-то, невидимого ремонта. К. шел и слышал звук своих шагов, отдававшихся беглым эхом о коридорные плоскости.

Он направлялся к себе на кафедру. С чего было начинать, как не с нее. Если там закрыто – тогда в деканат, в деканате точно кто-то окажется, если же ничего не прояснится и в деканате – придется, как то не хочется, идти в ректорат.

Дверь кафедры, когда он потянул за ее ручку, противу его ожидания поддалась. В комнате кафедры кто-то был!

К. распахнул дверь и вошел внутрь.

Комната была пуста. И только в углу за столом секретаря кафедры, где прежде обреталась современница Древнего Рима, сидело новое лицо: мумифицированное годами до сухости вяленой воблы маленькое создание женского рода с редким пушком собранных на затылке жидким узлом седых волос, через которые желто светился череп, сморщенные верхние и нижние веки почти соединялись друг с другом, оставив для глаз едва заметную щель, губы были сжаты в тугой сфинктер и сурово выпячены вперед птичьей гузкой. Это создание было еще древнее

современницы Древнего Рима, она, пожалуй, застала еще пору строительства египетских пирамид.

– Добрый день – поздоровался К. – Простите, вы новый секретарь кафедры?

Современница египетских пирамид пошевелила гузкой своего сфинктера. Возникновение К. в комнате явно было ей не по нраву.

– В чем дело? – проскрипела она через некоторое время. У современницы египетских пирамид и должен был быть такой голос – голос ожившей мумии, пролежавшей в саркофаге несколько долгих тысячелетий.

– Простите, – повторил К. – Я сотрудник кафедры, я находился… в отъезде, – так у него сказалось: «в отъезде», – секретарем кафедры был другой человек… а теперь вы?

– В отъезде? Сотрудник кафедры? – проскрипела современница египетских пирамид. – Не знаю никого, кто в отъезде. – После чего полезла все-таки в полку под столешницей и достала лист со списком сотрудников кафедры. – Как фамилия? – уставила она на К. свои глазные прорези.

Является ли секретарем кафедры – она так того и не подтвердила.

К. назвался. Ведя высохшим указательным пальцем по списку, современница египетских пирамид прошла его сверху донизу, потом снизу вверх, после чего убрала лист обратно на полку под столешницей и вновь подняла свои глазные прорези на К.

– Нет такого. – В голосе ее прозвучало злорадное уличение его в самозванстве.

Что же, этого следовало ожидать. Значит, обещание завкафедрой и нового ректора, сделанное на пиру, было не пустым звуком. Однако К. требовалось выяснить еще одну вещь, чтобы понять, как действовать дальше.

– А когда будет? – он назвал имя завкафедрой. Сыновьим чувством переполняло его еще совсем недавно при встречах с ним. – В отпуск еще не ушел?

Благоговейным трепетом осветилось лицо современницы египетских пирамид. Но отказать себе в удовольствии обдать К. презрением она не смогла.

– Не будет его! – сказала она надменно. Удивительное сходство со своей предшественницей проглядывало в ней. – Кафедрой теперь заведует другой человек.

– А прежний где же? – Задавая этот вопрос, К. уже провидел ответ, только не в его воле было определить степень взлета своего бывшего шефа.

– Он теперь референт мэра! – Благоговейный трепет выместил на лице современницы египетских пирамид все прочие

чувства. Референт мэра! Такая сияющая вершина!

К. стало ясно, почему его бывший шеф оказался на том пиру. Место за столом самое дальнее, но положение такое, что и главе службы стерильности придется ходить к нему на поклон. А вы знаете, где ваша предшественница? Будьте осторожны! – рвалось у него с языка, но что за гадость – сказать ей такое, все же он лишь подозревал ее в занятиях современницы Древнего Рима, без всяких доказательств.

– Хорошо, позвольте тогда откланяться, – только и сказал он, ступая к двери. – Всего доброго. Успешной вам работы на новом месте.

– Так вам что нужно-то было? – сумела издать слабый крик ему в спину современница египетских пирамид.

Но К. он уже закрывал дверь, уже, собственно, закрыл – и решил не возвращаться, оставив современницу египетских пирамид в неведении. Ничего бы для нее не изменилось от его объяснения.

Удаляясь от двери, ускоряя шаг, он решил, что идти в деканат, как намечал, не имеет смысла. Что там в деканате… ничего не добьешься. Уволить обещал сам ректор, к нему и идти.

В приемной ректора на стульях, тесно расставленных по ее периметру, сидело человек десять. Часть из них была К. знакома: деканы факультетов, главы различных университетских подразделений, в том числе и тот, из-за бронированной двери, с кошачьего склада лицом, должно быть, из-за толсто наросших над губой седых усов, но с благородной, выдающей уважительное отношение к себе осанкой. Все они, когда К. вошел в приемную, обратились к нему взглядом и, пока он шел к столу секретарши, с цепкой пристальностью следили за ним. Ясная охотничья настороженность была в этой пристальности: что значило появление на сцене нового актера, с какой ролью он заявился сюда, не могла ли она помешать исполнению твоей? В глазах же человека с благородной осанкой, встретившись с ним взглядом, К. прочел потрясенное изумление – он не ожидал увидеть здесь К. Да К., по его разумению, просто не должен был здесь появиться!

– Вам назначено? – тусклым голосом, умудряясь одновременно смотреть на К. и мимо него, сквалыжно спросила секретарша, когда он, подойдя к ее столу, поинтересовался, здесь ли ректор и может ли он попасть к нему.

Секретарша ректора не походила на современниц Древнего Рима и поры строительства египетских пирамид с кафедры, скорее это была модель с подиума, чье предназначение – с замкнуто-отрешенным лицом дефилировать в модных нарядах

известных кутерье туда-обратно под жадными взглядами устремленных на нее зрителей, разве что модель, вышедшая по возрасту в тираж и переменившая род занятий. Однако и на новом месте подиумный шарм модели не оставил ее, и тем, как говорила, как вела себя – каждым своим движением она подчеркивала свою прошлую принадлежность миру высокой моды.

– Нет, мне не назначено, – вынужден был признаться К.

– Тогда, извините, он вас не примет, – отрезала секретарша. – Видите, сколько ждут его? – обвела она рукой приемную. – И все записаны. И давно.

У, она был цербер. Цербер в облике модели. К. помнил ее еще со времен прежнего ректора. И вот прежний ректор – в местах, куда можно добраться только вертолетом, а она все так же здесь, при новом шефе. И все такая же.

– Ректора сейчас нет, да? – решил уточнить К.

– Его сейчас нет, – через недолгую, но отчетливую паузу, словно ей приходилось сдерживаться, чтобы не закричать на него, отозвалась секретарша.

– Я посижу подожду с вашего позволения, – сказал К.

Раз приемная была полна, значит, ректор должен был скоро появиться. А даже если и не скоро.

– Он вас не примет, вам нечего надеяться! – Секретарше наконец недостало терпения сдерживаться, и она прикрикнула на него. Голос у нее сорвался, и конец фразы вышел с совершенно собачьим взвизгом. Как если бы ее церберская сущность наглядно явила себя.

– Я подожду, – коротко ответил К.

Не дожидаясь ее очередного ответа, он двинулся к одному из свободных стульев и сел на него. Приемная от всех стен проводила его все теми же охотничье-настороженными взглядами. Человек с благородной осанкой сидел у противоположной стены точно напротив К. Тебя здесь не должно быть, откуда ты здесь?! – надрывались в вопле его устремленные на К. глаза.

Ждать появления ректора пришлось, наверное, полчаса. Не меньше. Он вошел в приемную быстрым, стремительным шагом, не вошел – влетел; так летал, весь сгусток энергии и силы, прежний ректор. Только прежний ректор был более чем не юн, и то, что он летал, рождало впечатление сохранившейся в нем молодости, новый ректор был моложе его едва не на четверть века, и в том, что так летел он, выказывала себя натура, темперамент, природа. Прежде чем даже секретарша успела подняться из-за своего стола, К. взметнуло с его места пущенным

из пращи камнем, и он встал на пути ректора.

– Я к вам не записан, – сказал он, – но у меня к вам разговор.

Ректор смотрел на него и не мог ни понять, кто он, ни узнать его. К. слышал, как уже кричит что-то над ухом, оттирая его от ректора, секретарша, уже шум других голосов стоял вокруг возмущенным птичьим граем.

– Мы с вами виделись под сосцами Капитолийской волчицы, – напомнил ректору К.

И тотчас ректор вспомнил К. Словно землетрясение сотрясло его и рассадило лицо трещиной до самого затылка – невидимой никому, но взгляду К. она открылась во всем своем беспощадном ужасе.

– Вы, вы… – выговорил ректор. – Вы-ы… – И ничего больше не мог он произнести. Трещина, рассадившая лицо, не давала ему говорить.

Гвалт возмущенных голосов стоял вокруг К. «Что вы себе позволяете! Мальчишка! Вы понимаете, к кому обращаетесь?! Пойдите отсюда вон!» – и тянули его за руки, отталкивали, и даже получил он уже под микитки…

– Я вас прошу принять меня прямо сейчас, – сказал ректору К.

Трещина на лице ректора закрывалась. Края ее сходились, прорастали друг в друга – ректор приходил в себя и вот уже взял себя в руки.

– Да-да, – вырвалось у него. Рваный корявый шрам рассекал его сросшееся лицо. – Проходите, – указал он рукой на свой кабинет. – Потом согласно записи, – бросил он секретарше, у которой сделался такой вид, будто она на глазах у всех рухнула с подиума и теперь вскарабкивалась на него обратно.

– А он что же, значит… – пролепетала она, тыча пальцем в К.

– Да, после него, – подтвердил ректор и даже подтолкнул К. к двери своего кабинета: – Проходите, я вам сказал!

Никогда К. не был в ректорском кабинете. И попади сюда в других обстоятельствах – числясь сотрудником, будучи приглашенным на совещание, прием, беседу, – принялся бы осматривать его, фиксируя все подробности обстановки, но сейчас он прошел вслед за обогнавшим его ректором к ректорскому столу, как в сомнамбулическом сне, – ничего не заметив, не обратив ни на что внимания.

– Садитесь, – бросил ректор, указывая К. на стул перед столом и сам усаживаясь в кресло за ним. Резво катнулся вперед, навис над столешницей, выложил на нее руки. – Как вы здесь оказались? – с той же лихой резвостью, с какой катнул кресло, спросил он только еще занимавшего указанное место К. – Надеюсь, законным образом?

– Законным, – сказал К. – Со мной произошла ошибка. Меня отпустили.

Он собирался продолжить: «Прихожу на кафедру – а я уволен», – но ректор не дал ему завершить фразы.

– Так бывает, что отпускают? – пресек он своим вопросом объяснение К.

– Не знаю, бывает ли, – вынужден был ответить К. – Со мной вот так.

– Можете это подтвердить? Бумагой какой-то. Документом.

– Бумагой? Документом? – К. растерялся. Он не думал об этом. Ему казалось, то, что он на свободе, сидит здесь перед ректором – это само по себе свидетельство, подтверждать которое нет нужды.

– Но вы же хотите восстановиться в университете, так? – проговорил ректор. – Вы же за этим ко мне пришли? А как я вас буду восстанавливать? На основании чего?

– Вот он я перед вами. На основании моего появления здесь, – обосновал свою претензию на восстановление К.

Ректор не ответил ему. Он, судя по всему, был совсем не дурным человеком. Некоторое время ректор молчал, словно обдумывая что-то, потом произнес:

– Да? Вот так? – Снова смолк, глядя на К. с непонятным значением, наклонился вбок, вытянул с полки на приставном столике со стоящим наверху переговорным пультом стопку чистой бумаги, положил на стол перед собой, взял с письменного прибора ручку и стал писать на верхнем листе. Написал, развернул лист и подал К.

«Вы были на острове? – было написано там быстрым угловатым, стремительным почерком. – Только не отвечайте вслух! Пишите».

Ректор боялся, что его кабинет прослушивается!

К. потянулся к ручке в руках ректора, тот быстрым движением отдал ее, и К. написал: «Был на острове».

Ректор повернул лист к себе, прочел, взял у К. ручку и написал: «Старого ректора видели? Был он там?» К. прочел. «Был», – написал он. «И как он там?» – написал ректор. Теперь К. ответил пространнее: «Неважно. Тяжело ему. Сразу постарел». – «Дотянет, думаете, до покаяния?» – написал ректор. Должно быть, он испытывал в отношении прежнего ректора нечто вроде чувства должностной солидарности. «Вы знаете о покаянии?» – спросил К. «Я спрашиваю ваше мнение, дотянет ли он?» – было ему отвечено с гневом. «И что из этого, дотянет, не дотянет?» – К. счел возможным проигнорировать ректорский гнев. Ректору хотелось узнать об интересном ему, К. хотел о своем. Другой возможности

встретиться с ректором у него не будет.

Получив вопрос К., ректор понял, что, не ответив ему, не получит ответа и сам. «Из этого – то, – торопливо начертал ректор, – что будет с ним дальше». – «А что дальше, после покаяния? – написал К. – Что становится с покаявшимися?»

Ректор прочитал и не взял со стола ручки. Видно было, что он колеблется. Он хотел определить для себя грань, за которую он может позволить себе заступить. Наконец К. увидел по его глазам, что ректор принял решение. Лист, на котором они писали, почти закончился, ректор отшоркнул его по столу в сторону, снял со стопки новый и стал писать на нем.

«Они участвуют в эксперименте», – прочел К., когда лист оказался повернут к нему. «Каком эксперименте?!» – К. хотелось бы передать на бумаге свое удивление, но он не знал, как это выразить графически, и обошелся лишь восклицательным знаком, добавленным к вопросительному. Ректор замер с ручкой над листом, но затем опустил руку, из-под бегущей по листу ручки слово за словом возникла очередная строка. «Помните, лет тридцать назад была авария на атомной станции?» – тотчас схватили глаза К., как ректор передал лист ему. «Не помню, но знаю», – быстро начертал К. «Ах да, вас же тогда еще не было на свете!» – эти слова ректор не написал и не произнес – это так расшифровал К. его вскинутые сокрушенным движением руки. После чего ректор вновь принялся писать, и теперь писал долго, что-то зачеркивал, что-то вписывал. Вот, передавая его наконец К., молча пристукнул он ладонью по листу. К. взял лист. «Их отвозят туда – и живите там. Как знаете, как получится. Кто выживет, – читал он. – Замкнутая на самое себя структура жизни без выхода вовне. Свое сельское хозяйство, свои производства, своя медицина, образование – какие есть. Кое-что доставляют, конечно, но по минимуму. Женятся, рожают. Умирают, естественно. Эксперимент по созданию человека будущего, устойчивого к радиации».

– Обалдеть! – вырвалось у К. вслух.

Ректор, вмиг налившись яростью, побагровев до ушей, выхватил у него из рук лист, сложил с другим исписанным, разорвал пополам, еще пополам, еще пополам. Бросил клочки на стол, следом за чем откинулся на спинку кресла и откатился от стола.

– Без соответствующих документов о вашем освобождении я вас восстановить не могу! – громко произнес он после этого, с такой канцелярской трескучестью в голосе – не поверить, что мгновение назад вел с К. доверительный беззвучный разговор на бумаге. – Хотите – будем ждать, вдруг придут сами по себе.

Хотите – обращайтесь туда сами. Знаете куда.

Он смолк, ожидающе глядя на К. из такой дали – К. въяве почувствовал это расстояние: как с какого-нибудь Сириуса смотрел на него ректор, с альфа Центавры. Аудиенция закончена, говорил своим взглядом ректор.

К. поднялся и поклонился:

– Мне все понятно. Всего доброго.

– Всего доброго, – отозвался из своей космической дали ректор.

Но тут же подпрыгнул на кресле, катнул его к столу, молча помахал К. рукой: стойте, стойте. Схватил один из клочков разорванных им листов, обернул вверх чистой стороной, взял ручку и принялся что-то уж совсем поспешно писать. Написал, бросил ручку катиться по столу, протянул клочок К.: прочти. К. ступил обратно к столу, взял клочок. «Заберите всю эту писанину, порвите помельче и выбросьте где-нибудь подальше отсюда», – прочел он. Не дурным человеком был ректор. Но не решался даже оставить здесь у себя их переписку.

К. согласно кивнул, так же молча, как ректор писал, разорвал на глазах у ректора клочки пополам еще, еще, сунул их в карман и направился к выходу.

– Но если никакой бумаги не будет, восстановить я вас не смогу, – счел необходимым повторить ему в спину ректор.

К. не обернулся. Ректор сказал это не ему – подслушивающему устройству.

Выходя в приемную, К. услышал голос ректора в переговорном устройстве секретарши. Ректор просил ее приглашать к нему. Приемная была полна жизни: кто-то реакцией на голос ректора встал и бросился к столу секретарши, кто-то пересаживался с одного стула на другой, кто-то, оставаясь на месте, поправлял, подтягивал узел галстука – никому теперь не было дела до К., и он проследовал через приемную, не почувствовав на себе ни одного взгляда. Хотя, оказавшись в коридоре и закрывая за собой дверь приемной, испытал облегчение, похожее на то, как если бы нес-нес на пределе сил некий груз и вот наконец донес, освободился от него.

Оставалось последнее из намеченного на сегодня, если не считать вечернего похода на стадион: друг-цирюльник. Можно было ему позвонить, но К. хотелось прежде их встречи увидеть его салон: удалось восстановить, не удалось? Может быть, на месте салона друга-цирюльника был уже какой-нибудь фитнес-клуб. Или прачечная. Или магазин экологической еды. Если это случилось, совсем другой будет их встреча, и следует к ней подготовиться. Знать, по крайней мере, что салона у друга-

цирюльника больше нет.

Красный кабриолет друга-цирюльника в общем стаде припаркованных к тротуару автомобилей он увидел еще издали, когда до салона оставалась добрая сотня метров. Но все же он не был дальнозорок, как привереда, наоборот, близорук, может быть, очки элементарно подводили его? Если то и в самом деле был кабриолет, это было хорошим знаком: будь салон уже в чужих руках, что бы делать здесь другу-цирюльнику? К. в нетерпении прибавил шага – скорее, скорее увидеть, действительно ли это кабриолет друга-цирюльника, висит ли над дверью вывеска салона?

Это был кабриолет друга-цирюльника. Не просто какая-то ярко-красная машина (вокруг почему-то сплошь стояли черные), а именно его кабриолет. И над дверьми, которые К. видел в последний раз выдранными целиком из стены вместе со своими бронированными стеклами, висела вывеска салона, а в окна заново вставлены большие, солнцезащитные зеркальные стекла, и были они, как прежде, расписаны рекламными слоганами и в силуэтах изящно причесанных женских головок и элегантных мужских.

К. замедлил шаг. Эта сторона улицы была сейчас полностью на солнце, оттого немноголюдна, тротуар просматривался далеко насквозь, около дверей салона, в отличие от того, как то обычно, никого не обреталось (обычно три-четыре, пять человек из ждущих своей очереди выходили наружу, курили или просто предпочитали времяпрепровождение на открытом воздухе времяпрепровождению внутри), лишь поодаль на краю тротуара, обратившись к К. спинами, обретались с бездельным видом двое в белых рубашках с закатанными рукавами, разговаривали с кем-то невидимым в одной из припаркованных к бордюру черных машин. Не задерживаясь около дверей, чей нынешний вид нисколько не напоминал о том, что было здесь три с небольшим недели назад, К. распахнул их – внешнюю створку, внутреннюю – и ступил внутрь.

Стук молотков и зубоврачебное визжание дрелей обдали его. Ремонт шел в салоне – вот почему никого не толклось на тротуаре около дверей! Снаружи ремонт был завершен, а внутри еще продолжался. Впрочем, обои уже были обновлены, восстановлены покореженные панели, запах краски витал в воздухе, но слабый, остаточный, – скорее всего, вешали зеркала, крепили рабочие столы, мойки, фены. К. миновал пустой, не обставленный пока мебелью холл, вышел к первому залу – он не ошибся: середина зала была завалена распечатанными и нераспечатанными картонными коробками, в распечатанных

виднелось куафёрское оборудование, а около стен возились, сверля, стуча и крутя отвертками, рабочие в синих комбинезонах.

– Закрыто, закрыто! – запретительно замахал руками на К., пошел ему навстречу решительным шагом человек в белой рубашке с галстуком – по всей видимости, руководитель работ. – Дня через три, через четыре!

– Я к владельцу, – сказал К. – Он ведь здесь?

Друг-цирюльник был здесь, иначе бы его кабриолет не стоял напротив салона.

– Он сейчас занят, занят, – наступая на К., продолжил махать на него человек с галстуком. Галстук был интенсивно-зеленый, ярко-шелковый, давивший ему шею тугим узлом, несмотря на жару, – его хозяин демонстрировал своим галстуком независимость, свободу, уверенность в себе. – Занят, просил его не беспокоить, удалитесь! – И уже не просто махал руками, а подталкивал К. к выходу – с настоятельностью, непререкаемостью, – руководителем ли ремонтных работ он был?

– Вы воздержитесь от рук! Вы кто такой? Владелец мой друг, я к другу! – попытался противостоять ему К., но из соседнего зала возник и бросился к ним еще один такой же в белой рубашке и с галстуком, только у этого галстук был фиолетовый, как предночное небо; два руководителя работ, одетых будто под копирку, только с разного цвета галстуками, – это было довольно странно. А еще и за спиной у К. обвалом прозвучал нарастающий стук каблуков, он глянул через плечо – третий в белой рубашке налетал на него, с галстуком, как и у двух других, туго сидевшим узлом под шеей, полдневного небесного ультрамарина был у него галстук; трое руководителей работ – это уже было с излишком, кем-то другими они были или это друг-цирюльник нанял себе охрану? – Вы сообщите обо мне! Даже если он занят, пусть знает, что я здесь! – успел еще выдать, обращаясь к зеленогалстучному К., но никто его не слушал.

– Как пропустили? – вопросил зеленогалстучный того, что появился у К. со спины, с галстуком полдневного ультрамарина.

– Проскользнул, – обвиняюще резанул ультрамариновый.

– Мудачье, – непонятно в чей адрес процедил зеленогалстучный.

– Никуда я не проскальзывал, – начал было возмущенно оправдываться К., но уже был зажат ими троими со всех сторон, и его живо-живо, заставив ускоренно переставлять ноги, повлекли к выходу, протащили через холл, просунули в двери и выставили на улицу.

Зеленогалстучный с тем, у которого был фиолетовый галстук, остались внутри, а набежавший со спины ультрамариновый

вытиснулся на улицу вместе с К.

– И подальше отвали, чтоб не схлопотать неприятностей! – сказал он К., становясь у двери и перекрывая ее собой.

Рядом с К. возник еще один в белой рубашке и с галстуком. У этого галстук был насыщенного болотного цвета, яркий шелк его блестел, как мокрый.

– Вали, тебе сказано, – с ласковой угрозой проговорил он, поправляя закатанные к локтю рукава рубашки. – Не понял?

К. медленно приходил в себя. А ведь эти двое, тот, что подлетел сзади в салоне, ультрамариновый, и этот, болотный, – это те самые, которых он видел, подходя к салону. Только они стояли к нему спиной, разговаривая с кем-то внутри машины, и закатанные рукава их он видел, а галстуков нет. Но что это все значило? Единственное, что он понимал, – следует отнестись к их словам серьезно и убраться отсюда.

Все же отойти от салона дальше, чем на полусотню метров ему не удалось. Ноги останавливались, останавливались – и остановились. К. зашел за угол дома, выглянул оттуда. Теперь эти двое с засученными рукавами застыли у самых дверей салона. К. постоял-постоял, наблюдая за ними, и решил звонить другу-цирюльнику. Теперь можно было и позвонить: что бы странное вокруг салона ни происходило, с самим салоном у друга-цирюльника все было в порядке. Телефон друга-цирюльника, однако, не ответил. Гудок прозвона следовал за гудком – безрезультатно. К. выждал немного и позвонил еще раз. Все повторилось. Кабриолет стоял у салона, в самом салоне шел ремонт, название салона не изменилось, – а друг-цирюльник пропал.

К. настроился околачиваться здесь на углу сколь угодно долго, но выдержки его не понадобилось. Прошло, может быть, минут шесть-семь, точно не больше десяти, – и на пустынном тротуаре около салона произошло оживление. Из черных автомобилей, окружавших красный кабриолет друга-цирюльника, будто по команде (да наверное, и действительно по команде), посыпались – выпорхнули бабочками-капустницами – такие же белорубашечные, с цветными галстуками, как эти, что стояли у дверей салона, как те, которых К. видел внутри, в одно мгновение рассредоточились на всем пространстве напротив дверей, выстроились коридором. После чего двери салона распахнулись, из них вылетел (выпорхнул!) зеленогалстучный, огляделся, сунулся обратно к дверям, и тотчас изнутри, на ходу надевая темные очки, вышагнул высокий, массивнолицый человек в сером просторном костюме, даже издали отливавшим шелковым блеском, с таким же серым блестящим галстуком в белогрудом

вырезе между лацканами, и за то мгновение, что он надевал очки, К. узнал его: это был глава службы стерильности. Не созерцай он его вблизи на пиру рядом с мэром, знай лишь по портретам, он бы его не узнал, но сейчас хватило мгновения. Волосы у главы стерильности подобно его костюму с галстуком шелково сияли свежим лаком, как у модели, – он стригся в салоне! И стриг его… кто его, должно быть, стриг?!

В ближайшем от дверей салона черном автомобиле, единственном, из которого никто не вылетал, открылась задняя дверь, начальник стерильности быстрым стелющимся шагом пересек тротуар по выстроившемуся бело-галстучному коридору и скрылся в ней – как нырнул. Тотчас вся белорубашечная толпа ринулась обратно в свои машины, прыгнул в одну из них, заметнув от скорости галстук на плечо, зеленогалстучный, прохлопали, закрываясь, двери, и вся чернолаковая орда, окружавшая красный кабриолет друга-цирюльника, форсажно взревев моторами, одна машина за другой, рванула с места и, стремительно удаляясь, полетела по дороге. Вокруг красного кабриолета друга-цирюльника образовалась пустота, он словно осиротел.

К. перевел дыхание. Не заметив того, он его затаил. Впервые ему пришлось наблюдать такое. Оказывается, телохранители главы стерильности ходили совсем не в беретах. В галстуках, как и он. Вот они какими были!

К. снова извлек из кармана телефон и, собираясь звонить, взглянул на двери салона. Они были распахнуты, и за стеклянной створкой ясно рисовался силуэт друга-цирюльника. Должно быть, он вышел вслед за главой стерильности, и сейчас стоял, провожая взглядом умчавшуюся кавалькаду.

К. нажал кнопку дозвона и с трубкой, прижатой к уху, зашагал к другу-цирюльнику. Ноги просились побежать, но некое чувство, назвать которое он бы не решился, не позволяло ему сделать того. В центре этого чувства было воспоминание об их последней встрече – здесь, в разгромленном салоне. Какой скрипучий был голос у друга-цирюльника! «Ты хочешь всех вокруг себя с собой в омут?» Не помнилось – и помнилось. И помнилось куда ярче, чем бы хотелось.

Прижатая к уху трубка зазуммерила длинными сигналами. Друг-цирюльник, видел К., собравшийся уже заходить внутрь, остановился, достал из кармана телефон, посмотрел на дисплей. Он посмотрел на дисплей – и увидел на нем имя К., что еще он мог там увидеть. Рука с телефоном у него упала вниз, он вскинул вверх голову, постоял так, потом опустил ее и, подняв руку, снова посмотрел на дисплей. К., приближаясь к нему, но не

приблизившись еще настолько, чтобы слышать звонки его трубки, наблюдал за всей этой сценой, как если бы та происходила на экране в немом кино. Посмотри в мою сторону, посмотри, послал мысленную просьбу К. Друг-цирюльник, изнеможенно покачав рукой с зажатым в ней телефоном, ступил шаг вперед, шаг назад, выступил из-за бликующей на солнце пластины двери, развернулся в движении лицом к К. К. вскинул вверх свободную руку и замахал ею. Ни единой души не было между ними, человек, машущий рукой, не мог не привлечь внимания друга-цирюльника, он должен был увидеть К.

Друг-цирюльник увидел. К. понял это по тому, как тот вдруг замер. Замер и следом – словно от К., хотя между ними оставалось еще добрых два десятка метров, изошло некое давление – попятился. Натурально попятился! Выражение судорожного недоумения появилось на его лице. К. отнял трубку от уха и выключил вызов номера.

– Вот это да, – с той же судорожной недоуменностью, что была на его лице, сказал друг-цирюльник, когда К. еще только подходил к нему. – Надеюсь, ты не убежал?

Точно этот же вопрос задавали ему отец с матерью. К. отвечал, а они не верили ему и все уточняли, уточняли…

К. подошел и раскинул в стороны руки.

– Может, обнимемся?

Друг-цирюльник среагировал на его предложение движением, которое больше свидетельствовало о желании отстраниться, чем податься навстречу.

– Так сбежал?

К. опустил руки.

– Нет, там не сбежишь. Отпустили. Ошиблись со мной. Не я имелся в виду.

Друг-цирюльник смотрел и не верил.

– Так бывает? – с сомнением спросил он. – В смысле, – поправился он торопливо, – что они прямо вот так признаются в своей ошибке?

– Не знаю, бывает ли, но со мной вот да.

Подвижное, выразительное лицо друга-цирюльника все так же свидетельствовало о его сомнении в словах К.

– Они тебя отпустили как живца, – проговорил он через паузу. – Чтобы выловить через тебя других. С кем ты станешь общаться.

К. внутренне передернуло. Он не мог и предположить, что его свобода может быть расценена таким образом.

– И что ты этим хочешь сказать?

Лицо друга-цирюльника сыграло сложную беглую гамму

чувств и так же быстро все их с себя смело.

– То, что, если ты человек чести, тебе не следует ни с кем общаться.

У К. вырвался смешок. Словно неудержимо смешно ему стало.

– То есть ты со мной общаться не будешь, это ты хочешь сказать?

– Следует воздержаться. – Голос у друга-цирюльника стал скрипучий – будто рассохшееся дерево было у него вместо связок, – таким же голосом он говорил тогда, в последний раз, как они виделись. – А поживем – увидим.

– Но чего тебе бояться? – Инерция гнала К. с его вопросами, когда следовало повернуться и уйти. Но невозможно было уйти. Вот так просто, после стольких лет дружбы, такой их близости, ближе, чем братская, – взять и уйти, крест на всем, черный квадрат, как не было? – Я вижу, тебе позволили сделать ремонт, все у тебя нормально. И даже глава службы стерильности теперь у тебя стрижется. Ты его стриг?

– Я, – подтвердил друг-цирюльник. Выразительное его лицо не могло скрыть довольства, которое он испытал, отвечая К. – Нелегко мне было его заполучить. Очень хороший мужик, должен отметить. Свойский, простой. Демократичный. Я хотел прекратить ремонтные работы, чтобы не шумели, пока стригу его, он не позволил: нет-нет, пускай работают, не хочу, чтобы из-за меня…

– И с эсперанто все урегулировал? – К. помнил, что было написано на кабинетном зеркале друга-цирюльника, единственном оставленным целым: «Ты, поц, со своим эсперанто…» – Больше не подозрительный момент в твоей жизни?

Лицо у друга-цирюльника приобрело удивленное выражение.

– Какое эсперанто? Не выдумывай! Это что такое?

– Ты шутишь? – К. было непонятно: шутил он, всерьез? – Не знаешь, что такое эсперанто?

– Не знаю, не знаю, не знаю! – с настоятельностью трижды повторил друг-цирюльник. – И знать не хочу!

Он не хотел знать о своем бывшем увлечении, и о К. он тоже не хотел знать. Ни о нем, ни его.

Что же ему сказать напоследок, что такое ему сказать, крутилось в голове у К. Но не было в нем никакого прощального, колоритного слова, и он, ступив к другу-цирюльнику, просто хлопнул его плечу, сам не понимая – сочувственно, сожалеюще, ободряюще ли? – молча повернулся и повлек себя прочь от салона.

Друг-цирюльник тоже не сказал ему больше ни слова, и К.

даже не знал, стоит ли, смотрит ли ему вслед или ушел.

Солнце било в глаза, заставляло щуриться, улица была урезана со всех сторон в подобие слепящей танковой щели, и это раздражающее неудобство доставляло болезненную радость: оно умеряло горечь от их встречи с другом-цирюльником.

18. Теплоход

– На матч? – спросил околачивавшийся у турникетов старик – вылущенный годами, как гороховый стручок, до одной кожной оболочки, прилипшей к костям, но в красном, вздыбленном, как положено, острым заломом в небо форменном берете на голом пятнистом черепе. Казалось, из него бы следовало сыпаться песку, однако же нет: проворным и скорым движениями он оказался – бросился к К. и перегородил ему дорогу весьма живо и бойко.

– На матч, – подтвердил К., стараясь, чтобы голос его звучал как можно обыденней. Он опасался, что старик-дежурный может его не пропустить. Объявленный в афише стадион принадлежал не городу, он был службы стерильности, билетов на него не продавали, и присутствие чужаков на его трибунах могло считаться нежелательным. Ждать же привереду около входа… А если он проглядит ее? Если увидит в последний момент, когда она уже входит внутрь и зови, кричи ее – возьмет и не пожелает, как то сделала по телефону, с ним разговаривать? Лучше всего, казалось ему, обосноваться на трибунах, недалеко от входа: даже если станет втекать толпа, турникеты рассекут ее, – почти наверняка он не пропустит привереду.

– Чего так рано? – Ветеран службы стерильности (хотя, конечно, службу он начинал еще совсем не в ней) был вроде вполне благожелателен, может быть, подумал К., он остановил его не для того, чтобы не пропустить, а просто ему было скучно и хотелось помозолить языком. – Час еще до начала!

– Да хочу место занять, – по-прежнему стараясь расположить к себе старика, сказал К. Загодя он так пришел все потому же, что не был уверен, будет ли пропущен. В случае, если не будет, останется время поискать возможность проникнуть на стадион, минуя центральный вход.

– Чего его занимать: вон полно мест, – махнул ветеран рукой на вздымающуюся над зеленым овалом игрового поля подкову трибун. – Неужели столько придут? Не придут.

– Хорошее место, я имею в виду, – нашелся К.

– А, если хорошее, – согласился ветеран. – На ВИП-ложу только не покушайся.

– Не по Сеньке шапка, – ответствовал К.

– Во-во, – поддержал его шутку ветеран. Он явно был настроен вполне благодушно; похоже, ему и в самом деле всего лишь хотелось позвенеть языком. – Не в свои сани не садись.

К. позволил себе поинтересоваться, настрой ветерана, казалось, позволял это:

– А что, прямо ВИП-гости должны быть?

– Мне не докладывают. – Ветеран переменился в одно мгновение. Благодушие отлетело от него – как того и не было. – А сам-то откуда? – спросил он следом. – Из наших? – Он поднес руку к берету и коснулся его. – Или из этих, из противников?

К. предпочел бы не отвечать на такой вопрос. Что можно было ждать реакцией от ветерана? Причем как ни ответь.

– Что уж вы, какие же мэрские противники? – ответил он дипломатически.

– Так на поле-то встречаются, как не противники? – Ветеран, кажется, проникался все большей неприязнью к К.

– Невеста у меня играет, – осенило К., как развернуть их разговор, пошедший кривым путем. – Пришел болеть. Затем и хочу занять место получше.

– А, за невесту! – Ветеран разом оживился. Даже и благостное выражение появилось на его иссохшем стручковой лице. – Положительное дело – за невесту! В какой команде?

– Мэрской, – вынужден был признаться К.

– Мэрской? Ну ничего, – как пожалел его ветеран. – Тоже хорошо.

Следовало воспользоваться переменой в его настроении и все-таки прорываться.

– Пойду, – взмахнул К. рукой, показывая в глубь стадиона за металлической оградой. – Займу место.

– Пойдешь? – протянул ветеран. Ему не хотелось отпускать К. Он бы предпочел убить время до появления основного зрителя в какой-никакой компании.

– Да уж да, что же. Пойду, – повторил К., стараясь всем своим обликом изобразить счастливую настроенность на зрительское удовольствие от предстоящего матча.

– Ну, раз неможется, – с сожалением проговорил ветеран. – Невеста раз…

Все возликовало внутри К. Только не поспешить, не побежать, не рвануть изо всех сил, приказал он себе.

Пройти ему под взором несомненно наблюдавшего за ним ветерана пришлось почти до середины трибун, до «лучших мест», хотя расположиться он собирался на самом их краю – поблизости от входа. Он хотел сесть у входа, чтобы держать его в поле зрения и не пропустить привереды. Всего надежней было высматривать ее там. Впрочем, решил К., опускаясь на пластмассовое сиденье, напоминавшее полукорыто, когда появятся зрители, ветеран неизбежно должен будет отвлечься на них, и тогда станет возможно вернуться к началу трибун. Главное – не сводить с входа глаз.

Он сел – и тотчас вновь, как то было до разговора с ветераном, почувствовал желудок. Желудок требовал еды. Даже проурчал по-кошачьи, сообщая о своем желании вслух. Бог знает как давно уже К. завтракал. Еще дома, родительскими сырниками. Следовало поесть, хотя бы для того, чтобы не позориться этим голодным урканьем, когда встретятся с привередой, но поесть он мог, лишь вернувшись домой, – что найдет в родительском холодильнике. У него не оказалось денег. К. отвык от них за время пребывания на острове, настолько отвык от привычной тяжести кошелька в брючном кармане, что, когда кощей возвращал ему удостоверение личности и телефон, и не вспомнил о кошельке. О ключах, которые не вернули, вспомнил, о кошелке – нет. И не вспомнил о нем, выходя сегодня из дома. Он понял, что у него нет денег, лишь в Макдоналдсе, сделав заказ: с вас столько-то, бодро проговорил кассир, ударив у себя на кассе по итожащей клавише, К. автоматическим движением полез в карман и обнаружил отсутствие кошелка. И несколько долгих секунд соображал, что значит его отсутствие и как ему выкрутиться в такой ситуации. Выкрутиться, дошло до него, не получится никак – кто ему что может продать без денег и где ему взять их? Выйдя из Макдоналдса, он посмотрел на часы: нет, если приходить на матч заранее, о возвращении домой к родительскому холодильнику следовало забыть: не успеть. Или примчаться на стадион уже во время игры. К. выбрал голод.

Группа в несколько человек, рябя решетку стадиона, появилась около турникетов, потолклась около них, просочилась через их загораживающую вертушку – и возникла с этой стороны ограды. Забыв о желудке, К. вскочил и, торопясь, двинулся вдоль ряда к началу трибун. Остроты его зрения, даже и в очках, недоставало, чтобы через полстадиона как следует разглядеть лица вошедших. Когда он достиг края трибун, через турникеты протекло еще две группы зрителей. Лучшая часть человечества присутствовала во всех трех, ни в одной, однако, из групп привереды не оказалось.

С занятой им позиции на краю трибун до входа было каких-нибудь метров тридцать, и он теперь прекрасно видел всех входящих. Ветеран, дежуривший с той стороны турникетов, надо думать, уже засек его, но теперь ветерану – засек не засек – было не до того, чтобы выяснять причину перемещения К. с лучших мест на худшие.

Потом через турникеты повалило. Непрекращающийся поток потек к трибунам. Как если бы вся мэрия и вся служба стерильности, до последнего человека, явились по зову афиш болеть за своих футболисток. Все, разумеется, шли на середину,

здесь, на краю, около К., никто не садился, и каждый, проходя мимо, хотя бы просто бросал на него любопытствующий взгляд. Многие беглым взглядом не ограничивались, шли, глядя на него с беззастенчивой энтомологической жадностью – накалывая на взгляд, как на булавку, – словно удивляясь его нахождению в таком месте и пытаясь разгадать загадку. В ответ К. старательно делал вид, что абсолютно равнодушен к этим пристальным взглядам.

Минуло около четверти часа, как стадион стал заполняться. Скоро уже должен был начаться и матч. Привереда все не появлялась.

Привереда не появлялась, зато К. неожиданно увидел пантагрюэльшу. Гигантша несла свое большое, дородное тело с торжественностью парадного выхода царицы на праздничные гулянья подданного народа. Привычного глазу К. красного берета на ней не было (как, впрочем, и ни на одном из зрителей, половина из которых уж наверняка была из службы стерильности), но казалось, голова ее увенчана невидимой короной: с такой величественностью она несла себя. Воспоминание о пережитом унижении дохнуло на К. черным холодом космической бездны. Исчезнуть, испариться, одеться плащом-невидимкой захотелось ему. Но как это было сделать? Повернуться к входу спиной, рискуя пропустить привереду? К. решил остаться сидеть, ничего не предпринимая, – как будет, так будет. Он опасался ветерана, а опасаться следовало отнюдь не его!

Пантагрюэльша увидела К. – и царственный величественный шаг ее сбился. Сделала еще несколько шагов и остановилась. Смятение, скользнувшее было по ее лицу, заместилось негодованием. К. старался не смотреть на пантагрюэльшу – и смотрел, вместо того чтобы наблюдать за входом. Она притягивала к себе его взгляд, словно большой магнит маленькую железную крошку. Не кощей был олицетворением его пребывания в подземном царстве службы стерильности, – она.

– Кого я вижу?! – воскликнула пантагрюэльша с тем негодованием, что выразилось на ее лице. – Это почему здесь?!

Но уж что-что, а отвечать ей К. не собирался. Маленькая железная крошка в нем осилила себя наконец оторвать от нее взгляд и вновь обратить его в направлении входа. Поток вливавшихся вовнутрь не ослабевал, замершая у самого подъема на трибуны пантагрюэльша запрудила ему дорогу, и все, двигавшиеся за ней и вынужденные тоже остановиться, следом за ее вскриком воззрились, как и она, на К. – он разом оказался в фокусе десятков устремленных на него глаз. Они физически

давили на него, сжигали его подобно пойманному увеличительным стеклом солнечному лучу, сконцентрированному на нем самой своей горячей точкой.

– Что молчишь, голубчик? – В голосе пантагрюэльши возникла вдруг затаенность. – Ты здесь сам по себе, голубчик, или тебя под конвоем?

Заорать на нее благим матом, вскочить, подскочить и изо все силы… Все в К. дрожало, он едва удерживал себя. Железную крошку в нем снова неудержимо повлекло к магниту, – взгляд К. опять оказался на пантагрюэльше… о, что он готов был сделать с ней, все в нем горело!

– Отдохни, голубушка, – сказал он, слыша, как – оттого что сдерживается – корежит ему голосовые связки. – Насладись матчем. Поболей. Поблажи погромче.

– А, голубчик! – воскликнула пантагрюэльша. Улыбка проницательности осветила ее лицо. – Понятно! Посчитали, что ошибочно тебя взяли! Ага? – Толпа, накопившаяся за нею, начала обтекать ее, протискиваться между пантагрюэльшей и отделявшей трибуны от поля решетчатой деревянной загородкой, но, протиснувшись, все почитали необходимым идти дальше, по-прежнему глядя на К. – Ладно, голубчик – изрекла пантагрюэльша. – Не ты первый, не ты последний. Видали мы таких, которых ошибочно. А потом – оп! и снова у нас как миленькие. И никакой ошибки! – Язык ее выскользнул из-за губ и быстрым движением плотоядно обметнул их. – Встретимся еще. Жди!

Продли она свой монолог на мгновение дольше – и К. наверняка разорвало бы от его молчания в клочья, бог знает что сорвалось бы с его языка. Но пантагрюэльша смолкла и, потеснив своим могучим телом тех, кто в этот момент пытался протиснуться мимо нее, двинулась вдоль трибун к середине их полуовала, куда устремлялись и все.

Еще несколько долгих мгновений, как она понесла свое дородное тело дальше, К. сидел, не находя сил вернуться к прежнему занятию – слежению за входом. Привереда могла за это время уже войти и даже достичь трибун, а он все не мог привести себя в порядок. Но наконец он обратил взгляд в сторону входа. Боже! Первое же лицо, на которое упал взгляд, был не кто другой, как конопень.

Конопень только что ступил на территорию стадиона, миновав раствор двери. Он шел крупным, неспешным шагом, битюжья уверенность и тяжесть были в этом шаге, хозяин и повелитель шагал по земле, ее владетель, так это и читалось в его походке, во всей его стати. В руках у него был толстый,

сложенный из разных цветов и трав букет, схваченный фигурно обрезанной по краю – как бы застывшая волна – серебристой бумагой.

Но самое главное, он неизбежно должен был, как и пантагрюэльша, увидеть К. Через полминуты, через минуту… Этого К. было уже в избытке. С него достало одной пантагрюэльши. К. ничего не решал для себя – покидать свое место в начале трибун, не покидать, – его подняло с кресла (словно пушинку порывом ветра!) и понесло по проходу между рядами сидений к середине трибун. Он мог проворонить привереду, да, но встретиться с конопенем… нет, это было невозможно.

К. остановился, лишь достигнув сектора, что был самой серединой трибун, – так несло подхваченную ветром пушинку. Продвигаясь к середине, чтобы не проходить уже занятыми рядами, он поднимался по проходам все выше и выше и добрался чуть не до самого верха, оказавшись под трибуной для ВИП-зрителей. Тоже получилось неплохое место для наблюдения: все внизу, никто не мешает обзору и можно видеть вновь прибывающих. А кроме того, привереда, конечно, с ее дальнозоркостью и привычкой сидеть подальше, пришедши, станет забираться повыше и есть вероятность, что расположится где-нибудь неподалеку.

Надежды его, однако, не оправдались. Минул еще десяток минут, поток, исторгавшийся из дверей входа, стал редеть, превратился в одинокие запоздавшие фигурки, торопливо стремившиеся присоединиться к остальным зрителям, – К. так и не увидел привереды. Или она прошла именно в ту минуту, когда он менял свою дислокацию, переходя на это место под ВИП-трибуной, и сейчас сидела где-то там в толпе, обращенная к нему затылком? К. перебегал от одной женской головки к другой – нет, все они не походили на привереду. Конечно, привереда могла за время, что он провел на острове, изменить прическу и, возможно, сидела тут внизу перед ним, а он не мог ее опознать. К. теперь хотелось надеяться на это.

Грянул гонг, звонкий металлический звук поплыл, медленно затухая, над стадионом, загорелось световое табло с названиями команд и счетом на крыше двухэтажного строения на противоположном конце поля, где, должно быть, размещалась администрация стадиона и находились раздевалки. Поток от входа иссяк. Часы показывали объявленное время начала матча.

Невидимые динамики, установленные, можно предположить, по всему периметру стадиона, бурно закипели бравурным маршем, призывая команды появиться на поле. Двери строения

широко распахнулись, и из них мелкой трусцой, с вратарями во главе, которых легко было отличить от остальных игроков по кепке на голове, двумя строчками вытачались футболистки. К. смотрел на них – вот они достигли центрального круга, потекли по белым дугам в разные стороны, чтобы вновь сойтись у ближней точки линии, рассекавшей круг на две половины, у тех, что оказались к трибунам ближе других, стали угадываться черты лица… и что, неужели, действительно? Боже, он ждал привереду на трибунах, а она появилась на поле! Она была не зрителем, она была игроком! Да еще вратарем. Он и не подозревал о таком ее таланте. К. жадно смотрел на нее, и все ему было мало, он не мог насмотреться, он вбирал ее в себя, как запах, осязал ее глазами, держал в объятиях. Надо же, придумать для ветерана версию, что играет невеста и чтобы все оказалось так! Единственно что непонятно, невеста ли…

Команды разыграли ворота, игроки (игрицы!) рассредоточились по полю, судейская команда заняла положенные места – помощники за боковыми линиями, судья, держа мяч в руках, в центре поля, – вратарши протрусили к своим воротам, и судья опустил мяч на точку, обозначавшую центр овального зеленого покрывала. К. не смотрел в центр. Он смотрел на привереду в воротах. Она прошла к одной штанге, к другой, постучала по ним, словно прося их о дружбе, уговаривая помогать ей, не подвести, встала в середине ворот, слегка согнула ноги, попрыгала влево-вправо с расставленными перед собой руками в перчатках – вратарь вратарем. Еще эта кепка на голове… Он ее такой и не знал никогда. Она что, занималась футболом раньше, ходила в подростковом возрасте в спортивную секцию?

Судья просвистел, выделенные для розыгрыша мяча игроки (игрицы!) запинали по нему, и мяч, взлетев наконец от одного из ударов в воздух, привел в движение все поле. Футболистки забегали, мяч переходил от одной к другой, и вот команда службы стерильности зажала его у себя, повела, передавая от одного игрока к другому, в сторону ворот привереды. Привереда приняла вратарскую стойку, готовая в любое мгновение прыгнуть на летящий мяч. К. поймал себя на том, что болеет. Весь вытянувшись вперед, сжав в кулаки руки. Отберите, ну отберите, звучало в нем. Команда привереды словно услышала его – мяч, не дойдя до штрафной площадки, оказался у игроков мэрии, и они погнали его к воротам противника.

Спустя недолгое время К. поймал себя на том, что не смотрит, как там идет игра на другой половине поля. Эта другая половина его не интересовала. Он все продолжал наблюдать за привередой. За нею, за ней одной, только за ней. Смотрел, поедал

ее глазами, и его не оставляло мистическое чувство, что выдуманной для ветерана версии должно стать реальностью и во второй своей части – невеста!

Вскоре, однако, уйдя с другой половины поля, игра вернулась на половину привереды. И почти перестала выходить за ее пределы. Команда мэрии была явно слабее. Команда противниц наседала, крутилась около ворот, один удар – привереда отбила его, второй удар – поймала, выбила мяч на середину поля, но он тут же был перехвачен службой стерильности, стремительно, переходя от одной пары ног к другой, вошел в штрафную площадку, куча ног замесилась около него… и из этой кучи, посланный чьим-то ударом, мяч вырвался на свободу, покатился к линии ворот, привереда метнулась к нему – но поздно: мяч опередил ее.

К. сидел со стиснутыми что есть силы кулаками и не мог разжать их. О, каково было сейчас привереде доставать мяч из сетки! Он физически был с нею, шел к мячу, поднимал его, поворачивался с мячом в руках к полю… Ряды под ним между тем заходились в счастливом реве: болельщиков команды, что представляла службу стерильности, было ощутимо больше, чем мэрских.

И команда службы стерильности была ощутимо сильнее команды мэрии. Футболисткам из мэрии лишь изредка удавалось вырваться за пределы своей половины, они спешили поскорее добраться до ворот противниц – и теряли мяч в передачах, спешили ударить по воротам – хоть издали! – и мазали. К концу тайма привереда пропустила уже шесть мячей, ее партнерши забили вратарше противника один. Свисток судьи возвестил о конце тайма в ситуации, когда привереде, возможно, пришлось бы доставать мяч из ворот в седьмой раз.

Сидевшие на нижних рядах под К. вставали, топтались на месте, крутили руками, разминая затекшие члены, поворачивались, смотрели на верхние ряды, находили знакомых, приветствовали их, вступали в разговор. К., одиноко сидевший под ВИП-трибуной и подставленный всем взглядам, склонился к коленям, чтобы снизу не было видно его лица. Недоставало ему еще быть снова кем-то опознанным. Тем же и конопенем.

Звук множества тяжелых быстрых шагов заставил К. поднять голову. Справа, слева – по ряду, где сидел он, по нескольким рядам ниже грохотали красные береты службы стерильности в камуфляже. Это были не болельщики, эти были при службе. Живо, вниз, никаких в обход, по сиденьям, приговаривали они и не давали опомниться, понять, в чем дело, – поднимали с мест, не разбирая, мужчина ли, женщина ли, подталкивали к нижнему

ряду: прямо по креслам, по креслам! Что сидишь! – подойдя с боков, взяли К. за плечи, взметнули его с кресла сразу двое. Вниз на четыре ряда, тебе помочь?!

Ряды под ним, увидел К., уже сыпались вниз, отыскивали пустые сиденья перед собой, соступали на них, находили пустые в следующем и перелезали через их спинки. Женщины вскрикивали и взвизгивали, у некоторых были слишком узкие юбки, они не могли сделать крупного шага, после нескольких неудачных попыток встаскивали юбки к бедрам и, светя оголенными ляжками, сверкая перешейками белых, черных, красных трусов, переваливались на нижнее кресло. Мэр, будет, наверное, мэр, доносилось до К. с нижних рядов.

К. решил, раз уж так вышло, сесть в самой зрительской гуще. Он проследовал по тесно заполненному ряду до свободного места и опустился на него. Смотреть игру станет не так удобно, как до того, но зато он будет надежно скрыт среди других зрителей.

Протяжный металлический звук гонга возвестил о конце перерыва. Двери строения на другой стороне поля раскрылись, в них появились выходящие на игру команды. Только теперь футболистки не бежали мелкой трусцой, как перед первым таймом, а шли обычным шагом и, выходя на поле, сразу разбредались по своим местам. Привереда вышла одной из последних.

Судья на поле нес свисток к губам, чтобы дать сигнал к началу игры, когда вдруг весь стадион словно подхватило мощным порывом ветра – ряды внизу бурно поднялись на ноги, принялись разворачиваться спиной к полю, взгляды всех вскинулись вверх, и были они устремлены в одну точку на вершине трибун. Подхватило тем же ветром ряд К. Непроизвольно поднялся, повернулся назад и сам К.

Вокруг, нарастая, уже гремел приветственный рев. «Урра! Салю-ют! – кричали трибуны. – Да здравствует стерильность! Стерильности слава! Многая лета!»

В нише ВИП-трибуны, исполненной как большая раковина, возвышались, приветственно махали руками человек восемь. Один, что посередине, стоял у самого ее края, выдаваясь вперед – подобно носу корабля, остальные слегка в глубине, отступив назад на полшага – будто борта этого корабля. Человек впереди был мэром – К. тотчас узнал его, хотя сейчас он был не в тоге, а в обычной цивильной одежде, даже и не костюме с красным галстуком, как на большинстве портретов, а весьма легкомысленной, ярко-пестрой расцветки рубашке с короткими рукавами. Замкнуто-холодное узкощекое лицо его с глубокими заломами носогубных складок выражало то тщательно

скрываемое, но упорно дающее о себе знать довольство, которому К. был свидетелем на пиру – когда происходившее вокруг доставляло мэру радость и кайф. Другие тоже были в такой же, как мэр, вольной летней одежде: цветные, клетчатые яркие рубашки, короткие рукава, распахнутые вороты. И всех К., переводя взгляд с одного на другого, узнавал. Стоял первым по правую руку от мэра глава службы стерильности – массивное большое лицо его не выражало ничего, будто выклеенное из папье-маше. Стоял первым слева Косихин – у этого сжатый в синусоидную кривую рот странно скривило в сторону, будто он изо всех сил сдерживал ухмылку. Стоял ректор, с которым К. виделся сегодня, – весь вытянувшись вверх, с тесно прижатыми к бокам руками, будто солдат на плацу по стойке смирно. Стоял завкафедрой со своей вдохновенной длинногривой прической… И других К., хотя и не знал, кто это, тоже узнавал – все они были там, на том древнеримском пире.

Наконец мэр сделал поднятой в приветствии рукой короткое повелевающее движение: достаточно, садитесь. И сел, показывая пример, первым сам. Оставшись выглядывать из ВИП-ложи лишь головой. Стадион вновь застучал каблуками, зашумел одеждой, опустился на кресла, пошевелился на них, устраиваясь, и замер. Судья на поле дал свисток. Второй тайм начался.

И с первых же минут К. ощутил, что игра изменилась. Словно команда службы стерильности за те минуты, что провела на перерыве, утратила все свое умение играть. Ее нападающие, прорываясь к воротам команды мэрии, не били по ним, а передавали мяч одна от другой, словно не решаясь бить, теряли его в конце концов, но не спешили оттянуться назад, чтобы обороняться всеми силами, – как бы давали противницам фору, создавали им условия для удара по своим воротам. Команда мэрии не упускала возможности воспользоваться этим, мигом оказывалась на другой половине поля, а защитницы службы стерильности тоже оказывались на удивление нерасторопны, пропускали мэрских нападающих едва не к самым воротам, и тем оставалось только не промазать. Разрыв в счете стал стремительно сокращаться. Шесть – два, шесть – три, шесть – четыре. Привереде стало нечего делать. Она слонялась перед воротами, отправлялась к дальней линии штрафной площадки, следила за игрой в другой штрафной площадке оттуда, словно от ворот ей было плохо видно, что там происходит.

До самого конца тайма привереда пропустила лишь один гол, вратарша службы стерильности пропустила еще четыре, и матч закончился со счетом восемь – семь в пользу команды мэрии. Мэр в ВИП-ложе, поднявшись в рост, вскинул победным жестом руку

со сжатым кулаком над головой. Лицо его утопало в счастливой ублаготворенности. Стадион, рукоплеща, снова стоял, развернувшись к нему лицом, спиной к полю. И повернулся лицом к собравшимся в центре для традиционного прощального рукопожатия игрокам лишь после того, как мэр, все так же жестом, предложил наконец уделить внимание и футболисткам.

Ветеран службы стерильности, дежуривший у турникетов, выловил взглядом выходившего со стадиона в общей толпе К., словно К. был помечен особым знаком, отличавшим его от всех остальных зрителей.

– Эй, эй! Который к невесте! – позвал он К. своим бодрым, хотя и по-старчески рассаженным голосом. Пробился сквозь толпу и, схватив К. за руку, остановил его. – Чего, как она, невеста? – спросил он с заговорщическим видом. Неясное подозрение не оставляло ветерана и требовало разрешения.

Но что теперь было для К. его подозрение. Теперь оно было не страшно ему.

– Все прекрасно невеста, – сказал он, отнимая от себя руку ветерана. – Выиграла. Восемь семь в ее пользу.

– А-а! – протянул ветеран. – Выиграла. – Ему было неприятно, что К. уже не в его воле и не скрывает того. Его ветеранское естество было уязвлено. – Выиграла – и без букета. Чего без букета? – Издевка прозвучала в его голосе. Он хотел отплатить К. той же монетой, какой, казалось ему, заплатил К. за его участливый интерес перед матчем к обстоятельствам появления К. столь рано. – Хорошему жениху положено невесту встречать с цветами.

– В следующий раз непременно, – окончательно избавляясь от руки ветерана, сказал К.

– Следующего раза, глядишь, и не будет, – как бы с неким глубоким значением мстительно проскрипел ветеран.

Но обещание это прозвучало уже за спиной К. Забирая вбок, он выбрался из толпы и направился к тому двухэтажному строению, из которого выбегали на поле команды. Понятно, что со стороны улицы строение имело вход, через который с улицы внутрь него и попадали, и как через него входили, так и выходили. Привереду следовало ждать здесь, около него, нигде в другом месте.

Солнце за время матча склонилось к самому горизонту, все вокруг было в длинных, тенях, из воздуха ушел дневной жар, и вместе с размахнувшимися вдаль тенями, вместе с угасшим жаром дня на город, казалось, сошла тугая, как барабан, гулкая тишина. К. шел, глядя на облачно-красную полоску неба между углом пристадионного строения и жилыми домами в отдалении

за зеленой кустарниковой полосой, и думал о том, как счастливо для него появился на матче мэр. Конечно, выигрыш команды мэрии был несправедлив и нечестен, и сама команда наверняка понимает это, но выигрыш есть выигрыш, и привереда-победительница в предстоящем разговоре – куда предпочтительнее, чем если бы ее команда ушла с поля с разгромным счетом. А ушла бы с разгромным наверняка.

Просторная, безжалостно залитая асфальтом площадка перед стадионным строением была пуста, никого на ней. Вернее, никого, кроме конопеня. По-прежнему с букетом в руках, он обретался около самого входа в строение, курил, перетаптывался с ноги на ногу, откровенно тяготясь тем ожиданием, на которое подвигнул себя, но по всему его виду было ясно: сколько нужно, столько и будет ждать.

Конопень стоял лицом к входу и не видел подходившего К. К. как споткнулся, нога у него зашла за ногу. Неясное, невнятного смысла предчувствие шевельнулось в нем. Но он не позволил ему задержаться в себе и мгновения. Что за бред, что за дичь! Этого не могло быть. Никак этого не могло быть. Мало ли какие случаются совпадения… Он как бы встряхнулся внутренне: представил себе, что входит в аудиторию, предстоит читать лекцию, отвечать на вопросы – и грудь наполнило азартной бравостью и молодцеватостью, ноги перестали заплетаться, шаг ускорился. Ну стоит там, ждет кого-то, пусть себе стоит.

Конопень, стряхивая с сигареты пепел, повернул голову в направлении К., и по тому, как замер, как медленно потом понес сигарету обратно ко рту, К. понял: увидел его и опознал. К. шел, не отводя от конопеня взгляда. Смотрел на него конопень, и К. тоже смотрел.

В намерении его было – молча миновать конопеня, три-четыре шага – и остановиться, ждать, не обращая на конопеня больше внимания, привереду. Выход из строения один, и пропустить ее невозможно, она должна выйти отсюда, больше неоткуда.

Конопень, однако, не дал осуществиться его намерению.

– Во ништяк себе, – сказал конопень, заступая ему дорогу. – Кого вижу! На свободе и гуляем!

Растерянное непонимание стояло в его глазах. Но тяжелая ненависть в них была сильнее этого непонимания.

К. не ответил ему. Почему вдруг он должен был отвечать конопеню. Он не должен был ему ничего. Разве что поквитаться с ним за все. Но это было выше возможностей К.

– Чего молчишь? – держа руку с сигаретой на отлете, словно готовый для удара наотмашь, покривил презрительно губы

конопень. Казалось, ему несказанно гадко говорить с К., но вот заставляет себя. – Откуда здесь взялся, спрашиваю?

В желудке у К. пробурчало. Как если бы он так ответил конопеню – утробой. Ему по-прежнему хотелось есть, но желудок уже не резало, только время от времени тот выдавал протяжную кошачью песню, будто жаловался на голод и просил еды.

– Чего приперся сюда? – снова вопросил конопень. – Хрена надо? Молчать собираешься?

Удержись, не отвечай, как не слышишь, говорил себе К. Ни слова, ни звука, не обращай внимания. И неожиданно для самого себя сказал:

– Пробей по своей базе, узнаешь откуда.

– Да ты!.. – конопень будто задохнулся. Что-то глубоко оскорбительное помнилось ему в пожелании К. – Иди отсюда, тебе говорю! Иди подобру-поздорову! Знаешь, кого я жду? Знаешь кого?

Предчувствие, кольнувшее было К., когда подходил к конопеню, вернулось к нему гулкой и мощной приливной волной – как кипятком окатило его. Неужели? С букетом… Не может быть!

– Пошел бы ты, – процедил К. сквозь зубы.

Конопень отбросил в сторону сигарету, вытащил из кармана пачку, выщелкнул из нее новую сигарету, вставил в рот, щелкнул зажигалкой и с удовольствием затянулся.

– Ее, ее, – сказал он с этим удовольствием, выпуская дым. Процесс овладения новой сигаретой помог ему овладеть и собой. – Понял, да? Сообразительный какой! Ее.

Нет, не может быть, решительно запретил себе думать о том, в чем хотел уверить его конопень, К. Не может такого быть. Никогда!

– Жди, – сказал он. – Я тебе не мешаю. И ты мне не мешай.

Теперь помолчал, ходя сигаретой к губам – от губ, конопень.

– Ладно, – уронил он потом. – Ладно…

И вот от этого его «ладно» К. неожиданно проняло. Была в этом снисходительно-уступающем «ладно» конопеня та убедительность, которой недоставало его прямым словам. Правду говорил конопень, не выдумывал: он действительно ждал привереду. Ее.

Но все же надежда и не желала оставлять К.: а вдруг оно и не так?

Дальше они стояли молча. Не заговаривал К., не заговаривал конопень. Шагов пять-шесть было между ними. Подошло еще несколько встречающих – получилась целая толпа в десяток человек, – один из пришедших встал между К. и конопенем,

отделил их друг от друга, и сразу стало словно бы легче дышать, как если бы воздух был сплошной углекислый газ и вот насытился кислородом.

Прошло минут пятнадцать, двадцать. Пока примут душ, переоденутся, подсчитывал про себя К., сколько времени может пройти до появления в дверях футболисток, что окажутся быстрее всех остальных… Наконец двери растворились, и первая футболистка, со спортивной сумкой на плече, вышла на улицу. Потом дверь раскрылась во второй раз, в третий, и снова… Привереда появилась едва не последней, когда на просторной асфальтовой площадке перед стадионным строением снова остались только К. и конопень.

Она вышла, и они оба, конопень и К., ринулись ей навстречу. Конопень, на полкорпуса опережавший К., на подлете к привереде, когда траектории их движения неизбежным образом сблизились, вильнув бедром, толкнул К., отшибая его в сторону. Все эти несколько секунд, что К. с конопенем, стремясь кто быстрее, спешили к ней, привереда смотрела на К. остановившимся ошеломленным взглядом. Его бросило от удара конопеня вбок, она проследила, удержался ли К. на ногах, и лишь после этого взгляд ее устремился на его соперника.

– Ты что, дурак, делаешь?! – воскликнула она негодующе. – Мозги у тебя есть?

Как что-то обрушилось в К. Словно внутри него с тяжелым гулом и грохотом, сотрясши все кругом, сошел гигантский оползень. Обратиться так, как привереда обратилась к конопеню, она могла лишь в одном случае: если он заместил К. собой.

– Я что? Что такое? А что! Подумаешь! Какого он тут! – сбивчиво, наезжая словами одно на другое, базарно зашумел конопень.

– Стой и не шевелись, – приказала ему привереда. Он протягивал ей свой букет, она отмахнулась от того: – Да подожди ты!

«Подожди ты!» Этим ее восклицанием было сказано все до конца, в нем было открытое, откровенное признание их отношений с конопенем, была демонстрация ее власти над ним, которая не могла возникнуть, будь конопень всего лишь простым воздыхателем.

– Я, видишь, – вот, – сказал К., ступая к привереде и оказываясь невольно так близко от конопеня, как еще не был с момента их встречи здесь на площадке перед входом в стадионное строение.

– Вижу, что ты вот, – коротко отозвалась привереда.

– Я тебе звонил, – известил ее К., словно она могла не

помнить о его звонке из фойе мэрии.

– Звонил, – снова коротко подтвердила привереда.

К. заколодило. Он не понимал, как говорить с ней. Невозможно было вести с ней разговор при конопене под боком.

– Пусть отойдет, – сказал он наконец, кивая на конопеня.

– Чего?! – взревел над ухом у К. конопень.

Привереда посмотрела на конопеня.

– Отойди, – сказала она ему через паузу. Он хотел воспротестовать – привереда не дала конопеню выговорить и слова. – Отойди! – повторила она уже с настоятельностью. – И подальше!

Власть ее была над ним абсолютна (как и надо мной, подумалось К.): конопень пробурчал себе под нос что-то нечленораздельное, перетопнулся с ноги на ногу и сделал пару шагов в сторону.

– Подальше, я сказала! – потребовала привереда.

Конопень, с покривившимся в недовольстве лицом, послушно, тем не менее, ступил в сторону еще на два шага, постоял – и еще на два. Привереда, проследив за его перемещениями, вновь взглянула на К.

– Тебя отпустили, да?

– Да, никаких претензий, – поторопился ответить К. – Со мной ошибка… Они признали, что совершили ошибку!

– И что, тебя восстановили на работе? – спросила привереда. – Выдали компенсацию за сожженную дверь? Твоим родителям разрешили открыто заниматься их сырниками?

– При чем здесь мои родители? – уцепился К. за ее последнюю фразу.

– При том же, при чем и все остальное.

– Но в университете я восстановлюсь! – воскликнул К. – Там нужно кое-что… меня не могут не восстановить!

– Восстановись сначала. – В голосе привереды прозвучало такое знакомое ему категоричное отторгающее порицание. – Но все равно… Это уже все равно. Не нужно тебе было сюда… Ты что, не понял, когда позвонил мне?

Она смотрела ему в лицо прямым, не таящим в себе никакой игры, открытым взглядом. Как чудесны были эти ее серые, с сизой дымкой пылающего жаром летнего дня честные глаза. Такая любимая, такая родная, такая близкая. И неимоверно далекая. Он задыхался. Воздух опять был сплошной углекислый газ. Хотя конопень и стоял в стороне и даже не мог слышать их разговора.

– Потому что ты… с ним? – заставил себя К. выговорить вслух то, что не выговаривалось и про себя.

– Не только поэтому, – тотчас, как если б желала и ждала

этого вопроса, ответила привереда.

– Но и поэтому?

Привереда не смогла ему ответить – в желудке у К. громко, протяжно, визгливо проблажила мартовская кошка. Привереду передернуло.

– С утра не ел, – чувствуя себя совершившим некую непристойность, сказал К.

– Надо было себя доводить до такого? – Привереда смотрела на него с неприязнью и брезгливостью. – Булку купить. Бутылку воды. Копейки стоит.

– Не получилось, – неохотно ответил К.

– Денег не было? – проницательно спросила привереда. О, она знала его, все его интонации, значение любого его умолчания. – У тебя совсем нет денег? – Рука ее уже раздергивала молнию на спортивной сумке, которая все продолжала – при двух встречающих! – висеть у нее на плече, уже шарила внутри, отыскивая кошелек.

– Оставь!

Восклицание К. заставило привереду замереть, и спустя недолгое время рука ее выбралась из сумки пустой. Знала, знала она его, не возьмет, как ни упорствуй, – ей это стало понятно.

– И дурак, – сказала она. – Вот потому, что ты дурак. Ты с самого начала вел себя не так, как нужно. Мнил о себе! И сейчас мнишь. Мне объяснили, как должно было вести себя. И ничего бы не случилось того, что случилось. Ошиблись с тобой – я рада. А если завтра снова? И снова все так же? Извини, меня это не устраивает. Я такого натерпелась, пока ты…

Такого натерпелась… такого натерпелась, слышал в себе эхо ее слов К. «Чего именно?» – звучало в нем ответом ей, но она запнулась, возможно, не зная, как продолжить, и К. поспешил воспользоваться возникшей паузой:

– Этот, да, – указал он легким кивком головы на конопеня, – объяснил тебе, как нужно вести себя?

– Он, – ответила привереда. Взгляд ее чудесных серых глаз (дальнозорких, отметил зачем-то про себя К.) был все так же прям и открыт. – Это удача, что он оказался рядом со мной. Ты хоть понимаешь, что со мной могло быть? Ты неизвестно где, а я… Он надо мной как спасительный зонтик раскрыл, – закончила свою мысль привереда. – Я с ним чувствую себя в безопасности. Это мало? Это много. Это так много, что большего мне и не надо.

– Тебе вернули допуск? – спросил К. – то, о чем все время хотел узнать, но все откладывал и откладывал на потом.

– Да, мне вернули допуск, – с нажимом ответила привереда.

В нажиме этом было признание, с чьей помощью возвращен

ей допуск. Даже не признание, а скорее так: уведомление.

К. задыхался. Кислорода вокруг не оставалось совсем. Углекислый газ, один углекислый газ!

– Да не будь же дурой ты! – вырвалось из него. Он вдруг обнаружил ее у себя в руках – обнимал, прижимая к себе, а она вырывалась; оттого и осознал, что держит ее в руках, потому что она вырывалась из них. – Ты – и он! Как можно? С ума сошла?

– Пусти! – уперлась привереда ему руками в грудь. – Пусти! – Отталкивала его от себя, отпихивала и ударила в грудь кулаком.

В следующее мгновение К. ощутил рядом с собой жаркую глыбу конопеня. Следом за чем его предплечья словно взяли в тиски, – и, оторвав от привереды, конопень отшвырнул К. прочь.

– Лапать еще! – донесся до К. его рев. – Пошел! И не возникай близко! Думаешь, вышел – жизнь малина пойдет? Прокаженным – лепрозорий! Окажешься там же, где был! Гарантия!

К. не понял, как получилось, что ударил его. Рука вдруг сама, без его воли, без замаха, как держал ее внизу, оттуда, сжавшись в кулак, въехала конопеню в крепкий его, тяжелый подбородок – снизу вверх, словно в желании заткнуть его блажащую пасть.

Пасть его и заткнулась. Но с самим конопенем ничего не произошло. Голова у него только откинулась назад, и, качнувшись, он сделал шаг назад.

Наверное, пару-тройку секунд спустя К. должен был лежать на земле, и рядом с ним – его слетевшие с носа, распавшиеся на составные части очки. Куда было ему против конопеня.

Но прежде чем конопень ответил К., между ними оказалась привереда.

– Не смей! Тронешь – не увидишь меня! – кричала она конопеню. И висела у него на руках, загораживала К. от него собой, и так дик, так наждачно-хрипуч был ее крик! Увидела, что конопень подчинился ей, обернулась к топтавшемуся у нее за спиной К., обрушила тот же наждачный крик на него: – Пошел! Чтоб не видела тебя!

К. не чувствовал в себе сил уйти. И следовало уходить. Привереда была им проиграна. С разгромным счетом. Со скандалом и позором.

Шаг назад дался ему, как если бы нога у него увязла в бетоне, который уже начал схватываться и не желал выпускать ее. То же было и со вторым. На третьем он наступил на что-то хрупнувшее, каткое, поехавшее под ногой, взмахнул руками, балансируя, удержался на ногах – и глянул вниз, чтобы увидеть, на что наступил.

Это был брошенный конопенем, когда тот кинулся к К., букет. Он валялся тут на асфальте вместо очков, которые благополучно

остались у К. на носу. Наступив на букет, К. раздавил его, букет превратился в цветочный хаос. Можно было перешагнуть его или обойти, но, так же неожиданно, как рука сжалась в кулак и въехала конопеню в челюсть, нога пнула букет – разламываясь и разваливаясь в воздухе, букет воспарил, пролетел метра три и, сделавшись кашей, с глухим сырым звуком шмякнулся обратно на асфальт. Удивительно, но после совершенной казни букета, ноги у К. начали двигаться.

Неподалеку от стадионного строения, на полпути к турникетам, стоял, смотрел на приближающегося К., с большим висячим замком в руке, ветеран. На высушенном стручковом лице его играла довольная ухмылка. Видимо, собравшись закрывать двери входа, он прервался и специально поспешил сюда понаблюдать за разыгрывающимся перед стадионным строением действом.

– Видишь! – вскричал он, не утрачивая своей довольной ухмылки – Я же говорил: с цветами нужно!

К., не отвечая, дошагал до него и прошел мимо. Его подмывало сдернуть на ходу с ветерана его красный берет и запустить в небо подобно бумерангу. Но он уже полностью контролировал себя и ничего такого себе не позволил.

– Была невеста ваша, стала наша, – послал ветеран в спину К. последний заряд.

О, как это было точно! К. поймал себя на том, что идет и скрипит зубами, так сильно сжав их, что сводит челюсти. Ужасно хотелось оглянуться. Невероятно, как хотелось. Но не следовало этого делать. Он этого не сделал.

* * *

Сумерки сгущались, обещая невдолге перейти в ночь. Набережная была пустынна. Ни проехавшей машины, ни человека, только молчаливый строй домов, открытых своими полуторастолетней давности фасадами к простору реки, резкие, по-вечернему редкие крики чаек, теплый летний ветерок, веющий от воды, и слабый ропот листвы мужающих лип в разрывах кустарника, двумя шпалерами бегущего вдоль набережной в ее даль.

К. не заметил, как пришел сюда. Он специально направлялся на набережную? Нет, он не помнил такого решения. Сколько минуло времени, как оставил асфальтовую площадку перед стадионным строением? Судя по всему, часа полтора. И что он делал эти полтора часа? Ничего не было в памяти. И был еще

день – и вот уже подступающая ночь.

Зазвонил телефон в кармане. К. вздрогнул. Вот так же он был здесь на набережной месяц назад после посещения с приведедой кино, так же сумерки начинали перетекать в ночь, вот так же зазвонил телефон, и незнакомый мужской голос в трубке потребовал от него оставаться на набережной, дождаться посланца и принять от него то, что он передаст.

Но на дисплее, когда К. с загрохотавшим сердцем достал телефон из кармана, был высвечен домашний номер. Родители это звонили ему.

– Слушаю, – принял он звонок.

Голос отца, старательно укрощающий волнение, с нарочитым спокойствием поинтересовался, где он и что он, с собой ли у него ключи, а то они с матерью ложатся уже спать. А мать при этом, увидел К., стоит у отца за плечом, вытягивает шею к его уху, пытаясь услышать, что там К. говорит в трубке.

У меня все нормально, простите, забегался, дела, ключи с собой, ложитесь, не ждите, может быть, я сегодня и не приду, ответствовал К., в один прием выложив все, что нужно было услышать родителям. Почему только выскочило, что, может быть, не придет? Куда ему деться, придет.

К. сунул трубку обратно в карман, пересек проезжую часть, зеленую полосу со шпалерами кустарника и липами, вышел на полосу тротуара, огороженную балюстрадой, за которой начинался речной обрыв, и, облокотившись о балюстраду, устремил взгляд на стальное полотно открывшегося глазу водного простора. Оно было недвижно, холодно, равнодушно, ни единой щербинки лодки не виднелось на нем, никакой припозднившийся катер не морщил его глади – умиротворение, покой, тишина царствовали над рекой. К. посмотрел в одну сторону – там, вдалеке, светились уже зажегшиеся фонари причала, стояли притулившиеся к нему два речных трамвайчика, нависая над ними – рафинадно-белоснежная даже в подступающей темноте гора теплохода.

К. посмотрел в другую сторону – там из-за излучины реки выплывал другой теплоход, корпус его еще не появился, лишь нос, но огни на теплоходе были уже зажжены, и казалось, что посередине водного простора возникла и медленно растет в ширину, словно оплывая, электрическая свеча. Вот так же, вспомнил К., шел глыбой огня по стальной речной глади теплоход и тогда, месяц назад, появившись из-за излучины сначала лишь носом, а там явив себя взгляду и целиком. В какой дали это было! В другой жизни.

Живот у К. снова пропел свою жалостливую голодную песню.

К. выпрямился, хлопнул по балюстраде, отбив их, ладонями – словно наказывая ее, словно это она была виновата, что живот его по-прежнему по-кошачьи мяучит, – и пошел по набережной в сторону причала. Ему помнилось, что там есть где-то фонтанчик для питья – наполнить желудок хотя бы водой, может быть, это утихомирит разбушевавшихся кошек. Ясно было, что возвращения к родительским сырничкам не избежать – где еще утолить голод? – но пока нежелание возвращаться под родительскую крышу было все же сильнее желания есть.

К пристани К. и теплоход, который он увидел, когда тот еще только появлялся из-за излучины, подошли с синхронностью часовой и минутной стрелок, подбирающихся к цифре полуночи и полдня. К. спустился по сбегающей с набережной широкой асфальтовой дороге вниз, посмотрел на реку – пылающий электрическим огнем остров как раз сравнялся с теплоходом, стоявшим у причала, тот гасил его электрическое сияние своей темной горой лишь с несколькими сигнальными огнями на носу и корме, К. полагал, сейчас пылающий солнечным днем теплоход пришвартуется к тому, что стоит, но нет: спустя недолгое время из-за стоящего теплохода вырвалось сияние, мгновенно усилилось, стало нарастать – теплоход, увиденный им еще на излучине, шел не останавливаясь и проплыл мимо пристани. Шел он тихо, без звуков музыки, что доносится обычно с таких совершающих туристические круизы теплоходов, можно было бы предположить, что, кроме команды, на нем никого нет, однако на палубах, перекрывая светящиеся окна кают, то и дело промелькивали тени – довольно оживленно было на теплоходе. К. неожиданно – точно так, как было тогда, месяц назад, – обуяло нестерпимым желанием перенестись туда, в этот электрический сияющий мир, сделаться его частью, и на мгновение даже помнилось: пожелать этого, вложившись в свое желание со всей силой, – и получится перенестись.

На пристани, как и вверху на набережной, не было ни единой души. К. пошатался по ней, подергал двери в кассу, в зал ожидания – все было заперто. Где этот фонтанчик, он не помнил, внутри ли, снаружи ли. Но снаружи он его не обнаружил.

Наверх от пристани обратно на набережную вела широкая размашистая лестница. За время, что К. провел на причале, отыскивая фонтанчик, сверкающая электричеством глыба теплохода ушла далеко вперед, теперь он видел его с кормы. Все стремительнее темнело, контуры уходящего теплохода уже почти не угадывались, вместо них осталось плывущее над рекой электрическое сияние. Оно все больше и больше вновь становилось похоже на свечу – как там, на излучине, когда

теплоход только выплывал из-за нее, – только основание у нынешней свечи было широким, а сверху она совсем оплыла.

Потом набережная закончилась. К. никогда не доходил досюда, ему казалось, что набережная так тянется и тянется вдоль всего города, но, оказывается, нет, у нее был конец, и не так далеко от пристани, не будет и километра. Верткая тропка вела от асфальта набережной по верху обрыва дальше – в заросли кустарника, деревьев, и уже не было там фонарей, и оставшегося на западе света недоставало, чтобы освещать тропу с достаточной ясностью. Однако, постояв-постояв в начале тропы, К. двинулся по ней дальше. Тропа, виляя между деревьями и кустарником, спускалась с обрыва все ниже, ниже, оставляя город в стороне над головой, запахло водой, плеснуло волной. Это все еще был город – и уже словно бы загород; куда вела тропа? Но, задаваясь этим вопросом, К. шел и шел по ней, тропы уже почти не было видно, он скорее угадывал ее, чем разбирал, куда ставить ногу. Разумно было бы остановиться, вернуться на набережную, но К. требовалось сейчас неразумного, и чем неразумнее, тем лучше.

Большой электрический свет мелькнул сквозь тени деревьев со стороны реки. Исчез, заслоненный новыми деревьями, – и возник снова. И уже не пропадал, делался все сильнее, обильнее – как бы разгорался, – стала даже видна тропа под ногами. Еще несколько минут – и К. вышел из прибрежных зарослей на просторный луг, жарко освещенный огнями стоявшего у самого берега теплохода. Это был тот самый, что проплыл мимо пристани, обогнав его. Теплоход стоял, уткнувшись носом в прибрежную мель, большой широкий трап был сброшен с него на землю, то и дело по трапу вверх-вниз шныряли люди, а и весь луг, увидел мгновение спустя К., был полон людей: расставлялись столы, устраивались скамейки из досок, укладываемых на дощатые ящики и деревянные чурбаны, разгорались два костра поодаль с налаженными над ними вертелами на рогулинах. Люди, что бегали по трапу, эти доски, столы, чурбаны с ящиками и таскали, и таскали еще котлы, кастрюли, гремели на ходу ложками-ножами-вилками, посудой в берестяных коробах. Что-то вроде ночного пикника устраивалось здесь.

К. стоял на границе освещенного теплоходом пространства и павшей ночной тьмы, смотрел на творившееся на лугу и не мог ничего понять. Наяву он это видел или ему привиделось?

Один из сбегавших по трапу, со звенящим большим туесом в руках, сбежав на землю и глянув коротко в сторону, где стоял К., вдруг замер, вгляделся в окружающую тьму перед собой пристальнее и, опустив туес к ногам, с настороженностью в позе направился в направлении К. К. стоял и не двигался. Он не знал,

что ждать от человека – а странен тот был, в долгополой одежде типа армяка, подстриженные под горшок волосы падали на лоб спутанными длинными прядями, – но и не был этот человек ему страшен. В нем не осталось никаких страхов, он никого не боялся и ничего. В прошлом были все его страхи.

– А! – вскричал человек, подойдя совсем близко к К. и, видимо, как следует увидев его. – Соглядатай! Кто такой?!

Вмиг – в считаные секунды! – К. был окружен набежавшей толпой: мужчины, женщины, молодые, старые – всех возрастов. И что за лица тут были, что за типы! Писаный белокурый красавец с набрякшими от постоянного пьянства красными веками, уродливая кривобокая старуха с собранным в морщины лицом, похожим на стиральную доску, могучий краснорожий мужик с широченной грудью, который мог бы, наверное, будь подручным у кузнеца, заменять собой мехи, юная смуглая цыганка в разметанной вокруг широких бедер пышными фалдами юбке, да и сам обнаруживший К. мужик в армяке – жизни, оттиснутой на его выпитом лице, перевитом, как канатами, всеми спрятанными у других под кожу лицевыми мышцами, не пожелал бы себе никто. И был даже одноглазый с перехлестнутой через лоб наискосок черной повязкой, прикрывавшей вынутый из глазницы глаз овальной кожаной нашлепкой. А рядом с ним теснился, свирепо горя обоими глазами, уж совершенно разбойничьего вида молодчик с большим и кривым, как сабля янычара, носом. И притягивала невольно взгляд тонкой восточной красоты молодая женщина с вьющимися черными волосами, обряженная в тусклые лохмотья, которые трудно было бы найти на самой последней свалке. Паноптикум был вокруг К. – отъявленный сброд, человеческое охвостье.

– Возьмите меня в свой круг, – неожиданно для него самого вырвалось у К. – Хочу быть с вами.

Кто они, что они – ничего он не знал, почему у него так сказалось?

Но сказалось, и слово не воробей – что за гвалт поднялся разом над набежавшей толпой, будто птичий грай, все кричали одновременно – не разобрать ни слова. Удивление это было, неприятие его просьбы, одобрение?

Неожиданно как бы порыв ветра налетел на толпу, взявшую К. в полукольцо, – ее качнуло в одну сторону, другую, гвалт стал быстро стихать, затух, толпа почтительно раздалась в стороны, и, пройдя сквозь нее, к К. выступил человек в просторной, расшитой по вороту и рукавам длинной рубахе навыпуск, перепоясанной витым цветным шнурком с кистями. Человек был немногими годами постарше К., обильная, волнистого русого волоса борода

охватывала его широкоскулое тугокожее лицо, а на голове у него, примяв такие же русые, как борода, кудри, залихватски сидела бело-черная капитанская фуражка.

– Что, в самом деле хочешь быть с нами? – вопросил он, рассматривая К. с наглой суровой бесцеремонностью. Видимо, он слышал, о чем попросил К. – С ясным умом и трезвым сознанием заявляешь?

– С ясным умом и трезвым сознанием, – подтвердил К., не отдавая себе отчета, что говорит, а лишь повторяя за капитаном, как у него назвался этот человек в перепоясанной рубахе, произнесенные им слова.

– И что умеешь делать? – задал капитан новый вопрос.

Преподаватель философии я, хотел привычно сказать К., но сказал по-другому:

– Я философ.

Какой новый ураган гвалта поднялся вокруг! Улюлюкали и хохотали, взвизгивали от неудержимого смеха. Объяснит нам! Обоснует! В тьму лучом света! Недаром в очках! – разбирал теперь К. отдельные возгласы.

Капитан поднял руку, и уничижительный гвалт мгновенно смолк.

– И кто такой Ясперс знаешь? И Фихте? И Сократ с Платоном?

– Конечно, – сказал К.

Капитан обернулся к толпе за его плечами.

– Философ свой будет? А? Не помешает!

И тотчас одобрительный ливень – не помешает! отлично! конечно! – освежающе и благодатно пролился на К.

– Берем, философ, – сказал капитан. Незамедлительно после чего спросив: – Есть хочешь?

О, что сделалось во рту К. Как мощно сработали его слюнные железы, выбросив враз столько слюны – будто он сделал глоток воды.

– Не отказался бы, – с трудом ответил К., сглатывая слюну.

– Накормите философа, – распорядился капитан.

Что за запах был у борща, что громадным черпаком влила в поставленную перед К. большую железную миску подвязанная клеенчатым фартуком необъятная баба-повариха. Какую громадную ложку сметаны бухнула она ему оплывающей горкой в эту миску. Как она ему сказала: «Ешь, родной!»

К., торопясь, задыхаясь, обжигаясь, ел ложку за ложкой налитый борщ, съедал – повариха бухала ему в миску новый черпак, и он снова ел, ел, ел.

Вокруг уже гуляли. Все столы были расставлены, все скамейки налажены, стучали ложки, с глухим звоном сходились

друг с другом медные, железные, серебряные кубки, затягивались песни, и, прерывая их, захмелевший капитан с жавшейся к его плечу молодой женщиной тонкой восточной красоты рядом то и дело восклицал в полный голос, покрывая все пространство луга: «Сарынь на кичку!»

– Сарынь на кичку, Тимофеич! – тотчас с удовольствием отзывалось застолье. – Сарынь на кичку!

2013–2016

Над книгой работали

Редактор *Лариса Спиридонова*
Художественный редактор *Валерий Калныньш*
Корректор *Елена Плёнкина*
Верстка *Светлана Спиридонова*

Издательство «Время»
http://books.vremya.ru
letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2018